

ИИ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Франц Кафка

Из дневников

Письмо отцу

Es war an einem Freitagvormittag im schönsten Frühling. Herr Bendemann, ein junger Kaufmann, saß in seinem Privatstübchen im ersten Stock eines der modernsten leicht gebauten Häuser, die entlang des Flusses in einer langen Reihe fast nur in der Höhe und Färbung sich unterscheiden. Er hatte gerade einen Brief geschrieben, in dem er sich jetzt im Auslande befindend, sich dem Vater freundschaftlich bedankt, verzeiht den Aufenthalt in rüchlerischer Baumzeit und sich selbst noch dem Vater, dem er seinen Eltern gegenüber auf den Fall, daß er sich auf dem Festen auf den Flüssen befindet, die Behörden am andern Ufer mit ihrem sehr sehr großen Glimm. Er dachte darüber nach, wie diese Freundschaft mit seinem Fortkommen zusammenhängen würde, wenn er schon nach England sich für einen Aufenthalt hätte. Nun betrieb er ein Geschäft in Petersburg, anfangs sehr gut angeordnet, mit langem aber sehr gutem Erfolg, wie der Freund bei seinen jüngeren Töchtern schien, den Töchtern Klatsche. Herr Bendemann war in der



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Franz Kafka

Франц Кафка

Из дневников

Письмо отцу

*Составление,
перевод с немецкого и
примечания
Е. Кацевой*

Предисловие Е. Книпович

Москва
«Известия»
1988

И (Австр)
К31

Рецензенты Н. Балашов и Д. Затонский

Обложка художника С. Мухина

© Оформление, составление, примечания,
предисловие, перевод на русский язык
издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1988

Предисловие

Творчество и имя Франца Кафки весьма популярны на Западе. Во многих произведениях зарубежных писателей нетрудно обнаружить мотивы и образы, навеянные Кафкой, — его творчество оказало глубокое воздействие не только на художников, принадлежащих к так называемому литературному авангарду. Его книги, очень часто спекулятивно истолкованные, послужили фундаментом для весьма влиятельных литературоведческих концепций, распространяемых на Западе. Существует там даже своего рода миф о Кафке как о «пророке» нашего времени. Во всяком случае, почти нет литературоведческих работ западных ученых, посвященных искусству XX века, в которых так или иначе не истолковывалось бы творчество Кафки. Порою оно выдается за главную линию развития литературы нашей эпохи, служит для утверждения индивидуалистических и пессимистических взглядов. Причем в исследованиях такого рода отсутствуют многие реальные черты подлинного содержания творчества этого художника.

Работы советских литературоведов, посвященные зарубежной литературе XX века, убеждают, что серьезный анализ литературного процесса этого времени невозможен без обращения к творчеству Кафки. Нужно заметить, что при этом наши исследователи широко используют дневники Кафки для того, чтобы продемонстрировать трагические противоречия художника в буржуазном обществе. Этот человеческий и литературный документ наглядно показывает и иллюстрирует известную ленинскую мысль, что буржуазная действительность убивает художника, ставит его в такое положение, при котором ни о какой свободе творчества не может быть речи. Дневники Кафки — это предельно откровенная исповедь человека, который не может приспособиться к буржуазному образу жизни, который гибнет в душной атмосфере чистогана, проникшего во все поры действительности.

Буржуазный миропорядок, вызывая отвращение у писателя, толкал его не только к эгоцентризму, но и к трагическому ощущению незащитности. Он стремился вырвать

ся из этих тисков — и не мог. Кафка не только не был борцом, он не осознавал более или менее ясно подлинных причин собственной трагедии, но его дневники — это свидетельские показания против бесчеловечности буржуазного общества, это «вещественные доказательства» преступлений капитализма, попирающего человечность.

Кафка принадлежит к тем писателям, понять и истолковать которых не так просто. Его дневники помогают это сделать, позволяют постичь природу кафковских гротесков, суть его символики, его образную систему, они серьезный источник, необходимый для понимания творчества этого писателя и зарубежного литературного процесса нашего века.

Есть художники, биография которых существует как бы рядом с их творчеством, отражаясь в нем в самых основных своих чертах и событиях. Биография Кафки, напротив, чрезвычайно важна для понимания его мироощущения и творчества. К «общему» он восходил от «частного», личный опыт рождал в нем те «мистифицированные» обобщения, о которых свидетельствуют и его творчество, и его дневники, и его знаменитое «Письмо отцу».

Франц Кафка родился в семье пражского еврея, оптового торговца галантерейными товарами. Благосостояние постепенно росло, но понятия и отношения внутри семьи оставались при этом в мире темного мещанства, где все интересы сосредоточены на «деле», где мать бессловесна, а отец непрерывно хвастается теми унижениями и бедами, какие он претерпел до того, как выбился в люди, не в пример детям, получившим все незаслуженно, даром. И в этом-то «темном царстве» родился и рос человек не только хрупкий и слабый физически, но и чувствительный ко всякому проявлению несправедливости, неуважения, пошлости и корыстолюбия.

Буржуазная семья есть первая «застава», первый барьер, который должен взять будущий художник или деятель, ощутивший свою чуждость окружающей среде и ее взглядом. Но для того чтобы стать одним из «блудных детей» буржуазии, надо ощутить свое право на чуждость, свою непохожесть как истинную человеческую норму. Только тогда из «отщепенца» может вырасти воитель и судья.

Франц Кафка не мог переступить даже первый — семейный — порог на путях сопротивления среде. Всем сердцем ощущая несправедливость, унижение человека, всей душой преданный подлинному творчеству, до самой глубины ощущающий величие Гёте, Толстого, «ученик» Клейста, поклонник Стриндберга, восторженный почитатель русской классики — не только Толстого, но и Достоевского, Чехова, Гоголя (о чем свидетельствуют его дневники), он вместе с тем как бы «вторым зрением» видел себя и глазами среды и семьи, ощущал свою «непохожесть» как уродство, свою «чуждость» как грех и проклятье.

Дневники показывают, что Кафку мучили проблемы, в первую очередь характерные для промежуточных слоев Европы начала века, что творчество его непосредственно связано только с одним, пусть и весьма влиятельным, направлением литературы XX столетия. Дневники помогают понять истоки мировоззрения и художественной концепции Кафки, дают ключ к сложной и противоречивой идейной и образной структуре его произведений. И не только это — они дают весьма ценный материал для обличения и критики декадентской зашифровки реальности.

Наконец, еще одно «практическое» обстоятельство. Нельзя не учитывать того, что до сих пор на всевозможных международных литературных симпозиумах, встречах, дискуссиях творчество Кафки и, в частности, его дневники — это тот материал, который является обиходным, который нельзя не знать. Незнание — а кто, кроме специалистов, владеющих немецким языком, знаком с дневниками Кафки? — лишает нас веских доводов в споре с теми, кто нередко манипулирует его творчеством. Политическая позиция Кафки по отношению к социалистической идеологии нейтральна. И знание дневников Кафки дает нам еще один серьезный аргумент в борьбе с буржуазными концепциями литературы XX века.

Советские литературоведы и некоторые литературоведы социалистических стран немало сделали для того, чтобы развеять миф о Кафке, дать подлинно марксистское истолкование его сложного и противоречивого творчества. Публикация из дневников Кафки и его «Письма отцу» — продолжение этой работы.

Е. Клипович

От составителя

Страшные сны снились Францу Кафке. Но, наверное, ни в каком сне ему не могло привидеться, что когда-нибудь любой желающий сможет прочесть не только его романы и рассказы, которые он, хотя и желал уничтожить, все же писал не для одного себя, но и письма, и даже дневники. Недаром он, выражая последнюю волю своему другу и душеприказчику писателю Макс Броду, в одной фразе трижды повторяет, что, кроме перечисленных пяти опубликованных книг и подготовленной к печати новой новеллы, «все без исключения» должно быть сожжено. Сейчас бесмысленно обсуждать, «хорошо» или «нехорошо» поступил М. Брод, нарушив волю друга и издав все его рукописное наследие, — дело сделано: спустя четверть века после смерти Кафки все это, в том числе и дневники и письма, было напечатано и с тех пор неоднократно переиздавалось во многих странах, широко цитируется в бесчисленных исследованиях, посвященных жизни и творчеству писателя.

Для понимания личности и произведений Кафки его дневники и письма дают необычайно много. Особенно важны в этом смысле «Дневники». В них зафиксированы литературные замыслы, фрагменты, варианты, незаконченные рассказы, сны, зачастую мало чем отличающиеся от его новелл, и наброски новелл, подобные снам, размышления о жизни, о литературе и искусстве, о прочитанных книгах и увиденных спектаклях, мысли о писателях, художниках, актерах; сюда занесены копии отправленных или отрывки непосланных писем, главы из будущих романов. И все это, и записи сугубо личного характера складываются в такую полную картину его «фантастической внутренней жизни» (6.VIII.1914), его безграничного одиночества — столь мучительного и вместе с тем столь желанного; непрерывно терзающего его страха — страха перед жизнью, страха

перед несвободой, но и перед свободой, страха перед изменениями, но и перед продолжением привычной жизни, с такой пронзительностью здесь раскрыта беспрестанная трагическая борьба с самим собой и с окружающей действительностью, что многое в его романах и новеллах, кажущееся искусственным плодом причудливой, иной раз больной, фантазии, получает объяснение, обнаруживает свою реалистическую подоплеку, раскрывается как чисто автобиографическое. «У него нет ни малейшего убежища, приюта. Поэтому он предоставлен на произвол всему тому, от чего мы защищены. Он как нагой среди одетых», — писала подруга Кафки, чешская журналистка Милена Есенская 29 июля 1920 года М. Броду.

Кафка начал вести дневник с 1910 года и с тех пор вел его — иногда с продолжительными перерывами — по 1923 год. Самую большую часть составляют записи 1911 и 1914 годов; 1918 год вообще отсутствует; записей за 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 годы немного, и они приведены нами полностью; из записей остальных годов здесь представлено около половины текста. Выбранные записи, как правило, даются без купюр.

Отдельную часть «Дневников» составляют путевые дневники, которые Кафка вел во время путешествий по Швейцарии, Франции и Германии (1911 и 1912 годы), в наше издание они не включены.

Выборка и перевод сделаны по книгам:

Franz Kafka. Tagebücher 1910—1923. S. Fischer-Verlag, Frankfurt-am-Mein, 1951; Das Kafka-Buch, Fischer-Bücherei, 1965.

В своем послесловии к «Дневникам» М. Брод пишет, что «опустил отдельные незначительные, слишком фрагментарные места. При этом дело в большинстве случаев касается лишь нескольких слов. Затем, не включены некоторые записи, повторяющиеся с небольшими вариациями... В некоторых (редких) случаях опущены чрезмерно интимные записи, а также чересчур оскорбительная критика того или иного человека... Живые люди чаще всего обозначены инициалами или неопределенной буквой, например, если только речь не идет о художниках или политиках, которые по роду своей деятельности всегда должны быть готовы к тому, чтобы их критиковали. В то время как

при полемике с другими здравствующими лицами я прибегал к купюрам, я не считал нужной такую цензуру в тех немногих случаях, когда Кафка отрицательно высказывался обо мне (то шутливо-иронически, то серьезно). Читатель сам разберется в естественно создающемся при этом неправильном впечатлении, будто я единственный, против кого у Кафки было что-то на сердце».

«Письмо отцу» приведено полностью.

По свидетельству Брода, Кафка послал это письмо матери с просьбой, чтобы она сама передала его отцу; но мать не сделала этого, а вернула письмо сыну «с несколькими успокаивающими словами».

Е. Кацева

Из дневников (1910—1923)

1910

Наконец-то после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем был бы доволен, и которых никто и ничто не в силах мне возместить, хотя все обязаны бы это сделать, я надумал снова поговорить с самим собой. На это я еще всегда способен, если действительно задаюсь такой задачей, здесь всегда еще можно что-то выбить из той копны соломы, в которую я превратился за эти пять месяцев и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со мной! И пусть хоть десять раз случится — я ведь не сожалею о времени, даже злополучном. Мое состояние — не состояние «несчастья», но это и не счастье, не равнодушие, не слабость, не усталость, не интерес к чему-то другому, — тогда что же оно такое? То обстоятельство, что я не знаю этого, связано, вероятно, с моей неспособностью писать. А ее я, кажется, ощущаю, не зная причины. Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из корней своих, а откуда-то с середины. Попробуй-ка удержать их, попробуй-ка держать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь с середины стебля. Пожалуй, кто-то умеет это, например, японские акробаты, взбирающиеся по лестнице, которая стоит не на земле, а на поднятых вверх ступнях полулежащего человека, и не прислонена к стене, а вздымается вверх прямо в воздухе. Я этого не умею, не говоря уж о том, что под моей лестницей нет даже тех ступней. Конечно, это еще не все, и такая задача еще не заставит меня заговорить. Но каждый день на меня должна быть направлена по меньшей мере одна строка, как направляют теперь подзорные трубы на кометы. И еще — я должен оказаться перед настоящей фразой, захваченный этой фразой, как то случилось со мною, например, в последнее

рождество, когда дело дошло до того, что я едва мог владеть собой, и когда, казалось, я действительно был на последней ступеньке своей лестницы, которая, правда, спокойно стояла на земле у стены. Но что за земля, что за стена! И все же та лестница не упала — так прижимали ее мои ноги к стене, так держали ее мои ноги на земле.

Сегодня, например, я совершил три дерзости — по отношению к кондуктору, по отношению к одному из моих начальников; так, их только две, но они мучают меня, словно боль в желудке. Они были бы дерзостью со стороны любого человека, тем более с моей. Итак, я вышел из себя, сражался в воздухе, в тумане, и вот что самое скверное: никто не заметил, что я и по отношению к моим спутникам совершил дерзость, сделал, должен был сделать именно как дерзость настоящую гримасу, за которую необходимо нести ответственность; но самое скверное, что один из моих знакомых воспринял мою дерзость не как черту характера, а как самый характер, обратил мое внимание на эту дерзость и восхитился ею. Почему я вышел из себя? Теперь я, правда, говорю себе: смотри, мир позволяет тебе бить его, кондуктор и начальник оставались спокойными, когда ты выходил, последний даже поклонился. Однако это ничего не значит. Ты не можешь ничего достичь, выходя из себя, но что еще ты потеряешь, оставаясь в очерченном тобой круге? На это я отвечу следующее: я лучше позволю избивать себя в этом круге, чем самому избивать вне его, но где, черт возьми, этот круг? Некоторое время я видел его на полу словно мелом нарисованным, теперь же он лишь витает вокруг меня, да и не витает даже.

19 июля¹. Я часто думаю об этом и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание во многом очень повредило мне. Этот упрек относится ко множеству людей, правда, они стоят здесь рядом и, как на старых групповых портретах, не знают, что им делать друг с другом: опустить глаза им не приходит в голову, а улыбнуться они от напряженного ожидания не решаются. Здесь мои родители, некоторые родственники, некоторые учителя, кухарка, которую я запомнил, некоторые девушки из школы танцев, некоторые посетители нашего дома прежних времен, некоторые писатели, преподаватель плавания, билетер, школьный ин-

спектор, затем люди, которых я лишь однажды встретил на улице, и другие, которых я сейчас не могу припомнить, и такие, которых никогда больше не вспомню, и, наконец, такие, на уроки которых я, чем-то отвлекшись тогда, вообще не обратил внимания,— короче, их так много, что надо следить, как бы не упомянуть дважды одного и того же. И к ним всем я обращаю свой упрек, знакомя их тем самым друг с другом, и никаких возражений не приемлю. Ибо воистину я уже слышал их предостаточно, и так как большинство этих возражений я не сумел опровергнуть, мне ничего другого не остается, как включить и их в счет и сказать, что, кроме моего воспитания, эти возражения тоже во многом очень повредили мне.

Может быть, подумают, будто я воспитывался где-то в глуши? Нет, я воспитывался в городе, в самом центре города. Не в руинах, к примеру, в горах или на берегу озера. Мои родители и их присные до сих пор были хмуры и серы из-за моего упрека, но вот они легко отстранили его и улыбаются, потому что я снял с них мои руки и приложил их ко лбу и думаю: мне бы быть маленьким обитателем руин, вслушивающимся в гомон галок, осененным их тенью, освежающимся под холодной луной,— пусть вначале я и был бы чуть слабый под грузом добрых качеств, которые должны были бы буйно, как сорная трава, разрастись во мне, обожженном солнцем, сквозь развалины светящим со всех сторон на мое свитое из плюща ложе.

27 ноября. Бернхард Келлерман читал вслух. «Кое-что неопубликованное из моих сочинений»,— так он начал. Повидимому, милый человек; почти седые, торчком стоящие волосы, старательно, чисто выбрит, острый нос, мышцы перекатываются, как волны, на скулах. Писатель он посредственный, хотя есть хорошо написанные куски (какой-то мужчина выходит в коридор, кашляет и оглядывается, нет ли здесь кого-нибудь); честный человек, он хочет прочитать то, что пообещал, но публика не дает, испугавшись первого рассказа о нервной лечебнице; из-за скуки, навешиваемой манерой чтения, слушатели, несмотря на известную занимательность рассказа, все время поодиночке уходят с таким рвением, будто по соседству читают что-то другое. Когда он после первой трети рассказа остановился, чтобы

Aber jeden Tag soll zumindest ein Zeile
 gegen mich gerichtet werden wie man die
 Fernrohre jetzt gegen den Kometen richtet. Und
 Wenn ich denn einmal vor jenen Satze erscheinen
 würde hergeschafft von jenen Satze so wie ich
 z. B. letztes Winternachten quersüß bin und wo
 ich so weit war, dass ich mich nur noch grade
 lassen konnte und wo ich, wirklich auf
 der letzten Stufe meiner Leiter schien, die
 aber ruhig auf dem Boden stand und an
 der Wand. Aber was für ein Boden! was für
 eine Wand! Und doch fiel jene Leiter nicht,
 so drückten sie mein Frisör an den Boden,
 so hoben sie meine Frisör an die Wand.



Одна из первых страниц дневника, начатого в 1910 году

выпить минеральной воды, ушло много народу. Он испугался. «Скоро конец»,— просто соврал он. Когда он закончил, все встали, раздались аплодисменты, прозвучавшие так, словно среди всех поднявшихся один остался сидеть и аплодировал для собственного удовольствия. Келлерман хотел читать дальше — еще один рассказ или даже больше. Увидев, что все уходит, он только рот раскрыл. Наконец, последовав чьему-то совету, он сказал: «Я хотел бы еще прочитать небольшую сказку, это займет всего пятнадцать минут. Сделаем пятиминутный перерыв». Кое-кто остался, и он прочитал сказку, содержащую такие места, которые любому давали право бежать к выходу через весь зал, по головам слушателей.

15 декабря. Моим выводам из моего нынешнего, уже почти год длящегося состояния я просто не верю — для этого мое состояние слишком серьезно. Я даже не знаю, могу ли я сказать, что это состояние не новое. Во всяком случае, я думаю: состояние это ново, подобные у меня бывали, но такого еще не было. Я словно из камня, я словно собственный надгробный памятник, здесь нет щелки для сомнения или веры, для любви или отвращения, для отгаки или страха перед чем-то определенным или вообще — живет лишь шаткая надежда, бесплодная, как надписи на надгробиях. Почти ни одно слово, что я пишу, не подходит к другому, я слышу, как согласные с металлическим лязгом трутся друг о друга, а гласные подпевают им, как негры на подмостках. Сомнения, как кольцом, окружают каждое слово, я вижу их раньше, чем само слово, да что я говорю! — я вообще не вижу слова, я выдумываю его. Но это было бы еще не самым большим несчастьем, если бы я мог выдумывать слова, которые отвели бы трупный запах в сторону, чтобы он не ударял сразу в нос мне и читателю.

Когда я сажусь за письменный стол, то чувствую себя не лучше человека, падающего и ломающего себе обе ноги в центре движения на Place de l'Opéra. Все экипажи молча, несмотря на шум, создаваемый ими, устремляются со всех сторон во все стороны, но порядок, лучший, чем его мог бы навести полицейский, устанавливает боль этого человека, которая закрывает ему глаза и опустошает площадь и улицы, не заставляя машины повернуть обратно. Полнота жиз-

ни причиняет ему боль, ибо он ведь тормозит движение, но и пустота не менее мучительна, ибо она отдает его во власть боли.

16 декабря. «Дорога одиночества» В. Фреда. Как пишутся такие книги? Человек, достигший чего-либо путного в малом, так натужно растягивает свой талант на большой роман, что становится тошно, даже если не забываешь восхититься той энергией, с которой насилуется собственный талант.

Зачем это третирование второстепенных персонажей, о которых я читаю в романах, пьесах и т. д.? Какое чувство близости я испытываю к ним! В «Бишофсбергских девах»² (так это называется?) говорится о двух швеях, готовящих белье для невесты. Как живут эти девушки? Где они живут? Что они натворили такого, что их не пускают в пьесу? — им лишь дозволено, буквально утопая в потоках ливня, снаружи прижать в последний раз лицо к окошку каюты Ноева ковчега, для того чтобы зрители в партере увидели на мгновение нечто смутное.

17 декабря. Если бы французы по натуре своей были немцами, как бы тогда восхищались ими немцы!

То, что я так много забросил и повычеркивал, — а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, — тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера утаскивает к себе все, что я пишу.

19 декабря. Начал ходить на службу. После обеда был у Макса³.

Почитал немного дневники Гёте. Время уже излило покой на эту жизнь, дневники же озаряют ее огнем. Ясность всех событий делает их таинственными, так же как парковая решетка при созерцании больших лужаек успокаивает глаз и вместе с тем вселяет в нас преувеличенное почтение.

Только что пришла к нам впервые моя замужняя сестра.

20 декабря. Чем оправдаю я вчерашнее замечание о Гёте (которое почти столь же неверно, как и отмеченное записью чувство, ибо подлинное было развеяно приходом сестры)? Ничем. Чем оправдаю я то, что сегодня еще ничего не написал? Ничем. Тем более что мое состояние не наилучшее. У меня в ушах все время звучит призыв: «Приди же, незримый суд!»

21 декабря. Достопримечательности из «Подвигов Великого Александра» Михаила Кузмина⁴: «Ребенок, верхняя половина которого была мертвою, нижняя же — со всеми признаками жизни... младенческий труп с шевелящимися красными ножками». «Нечистых царей, Гогу и Магогу, питавшихся червяками и мухами, загнал в рассеявшиеся скалы и до скончания мира запечатал Соломоновою печатью». «Каменные потоки, что вместо воды стремят с грохотом камни, песчаные ручьи, три дня текущие к югу, три дня — на север». «Мужеподобные женщины с выжженными правыми грудями, короткими волосами, в мужской обуви». «Крокодилы, мочою сжигающие дерево».

Был у Баума⁵, слушал прекрасные вещи. Я слаб, как прежде и всегда. Такое ощущение, будто меня связали, и одновременно другое ощущение, будто, если бы развязали меня, было бы еще хуже.

22 декабря. Сегодня я не решаюсь даже делать себе упрёки. Прозвучи они в этот пустой день, они имели бы отвратительное эхо.

27 декабря. У меня нет больше сил написать хоть одну фразу. Да если бы речь шла о словах, если б можно было, прибавив одно слово, отвернуться в спокойном сознании, что это слово целиком наполнено тобою.

28 декабря. Когда я несколько часов веду себя по-человечески, как сегодня с Максом и позже у Баума, то перед сном уже исполнен высокомерия.

12 января. Шиллер, нарисованный Шадовым в 1804-м в Берлине, где его пышно чествовали. Крепче, чем за этот нос, нельзя ухватить лицо. Нос несколько оттянут книзу вследствие привычки во время работы теревить его. Дружелюбный, с немного впалыми щеками человек, выбритое лицо делает его старообразным.

14 января. Роман «Супруги» Берадта¹. Плохой язык. Все время внезапно зачем-то появляется автор, например: все были веселы, но присутствовал один, который не был весел. Или: и вот пришел некий господин Штерн (которого мы уже знаем до мозга его романых костей). Подобное есть и у Гамсуна, но там это столь же естественно, как сучки на дереве, здесь же это капают на действие, как модное лекарство на сахар. Внимание беспричинно приковывается к каким-то странным оборотам. Например: он трудился над ее волосами, трудился и снова трудился. Отдельные лица, хотя и не освещены новым светом, видны хорошо, настолько хорошо, что местами даже недостатки не мешают. Второстепенные персонажи большей частью безнадежны.

19 января. Так как я, кажется, вконец измотан — в последний год я был бодр не больше пяти минут,— мне предстоит каждый день желать или исчезнуть с лица земли, или, хотя и это не дало бы мне ни малейшей надежды, начать все сначала малым ребенком. Внешне при этом мне будет легче, чем в детстве. Ибо в те времена я лишь смутно стремился к воспроизведению, которое было бы каждым словом связано с моей жизнью, которое я мог бы прижать к груди и которое сорвало бы меня с места. С какими муками (правда, ни в какое сравнение не идущими с нынешними) я начинал! Каким холодом целыми днями преследовало меня написанное! Но так велика была опасность и так ничтожны были даваемые ею передышки, что я совсем не чувствовал этого холода, что, конечно, в целом не очень-то уменьшало мое несчастье.

Однажды я задумал роман, в котором два брата враждовали друг с другом; один из них уехал в Америку, между тем как другой остался в тюрьме в Европе. Я только время

от времени записывал строчку-другую, потому что сразу же уставал. Вот так однажды в воскресенье, когда мы были в гостях у бабушки и дедушки и наелись особенно мягкого хлеба с маслом, которым там всегда угощали, я начал писать что-то про эту тюрьму. Вполне возможно, что я занялся этим главным образом из тщеславия и шуршанием бумаги по скатерти, постукиванием карандаша, рассеянным рассматриванием круга под лампой хотел возбудить в ком-нибудь желание взять у меня написанное, прочесть его и восхититься мною. В нескольких строчках был описан преимущественно коридор тюрьмы, главным образом тишина и холод; было сказано и сочувственное слово об оставшемся брате, ибо это был хороший брат. Возможно, меня охватило ощущение невыразительности описания, но с того дня я никогда больше не обращал особого внимания на такие ощущения, когда сидел за круглым столом в знакомой комнате среди родственников, к которым привик (моя робость была столь велика, что среди привычного я уже бывал наполовину счастлив), ни на минуту не забывая, что я молод и нынешний покой не про меня — мне предначертано великое. Дядя, любивший поиздеваться, наконец взял у меня листок, который я лишь слабо попытался удержать, бросил на него беглый взгляд и вернул обратно, даже не посмеявшись; он сказал остальным, которые следили за ним глазами: «Обычная чепуха», мне же не сказал ни слова. Я, правда, остался на месте, по-прежнему склонившись над своим, стало быть, ничемным листком, но из общества я в самом деле был изгнан одним пинком, дядин приговор отозвался в моей душе уже почти во всем истинном значении, в самих семейных чувствах мне раскрылся весь холод нашего мира, я должен согреть его пламенем, на поиск которого я еще только собирался отправиться.

19 февраля. Когда я хотел сегодня подняться с постели, то свалился как подкошенный. Причина этого очень проста: я крайне переутомился. Не из-за службы, а из-за другой моей работы. Служба неповинно участвует в этом лишь постольку, поскольку я, не будь надобности ходить туда, мог бы спокойно жить для моей работы и не тратить там ежедневно эти шесть часов, которые особенно мучи-

тельны для меня в пятницу и субботу, потому что я полон моими вещами,— так мучительны, что вы себе представить не можете. В конечном счете — я знаю — это пустая болтовня, виноват только я, служба предъявляет ко мне лишь самые простые и справедливые требования. Но для меня это страшная двойная жизнь, исход из которой, вероятно, лишь один — безумие. Я пишу это при ясном свете утра и наверняка не стал бы писать, не будь это настолько правдой и не будь столь сильна моя сыновья любовь к вам.

Впрочем, завтра, наверное, уже опять все будет в порядке и я приду на службу, где первыми услышу слова о том, что вы хотите избавиться от меня ваш отдел.

19 февраля. Особенность моего вдохновения, охваченный которым я сейчас, в два часа ночи — счастливейший и несчастнейший,— иду спать (может быть, оно, если я только смогу вынести мысль об этом, останется, ибо оно сильнее, чем когда-либо прежде), заключается в том, что я умею все, а не только нечто определенное. Когда я, не выбирая, пишу какую-нибудь фразу, например: «Он выглянул в окно», то она уже совершенна.

20 февраля. Молодые, аккуратные, хорошо одетые юноши рядом со мной в галерее напоминают мою юность и потому производят на меня отталкивающее впечатление.

Письма молодого Клейста, двадцатидвухлетнего. Отказался от военной карьеры. Дома спрашивают: ради какой же доходной профессии? — только о такой и могла быть речь. У тебя есть выбор — юриспруденция или камеральные науки. Но есть ли у тебя связи при дворе? «Вначале я несколько смущенно ответил отрицательно, но потом с тем большей гордостью заявил, что, если бы у меня и были связи, я, по моим нынешним понятиям, стыдился бы рассчитывать на них. Усмехнулись; я почувствовал, что ответил опрометчиво. Следует остерегаться произносить вслух такие истины».

21 февраля. Я живу здесь так, словно уверен, что буду жить второй раз; ну, например, как после неудачного пребывания в Париже я утешал себя тем, что постараюсь

вскоре снова побывать там. Передо мной — вид резко разделенных участков света и тени на тротуаре.

26 марта. Теософские доклады д-ра Рудольфа Штайнера из Берлина. Риторический прием: обстоятельно излагает возражения противников, слушатель поражен, сколь сильны эти противники, слушатель встревожен, он полностью погружается в эти возражения, словно вокруг ничего более не существует, слушатель считает уже, что опровергнуть их вообще невозможно, и он более чем удовлетворен даже самым беглым изложением возможной защиты. Кстати, такой риторический эффект соответствует предписанию, как погрузить в благоговейное состояние. Долго рассматривается вытянутая вперед ладонь. Заключительная точка не ставится. Обычно каждая фраза, произносимая оратором, начинается с прописных букв, по мере продолжения она изо всех сил наклоняется к слушателю и с заключительной точкой возвращается к оратору. Когда же заключительной точки нет, ничем не сдерживаемая фраза дышит слушателю прямо в лицо.

28 марта. Художник П.-Карлин, его жена, два широких больших передних зуба заостряют большое, в общем-то плоское лицо, госпожа надворная советница Б., мать композитора, крепкий костяк которой от старости так выпирает, что она похожа на мужчину, по крайней мере когда сидит.

Отсутствующие ученики требуют столько внимания от д-ра Штайнера. Во время его выступления вокруг него так теснятся покойники. Жажда знаний? Разве их, собственно, это интересует? Видимо, да. Спит два часа. С тех пор, как однажды во время его выступления выключили электрический свет, он всегда носит с собой свечу. Он был очень близок к Христу. Он поставил в Мюнхене свою пьесу (ты можешь изучать ее целый год и все равно не поймешь), сам нарисовал костюмы, написал музыку. Он был наставником некоего химика; Лёви Симону, торговцу мылом в Париже, Quai Мопсеу, он дал превосходные деловые советы. Тот перевел его произведения на французский язык. Поэтому тайная советница занесла в свою записную

книжку: «Как достичь познания высших миров?»² — У С. Лёви в Париже».

В Венской ложе есть теософ, шестидесяти пяти лет, необычайно толстый, прежде великий забубенный пьяница, который все время верит и все время впадает в сомнения. Говорят, было очень забавно, когда однажды на конгрессе в Будапеште во время ужина на Блоксберге в лунную ночь неожиданно пришел д-р Штайнер и он со страху спрятался со своей кружкой за пивной бочкой (хотя д-р Штайнер не рассердился бы из-за этого).

Возможно, он и не самый великий современный исследователь духа, но лишь на нем возлежит долг объединить теософию с наукой. Поэтому он и знает все. Однажды в его родном селе появился ботаник, большой знаток оккультных наук. Он и просветил его. То, что я посетил д-ра Штайнера, дама истолковала мне как проявление памяти предков. Врач этой дамы, когда у нее обнаружили симптомы инфлюэнцы, спросил у д-ра Штайнера о лекарстве, прописал это лекарство даме и сразу же вылечил ее. Одна француженка попрощалась с ним со словами “Au revoir”. Он потряс за ее спиной рукой. Через два месяца она умерла. Еще один подобный случай в Мюнхене. Мюнхенский врач лечил красками, которые назначал д-р Штайнер. Он посылал также больных в пинакотеку с предписанием стоять, сосредоточившись, перед определенной картиной в течение получаса или больше.

Гибель Атлантиды, гибель Лемурии³, и теперь еще — гибель из-за эгоизма. Мы живем в решающее время. Опыт д-ра Штайнера удастся, если только духи зла не одержат верх. Он питается двумя литрами миндального молока и фруктами, растущими на возвышенностях. Со своими отсутствующими учениками он общается посредством мысленных образов, которые он им направляет. Создав эти образы, он больше не занимается ими, но они быстро стираются, и он должен их снова создавать.

Госпожа Ф.: «У меня плохая память».

Д-р. Шт.: «Не ешьте яиц».

Мое посещение д-ра Штайнера.

Одна женщина уже ожидает (на втором этаже гостиницы «Виктория» на Юнгманштрассе), но настоятельно про-

сит меня пройти раньше ее. Мы ждем. Приходит секретарша и обнадеживает нас. Я вижу его в конце коридора. Сразу вслед за этим он приближается к нам с полупростертыми руками. Женщина говорит, что я пришел первым. И вот я иду позади него, он ведет меня в свою комнату. На его черном сюртуке, который во время вечерних выступлений кажется наощенным (так он блестит своей чистой чернотой), теперь, при дневном свете (сейчас три часа пополудни), видна пыль, особенно на спине и плечах, и даже пятна.

В его комнате я пытаюсь показать робость, испытывать которую не могу, тем, что нахожу самое неподходящее место для своей шляпы, кладу ее на маленькую деревянную подставку для шнуровки ботинок. Стол посредине, я сижу лицом к окну, он — с левой стороны стола. На столе бумаги с несколькими рисунками, напоминающими рисунки на докладах об оккультной физиологии. Номер «Анналов натурфилософии» лежит поверх небольшой стопки книг, кажется, кругом валяются еще книги. Но осматриваться вокруг нельзя, так как он все время старается заморозить посетителя своим взглядом. Когда же он не делает этого, нужно быть начеку, пока взгляд его снова не обратится на вас. Он начинает несколькими непринужденными фразами: «Вы ведь доктор Кафка? Давно ли вы занимаетесь теософией?»

Но я произношу свою заготовленную речь:

«Я ощущаю, что большая часть моего существа тяготеет к теософии, но вместе с тем я испытываю перед нею сильнейший страх. Я боюсь, что она породит новое смятение, которое было бы для меня очень опасным, ибо мое нынешнее несчастье как раз и проистекает из смятения. Смятение это вызвано вот чем: мое счастье, мои способности и всякая возможность приносить какую-то пользу с давних пор связаны с литературой. И здесь я переживал состояния (не часто), очень близкие, по моему мнению, к описанным вами, господин доктор, состояниям ясновидения; я всецело жил при этом каждой фантазией, и каждую фантазию воплощал, и чувствовал себя не только на пределе своих сил, но и на пределе человеческих сил вообще. Но покоя, который, по-видимому, приносит ясновидящему вдохновение, в этих состояниях почти не было. Я заключаю это

по тому, что лучшие из моих работ написаны не в подобных состояниях.

Но литературе я не могу отдаться полностью, как это было бы необходимо,— не могу по разным причинам. Помимо моих семейных обстоятельств, я не мог бы существовать литературным трудом уже хотя бы из-за долгой работы над своими вещами и их особого характера; кроме того, мое здоровье и моя натура не позволяют мне жить жизнью человека, плохо обеспеченного. Поэтому я стал чиновником в обществе социального страхования. Но эти две профессии никогда не могут ужиться друг с другом и допустить, чтобы я был счастлив сразу с обеими. Малейшее счастье, доставляемое одной из них, оборачивается большим несчастьем в другой. Если я вечером написал что-то хорошее, то на следующий день на службе весь горю и ничего не могу делать. Эти метания от одного к другому становятся все более мучительными. На службе я внешне выполняю свои обязанности, но внутренние обязанности не выполняю, а каждая невыполненная внутренняя обязанность превращается в несчастье, которое отныне уже не покидает меня. И вот к этим двум стремлениям, которых мне никогда не примирить, мне теперь прибавить еще третье — теософию? Не будет ли она мешать двум другим и не будет ли ей самой мешать эти другие? Смогу ли я, человек, столь несчастный уже и сейчас, довести всю троицу до конца? Я пришел, господин доктор, спросить вас об этом, ибо чувствую, что, если вы считаете меня способным, я действительно смогу принять все на себя».

Он слушал в высшей степени внимательно, по-видимому совершенно не наблюдая за мною, полностью поглощенный моими словами. Время от времени кивал головой, что он, вероятно, считал вспомогательным средством для большей сосредоточенности. Вначале ему мешал небольшой насморк, у него текло из носа, он непрерывно возился с носовым платком, усиленно работая пальцем в глубине каждой ноздри.

20 августа. Читал о Диккенсе. Это так трудно — да и может ли сторонний человек понять, что какую-нибудь историю переживаешь с самого ее начала, от отдаленнейшего пункта до встречи с наезжающим локомотивом из стали,

угля и пара, но и в этот момент не уходишь от нее, а хочешь и находишь время, чтобы она гнала тебя дальше, то есть она гонит тебя, и ты по собственному порыву мчишься впереди нее туда, куда она толкает и куда ты сам влечешь ее.

Я не могу понять и даже не могу поверить в это. Я лишь временами живу в маленьком слове, в ударном слоге, в котором я, например, на мгновение теряю свою ни на что не пригодную голову («удар» сверху). Первая и последняя буква — начало и конец моего чувства пойманной рыбы.

26 августа. Вероятно, это заключено в природе дружбы и сопровождает ее как тень: один что-либо приветствует, другой об этом же сожалеет, третий просто не замечает...

29 сентября. Дневники Гёте. Человек, не ведущий дневника, неверно воспринимает дневник другого человека. Когда он, например, читает в дневниках Гёте: «11.1.1797. Целый день был занят дома различными распоряжениями», то ему кажется, что сам он никогда за весь день не делал так мало.

Путевые наблюдения Гёте совсем иные, чем нынешние, потому что они велись из почтовой кареты и развивались проще, местность изменялась медленно, и потому за ней легче следить человеку, даже незнакомому с этой местностью. Это было спокойное, воистину пейзажное мышление. Так как окрестность представлялась пассажиру кареты нетронутой, в ее натуральном виде и проселочные дороги разделяли ее гораздо естественнее, чем железнодорожные линии, с которыми они соотносятся примерно так же, как реки с каналами, то это не требовало от созерцателя никаких усилий и он мог без особого напряжения систематизировать свои впечатления. Поэтому моментальных наблюдений мало, большей частью в помещениях, где иные люди сразу же полностью распахиваются, например, австрийские офицеры в Гейдельберге; а пассаж о мужчинах в Визенгейме, напротив, ближе к описанию местности — «на них были синие сюртуки и белые жилеты, украшенные вышитыми цветами» (цитирую по памяти). Много написа-

но о Рейнском водопаде в Шаффхаузене, и вдруг посреди большими буквами: «Возникшие идеи».

30 сентября. Тухольский⁴ и Сцафранский. Берлинское произношение с придыханием, которое требует пауз в голосе, образуемых словечком «вишь». Первый из них — вполне цельный человек, двадцати одного года. От сдержанного и сильного размахивания тростью, заставляющего плечо по-юношески подниматься, до рассудительного доволства и пренебрежения к собственным писательским трудам. Хочет стать адвокатом, видит лишь небольшие препятствия к этому и одновременно — возможности их устранения; звонкий голос, мужское звучание которого после первого получаса говорения переходит как будто в девичье; сомневается, что способен позировать, но надеется, что ему в этом поможет бóльший жизненный опыт; наконец, боится, что знакомство с миром ввергнет его в мировую скорбь, что он замечал в старших берлинцах евреях близкого ему направления, хотя пока он в себе этого совсем не ощущает. Скоро женится.

1 октября. О Гёте. «Возникшие идеи» — это всего-навсего идеи, которые вызвал Рейнский водопад. Это видно из одного письма к Шиллеру. Мимолетное наблюдение — «Кастаньетный ритм детей в деревянных башмаках» — произвело такое впечатление, так всеми воспринято, что нельзя себе представить, чтобы кто-нибудь, даже если он никогда и не прочитал этого замечания, воспринял это наблюдение как собственную оригинальную идею.

2 октября. Бессонная ночь. Уже третья подряд. Я хорошо засыпаю, но спустя час просыпаюсь, словно сунул голову в несуществующую дыру. Сон полностью отлетает, у меня ощущение, будто я совсем не спал или сном был объят лишь поверхностный слой моего существа, я должен начать работу по засыпанию сначала и чувствую, что сон отклоняет мои попытки. И с этого момента всю ночь часов до пяти я как будто и сплю, и вместе с тем яркие сны не дают мне заснуть. Я как бы формально сплю «около» себя, в то время как сам я должен биться со снами. Часам к пяти последние остатки сна уничтожены, я только грежу, и это из-

нуряет еще больше, чем бодрствование. Короче говоря, всю ночь я провожу в том состоянии, в каком здоровый человек пребывает лишь минуту перед тем, как заснуть. Когда я просыпаюсь, меня обступают все сновидения, но я остерегаюсь продумать их. На заре я вздыхаю в подушку, ибо всякая надежда на прошедшую ночь исчезла. Я думаю о тех ночах, в конце которых выбирался из сна столь глупого, словно был заперт в скорлупе ореха.

Страшным видением сегодня ночью был слепой ребенок, как будто дочь моей лейтмерицкой тети, у которой вообще нет дочерей, а только сыновья, один из них однажды сломал себе ногу. Во сне существуют какие-то связи между этим ребенком и дочерью д-ра М., превращающейся, как я недавно заметил, из красивого ребенка в толстую, чопорно одетую маленькую девочку. Оба глаза слепого или плохо видящего ребенка прикрыты очками, левый глаз за довольно сильно выдвинутым вперед стеклом — молочно-серого цвета, выпученный, другой глаз сидит глубоко и прикрыт прилегающим стеклом. Для того чтобы стекло сидело оптически правильно, необходимо было вместо обычной заложенной за уши дужки применить рычажок, головку которого никак иначе нельзя было прикрепить, кроме как только к скуле, так что от стекла к скуле спускается проволочка, уходящая в продырявленное мясо и кончающаяся на кости, из которой выступает другая проволочка, заложенная за ухо.

Вероятно, я страдаю бессонницей только потому, что пишу. Ведь как бы мало и плохо я ни писал, эти маленькие потрясения делают меня очень чувствительным, я ощущаю — особенно по вечерам и еще больше по утрам — дыхание, приближение захватывающего состояния, в котором нет предела моим возможностям, и потом не нахожу покоя из-за сплошного гула, который шумит во мне и унять который у меня нет времени. В конечном счете этот гул не что иное, как подавленная, сдерживаемая гармония; выпущенная на волю, она бы целиком наполнила меня, расширила и снова наполнила. Теперь же это состояние, порождая лишь слабые надежды, причиняет мне вред, ибо у меня нет достаточно сил вынести теперешнюю мысль, днем мне помогает видимый мир, ночь же без помех разрезает меня на части. При этом я всегда думаю о Париже,

где во времена осады и позже, до Коммуны, население северных и восточных предместий, прежде чужое парижанам, в течение месяцев, запинаясь, как часовая стрелка, буквально с каждым часом все ближе придвигалось переулками к центру Парижа.

Мое утешение — с ним я и отправляюсь спать — в том, что поскольку я так долго не писал, писание еще не могло занять свое место в моей нынешней жизни, и потому оно должно — правда, при наличии определенного мужества — хотя бы некоторое время удаваться.

Я сегодня был настолько слаб, что даже рассказал шефу историю про ребенка. Теперь я вспоминаю, что очки, виденные во сне, принадлежат моей матери, сидящей вечером возле меня и во время игры в карты не очень приветливо поглядывающей на меня сквозь пенсне. Правое стекло ее пенсне — не помню, чтобы я раньше замечал это, — ближе к глазу, чем левое.

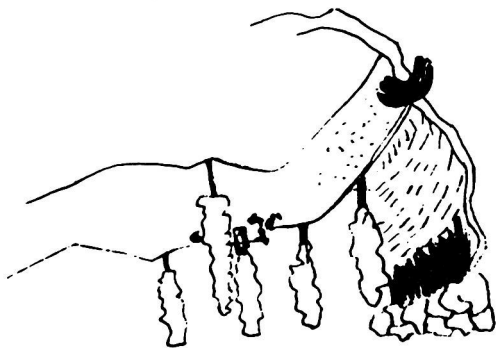
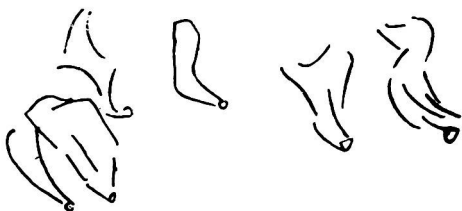
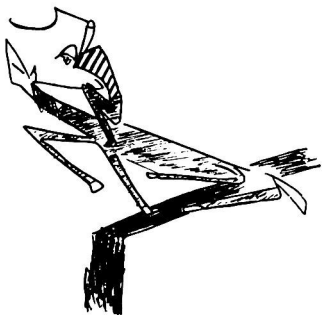
3 октября. Диктуя на службе довольно длинное уведомление о несчастных случаях участковым управлениям, я, дойдя до конца, который должен был прозвучать повнушительнее, вдруг загнулся и не мог продолжать, а только уставился на машинистку К., — она же, по своему обыкновению, особенно оживилась, задвигалась в кресле, стала покашливать, рываться на столе и тем самым привлекла внимание всей комнаты к моей беде. Искомый оборот приобрел теперь еще и то значение, что он должен был успокоить ее, и, чем необходимей он становился, тем труднее давался. Наконец, я нашел слово «заклеймить» и соответствующую ему фразу, но держал все это во рту с чувством отвращения и стыда, словно это был кусок сырого мяса, вырезанного из меня мяса (такого напряжения мне это стоило). Наконец я выговорил фразу, но осталось ощущение великого ужаса, что все во мне готово к писательской работе и работа такая была бы для меня божественным исходом и истинным воскрешением, а между тем я вынужден ради какого-то жалкого документа здесь, в канцелярии, вырывать у способного на такое счастье организма кусок его плоти.

4 октября. Я неспокоен и язвителен. Вчера перед сном у меня в верхней части головы мерцал прохладный огонек.

Над левым глазом уже прочно обосновалась давящая тяжесть. Когда я думаю об этом, мне кажется, что на службе я больше не смог бы выдержать даже в том случае, если бы мне сказали, что через месяц я стану свободен. И тем не менее я, как правило, выполняю на службе свои обязанности, вполне спокоен, если могу быть уверен, что шеф доволен мною, и не считаю свое положение столь ужасным. Впрочем, вчера вечером я намеренно сделался бесчувственным, ходил гулять, читал Диккенса, потом я немного оправился и не имел сил предаться грусти, которую я считаю оправданной и тогда, когда она кажется несколько отодвинутой вдаль, что дает мне надежду на лучший сон. Он и был немножко более глубоким, но недостаточно и часто прерывался. Я говорил себе в утешение, что зато снова подавил великое волнение, возникшее во мне, что не хочу терять власти над собой, как то раньше всегда бывало после таких периодов, что и послеродовые боли этого волнения не заставят меня лишиться четкого сознания, как то всегда бывало прежде. Может быть, я таким образом сумею найти в себе еще какую-то скрытую силу сопротивления.

9 октября. Если я доживу до сорока лет, то, наверное, жеманюсь на старой деве с выступающими вперед, не закрытыми верхней губой зубами... Но до сорока лет я вряд ли доживу, об этом свидетельствует, например, ощущение, будто в левой половине черепа у меня набухает что-то, на ощупь напоминающее внутреннюю проказу, и, когда я отвлекаюсь от неприятностей и хочу только наблюдать это ощущение, оно напоминает мне поперечный разрез черепа в школьных учебниках или почти не причиняющее боли вскрытие живого тела, где нож, чуть холодея, осторожно, часто останавливаясь, возвращаясь, иной раз застывая на месте, продолжает отделять тончайшие слои ткани совсем близко от функционирующих частей мозга.

17 октября. Как только я вспоминаю анекдот — Наполеон рассказывает за столом в Эрфурте: «Когда я был еще простым лейтенантом в пятом полку... (королевские высочества смущенно взглядывают друг на друга, Наполеон замечает это и поправляет себя), когда я еще имел честь





Рисунки Франца Кафки

быть простым лейтенантом...» — у меня вздуваются жилы на шее от вполне понятной мне, помимо воли охватывающей меня самой гордости.

23 октября. Спор между Чиссиком и Лёви⁵. Ч.: Эдельштатт — самый крупный еврейский сочинитель. Он возвышен. Розенфельд, конечно, тоже крупный сочинитель, но не первый. Л.: Ч. социалист, и поскольку Эдельштатт пишет социалистические стихи (он редактор еврейской социалистической газеты в Лондоне), Ч. считает его самым крупным. Но кто такой Эдельштатт, это знает его партия, больше же никто, а Розенфельда знает весь мир. Ч.: Дело не в признании. Все написанное Эдельштаттом возвышенно. Л.: Я тоже его хорошо знаю. «Самоубийца», например, очень хорош. Ч.: К чему спорить? Мы все равно не сойдемся. Я буду твердить свое до завтра, да и ты тоже. Л.: Я до послезавтра.

26 октября. Подведя черту, писал в отчаянии, потому что сегодня особенно шумно играют в карты, я должен сидеть за общим столом, О. смеется с полным ртом, она встает, садится, тянется через весь стол, обращается ко мне, и я, в довершение несчастья, пишу так плохо и думаю о хороших, написанных одним духом парижских воспоминаниях Лёви, светящихся его собственным огнем, в то время как я, во всяком случае, сейчас, наверняка главным образом потому, что у меня так мало времени, почти полностью нахожусь под влиянием Макса, и это иной раз чересчур отравляет даже радость от его сочинений.

Поскольку она меня утешает, я перепишу автобиографическую заметку Шоу, хотя она, собственно говоря, содержит в себе нечто противоположное утешению: подростком он был учеником в конторе одного агента по продаже земельных участков в Дублине. Вскоре он покинул это место, уехал в Лондон и стал писателем. За первые девять лет — с 1876 до 1885 года — он заработал всего сто сорок крон. «Но хотя я был крепким молодым человеком, и семья моя жила в трудных условиях, я не бросился в борьбу с жизнью; я бросил в нее мать и жил на ее средства. Я не был поддержкой отцу, напротив, я держался за его штаны». В конце концов это немного утешило меня. Годы, которые

он свободным человеком провел в Лондоне, у меня уже позади, возможное счастье все больше становится невозможным, я веду ужасную, какую-то ненастоящую жизнь и достаточно жалок и труслив, чтобы следовать за Шоу хотя бы настолько, чтобы прочитать родителям это место. Как сверкает перед моими глазами эта возможная жизнь — в стальных красках, в натянутых стальных прутьях и прозрачной темноте между ними!

27 октября. Какими израненными мне представляются актеры после спектакля, как я боюсь прикоснуться к ним словом! Я предпочел бы после короткого рукопожатия быстро уйти, словно я зол и недоволен, ибо высказать свое истинное впечатление невозможно. Все кажутся мне фальшивыми, за исключением Макса, который спокойно говорит что-то бессодержательное. Но фальшив тот, кто спрашивает о какой-то бесстыдной детали, фальшив тот, кто отвечает шуткой на какое-либо замечание актера, фальшив иронизирующий, фальшив тот, кто пускается в рассуждения о своих разнообразных впечатлениях, весь этот сброд, который, будучи засунут — и поделом — в глубину зрительного зала, теперь, поздней ночью, вылезает оттуда и снова проникается сознанием собственной ценности (очень далекой от подлинной).

28 октября. «Аксиома о драме» Макса на страницах «Шаубюне». Носит характер фантастической истины, к которой как раз и подходит выражение «Аксиома». Чем фантастичнее она раздувается, тем сдержаннее надо ее воспринимать. Высказаны следующие принципы:

Сущность драмы заключена в каком-нибудь человеческом недостатке, это тезис.

Драма (на сцене) более исчерпывающа, чем роман, потому что мы видим все, о чем обычно лишь читаем.

Но это только кажется, ведь в романе автор может показывать нам лишь главное, в драме же, напротив, мы видим все — актера, декорации, и потому не только важное, следовательно, меньше. Поэтому с точки зрения романа лучшей драмой была бы драма, ни к чему не побуждающая, например, философская, которую читали бы вслух актеры в комнате с любой декорацией.

И все же наилучшей является драма, дающая в зависимости от времени и места наибольшие импульсы, освобожденная от всех требований жизни, ограничивающаяся только речами, мыслями в монологах, главными моментами события, во всем остальном управляемая лишь импульсами, поднятая на несомый кем-нибудь из актеров, художников, режиссеров щит, следующая лишь высшему вдохновению.

Ошибки этого умозаключения: оно меняет, не указывая на это, исходную посылку, рассматривает вещи то из писательского кабинета, то из зрительного зала. Допустим, что публика не все видит глазами автора, что постановка ошеломляет его самого, но ведь он носил в себе всю пьесу со всеми деталями, двигался от детали к детали, и только потому, что собрал все детали в речах, он придал им драматическую весомость и силу. Тем самым драма в своем наивысшем развитии оказывается невыносимо очеловеченной, и снизить ее, сделать выносимой — это задача актера, который расслабляет, разжижает предписанную ему роль, доносит ее дыхание. Таким образом, драма парит в воздухе, но не как сорванная бурей крыша, а как целое здание, чей фундамент с силой, еще и сегодня очень близкой безумию, вырван из земли и поднят ввысь.

Иной раз кажется, что пьеса покоится сверху на софитах, актеры отодрали от нее полосы, концы которых они ради игры держат в руках или обернули вокруг тела, и лишь там и сям трудно отторгаемая полоса на страх публике уносит актера вверх.

30 октября. Моя старая привычка: чистым впечатлениям, болезненным они или приятны, если только они достигли своей высшей чистоты, не дать благотворно разлиться во мне, а замутнить их новыми, непредвиденными, бледными впечатлениями и отогнать от себя. Тут нет злого намерения повредить самому себе, я просто слишком слаб, чтобы вынести чистоту тех впечатлений, но, вместо того чтобы признаться в этой слабости, дать ей обнаружиться — что было бы единственно правильным — и призвать для подкрепления другие силы, я пытаюсь втихомолку помочь себе, вызывая, будто произвольно, новые впечатления.

Так было, например, в субботу вечером, после того как я услышал чтение хорошей новеллы фройляйн Т.⁶, принадлежащей больше Максу, во всяком случае принадлежащей ему в большей степени и с большим основанием, чем какая-либо его собственная, после того как прослушал вслед за этим отличный отрывок из «Конкуренции» Баума, в котором драматическая сила точно так же не ослабевает при работе, как не слабеет в воздействии на читателя, словно в изделии увлеченного мастерового, — после слушания этих двух вещей я был так подавлен и моя душа, довольно пустая в течение многих дней, совершенно неожиданно наполнилась такой тяжелой грустью, что на обратном пути я заявил Максу, что из «Роберта и Самуэля»⁷ ничего не получится. Для такого заявления тогда не требовалось ни малейшего мужества — ни по отношению к самому себе, ни по отношению к Максу. Дальнейший разговор немного смутил меня, так как «Роберт и Самуэль» в то время отнюдь не был моей главной заботой, и потому я не нашел правильных ответов на возражения Макса. Но когда я потом остался один и ничто не отвлекало меня от моей грусти — ни разговор, ни утешение, почти всегда доставляемое мне присутствием Макса, безнадежность так переполнила меня, что затуманила мой разум (как раз в это время, когда я сделал перерыв для ужина, пришел Лёви, и мешал мне, и развлекал меня с семи до десяти часов). Но вместо того, чтобы дома выждать, что случится дальше, я беспорядочно читал два номера «Акцион», немного из «Неудачников»⁸, наконец, свои парижские заметки и лег в кровать чуть более довольный собой, но ожесточенный. Нечто подобное было со мной несколько дней тому назад, когда я вернулся после прогулки, полный стремления подражать Лёви, направив извне силу его воодушевления на мою собственную цель. Тогда я тоже читал, много и сумбурно говорил дома и обессилел.

1 ноября. Сегодня пополудни боль из-за моего одиночества охватила меня так пронзительно и круто, что я отметил: таким путем растрачивается сила, которую я обретаю благодаря писанию и которая предназначалась мною во всяком случае не для этого.

2 ноября. Сегодня утром впервые после долгого перерыва снова радость при представлении о поворачиваемом в моем сердце ноже.

В газетах, в разговоре, в канцелярии часто прельщает яркость языка, затем порожденная нынешней слабостью надежда на внезапное и потому особенно сильное озарение уже в ближайший момент, или одна лишь самоуверенность, или просто халатность, или сильное в данный момент впечатление, которое во что бы то ни стало хочешь свалить на будущее, или мнение, будто нынешний подъем оправдает всякую разнузданность в будущем, или радость от фраз, которые посредине одним-двумя толчками поднимаются и заставляют постепенно раскрыть рот во всю ширь, а затем закрыть даже слишком быстро и судорожно, или намек на возможность решительного, основанного на ясности мнения, или желание дать уже законченной речи возможность дальнейшего плавного течения, или потребность спешно бросить, если нужно, на произвол судьбы тему, или отчаяние, ищущее исхода для своего тяжелого дыхания, или стремление к свету без тени — все это может заставить прельститься фразами, подобными следующим: «Книга, которую я сейчас закончил, лучшая из всех, что я до сих пор читал» или: «Так хороша, как никакая другая из читанных мною».

5 ноября. Я хочу писать, ощущение непрерывного подергивания во лбу. Я сижу в своей комнате, как в главном штабе шума всей квартиры. Я слышу, как хлопают все двери, их шум избавляет меня только от звука шагов пробегающих через них людей, а еще я слышу, как затворяют дверцу кухонной плиты. Отец распахивает настежь двери моей комнаты и проходит через нее в волочащемся за ним халате, в соседней комнате выскребают золу из печи, Валли из передней спрашивает, словно кричит через парижскую улицу, вычищена ли уже отцова шляпа, шикание, которое должно выразить внимание ко мне, лишь подхлестывает отвечающий голос. Входная дверь открывается вначале с простудным сипом, переходящим в короткое женское пение, и закрывается с глухим мужественным стуком, который звучит особенно бесцеремонно. Отец ушел, теперь на-

чинается более деликатный, более разбросанный, более безнадежный шум, предводительствуемый голосами двух канареек. Я уже и раньше подумывал — а теперь канарейки снова навели меня на эту мысль, — не приоткрыть ли чуть-чуть дверь, не проползти ли, подобно змее, в соседнюю комнату, чтобы вот так, распластавшись на полу, умолять моих сестер и их горничную о покое. Горечь, которую я чувствовал вчера вечером, когда Макс читал у Баума мой небольшой рассказ об автомобиле. Я замкнулся в себе и сидел, не смея поднять голову, прямо-таки вдавив подбородок в грудь. Беспорядочные фразы с провалами, в которые можно засунуть обе руки; одна фраза звучит высоко, другая низко, как придется; одна фраза трется о другую, как язык о дырявый или вставной зуб; иная же фраза так грубо прет напролом, что весь рассказ застывает в досадном недоумении; то и дело, как волна, накатывается вялое подражание Максу (сюжет то приглушен, то выпячен), иной раз это выглядит как неуверенные шаги на уроке танцев в первые пятнадцать минут. Я объясняю это недостатком времени и покоя, который мешает мне полностью выжить возможности моего таланта. Поэтому на свет появляются всегда только начала — они тут же обрываются; оборванное начало, например, и весь рассказ об автомобиле. Если бы я мог когда-нибудь написать крупную вещь, хорошо построенную от начала до конца, тогда история эта никогда не могла бы окончательно отделиться от меня и я был бы вправе спокойно и с открытыми глазами, как кровный родственник здоровой вещи, слушать чтение ее; теперь же все кусочки истории бегают, как бездомные, по свету и гонят меня в противоположную сторону. И хорошо еще, если я нашел верное объяснение.

9 ноября. Шиллер однажды сказал: главное (или нечто подобное) — «претворить аффект в характер».

11 ноября. Как только я каким-либо образом осознаю, что оставляю в покое зло, устранить которое я призван (например, внешне благополучную, с моей точки зрения, безотрадную жизнь моей замужней сестры), я перестаю на какой-то момент ощущать мускулы рук.

Я попытаюсь постепенно составить список того, что во мне бесспорно, затем — вероятно, потом — возможно и т. д. Бесспорна во мне жажда книг. Нет, не владеть ими или читать их я жажду, а видеть их, убеждаться перед витриной книготорговца, что они существуют. Если где-нибудь лежат несколько экземпляров одной книги, меня радует каждый из них. Жажда эта подобна неверно направленному чувству голода, она словно исходит из желудка. Книги, которыми я сам владею, радуют меня меньше, книги же моих сестер, напротив, меня радуют. Желание владеть ими несравненно слабее, оно почти отсутствует.

14 ноября. Перед сном.

Как плохо быть холостяком⁹, старому человеку просить, с трудом сохраняя достоинство, о гостеприимстве, когда хочется провести вечер вместе с людьми, носить для самого себя еду домой, никого с ленивой уверенностью не дожидаться, лишь с усилием или досадой делать кому-нибудь подарки, прощаться у ворот, никогда не подниматься по лестнице со своей женой, болеть и утешаться лишь видом из своего окна, если только можешь приподниматься, жить в комнате, двери которой ведут в чужие квартиры, ощущать отчужденность родственников, с которыми можно пребывать в дружбе посредством брака — сначала благодаря браку своих родителей, затем благодаря собственному браку, дивиться на чужих детей и не сметь беспрестанно повторять: у меня их нет, ибо семья из одного человека не растет, испытывать чувство неизменности своего возраста, своим внешним видом и поведением равняться на одного или двух холостяков из наших воспоминаний юности. Все это верно, но при этом легко совершаешь ошибку, столь широко расстилая перед собой будущие страдания, что взгляд невольно отрывается от них и уже больше не возвращается, а ведь сейчас и позднее ты действительно окажешься перед ними, окажешься перед ними телом и реальной головой, а значит, и лбом, чтобы бить по нему ладонью.

Теперь попытаться сделать набросок вступления к «Рихарду и Самуэлю».

15 ноября. Вчера вечером, уже предвкушая сон, откинул одеяло, лег и вдруг снова явственно ощутил все свои способности, словно держал их в руках; они распирали мне грудь, воспаляли голову, какое-то время я повторял себе, чтобы утешиться по поводу того, что не встаю и не сажусь работать: «Это вредно для здоровья, это вредно для здоровья», и хотел чуть ли не силком натянуть сон на голову. Я все время представлял себе фуражку с козырьком, которую я, чтобы защититься, изо всех сил натягиваю на лоб. Как много я вчера потерял, как тяжело стучала кровь в стесненной голове,— обладать такими способностями и держаться только силами, которые необходимы просто для существования и попусту растрачиваются.

Бесспорно: все, что я заранее, даже ясно ощущая, придумываю слово за словом или придумываю лишь приблизительно, но в четких словах, на письменном столе при попытке занести их на бумагу становится сухим, искаженным, застывшим, мешающим всему остальному, робким, а главное — нецельным, несмотря на то, что ничто не забыто из первоначального замысла. Разумеется, причина этого в значительной степени кроется в том, что вдали от бумаги я хорошо придумываю только в состоянии подъема, которого я больше боюсь, чем жажду, как бы я его ни жаждал, но полнота чувств при этом так велика, что я не могу справиться со всем, черпаю из потока вслепую, случайно, горстями, и все добытое таким способом оказывается при спокойном записывании ничтожным по сравнению с той полнотой, в которой оно жило, неспособным эту полноту выразить и потому дурным и вредным, ибо напрасно привлекло к себе внимание.

16 ноября. Из старой записной книжки: «Вечером, после того как я с шести часов утра делал уроки, я заметил, что моя левая рука уже некоторое время из сострадания поддерживает пальцы правой руки».

19 ноября. Воскресенье. Сон:

В театре. Постановка «Далекой страны» Шницлера в обработке Утица¹⁰. Я сижу совсем впереди, мне кажется, что в первом ряду, пока не обнаруживается, что во втором. Спинка сиденья повернута к сцене, так что удобно смотреть

в зрительный зал, сцену же можно видеть, лишь повернувшись. Автор где-то поблизости, я не могу скрыть от него своего плохого мнения о пьесе, которую я, видимо, уже знаю, но зато добавляю, что третий акт должен быть остроумным. Этим «должен быть» я хочу сказать, что, если говорить об удачных местах, я пьесы не знаю и полагаюсь на слышанное мнение; это замечание я повторяю дважды не только для себя, но окружающие не обращают на него внимания. Вокруг меня большая толпа, все словно одеты по-зимнему и потому занимают слишком много места. Люди около меня, позади меня, люди, которых я не вижу, заговаривают со мной, указывают мне на вновь приходящих, называют имена, особенно обращают мое внимание на какую-то протискивающуюся через ряды кресел супружескую пару, потому что у женщины темно-желтое мужское длинноносое лицо, и, кроме того, насколько можно увидеть в толпе, над которой возвышается ее голова, она одета в мужской костюм; рядом со мной удивительно непринужденно стоит актер Лёви, очень не похожий на реального, и произносит взволнованные речи, в которых повторяется слово “*principium*”, я все жду выражения “*tertium comparationis*”*, но его нет. В ложе второго яруса, собственно в углу галереи, справа от сцены, которая там примыкает к ломам, стоит позади своей сидящей матери какой-то третий сын семьи Киш и говорит что-то, обращаясь к залу; на нем красивый сюртук с развевающимися полами. Слова Лёви имеют какое-то отношение к этим его словам. Посреди речи Киш показывает вверх и говорит, что там сидит немецкий Киш¹¹, подразумевая моего школьного товарища, изучавшего германистику.

Когда занавес поднимается, в зале становится темно и Киш так или иначе должен исчезнуть из виду, он, вместе с матерью, проносится, чтобы привлечь большее внимание, вверх по галерее, с широко разбросанными в стороны руками, ногами и одеждой.

Сцена расположена несколько ниже зрительного зала, на нее приходится смотреть вниз, упираясь подбородком в спинку сиденья. Декорации сводятся к двум низким толстым колоннам посредине сцены. Изображается пир, в ко-

* «третье в сравнении» (*лат.*), то есть общее как основа для сравнения разного.

тором участвуют девушки и молодые люди. Мне мало что видно, потому что, хотя с началом представления многие из первого ряда ушли, по-видимому за сцену, оставшиеся девушки двигаются на своих местах и их большие, плоские, большей частью голубые шляпы закрывают мне сцену. Но одного невысокого мальчика лет десяти — пятнадцати я вижу на сцене очень отчетливо. У него сухие, разделенные пробором, ровно подрезанные волосы. Он не умеет даже правильно расстелить салфетку на коленях и вынужден поэтому внимательно смотреть вниз; ему приходится изображать в пьесе прожигателя жизни. Это наблюдение мешает мне испытывать особое доверие к спектаклю. Общество на сцене поджидает новых гостей, спускающихся из первых рядов зрительного зала на сцену. Но пьеса плохо разучена. Вот появляется актриса Хакельберг, другой актер, светски небрежно откинувшись в кресле, называет ее Хакель, замечает свою ошибку и поправляется. Входит девушка, которую я знаю (мне кажется, ее зовут Франкель), она перелезает как раз на моем месте через ряд; когда она перелезает, видна ее спина, совершенно обнаженная, кожа не очень чистая, на правом бедре расчесанное до крови место величавой с кнопку дверного звонка. Но, оказавшись на сцене и повернув к залу чистое лицо, она играет очень хорошо. Теперь должен издалека галопом прискакать на коне певец, рояль передает стук копыт, слышится приближающееся бурное пение, наконец я вижу и певца, который, чтобы передать естественное нарастание звука при стремительном приближении, бежит вдоль верхней галереи на сцену. Он еще не достиг сцены, еще и песня не окончена, и все же он выразил всю крайнюю спешку и громкость пения, даже рояль не может уже передать более отчетливо звук цокающих по камням копыт. Поэтому оба затихают, и певец вступает на сцену со спокойным пением, только он старается так согнуться, чтобы его не было ясно видно, и лишь голова его торчит над перилами галереи.

На этом кончается первый акт, но занавес не опускается, в зале по-прежнему темно. На полу сцены сидят два критика и пишут, прислонившись спиной к декорации. Заведующий литературной частью или режиссер с белокурой эспаньолкой впрыгивает на сцену, на лету он повелительно вытягивает одну руку, в другой руке он держит гроздь

винограда, прежде лежавшую в вазе с фруктами на пиршественном столе, и ест этот виноград.

Снова повернувшись к зрительному залу, я вижу, что он освещен простыми керосиновыми лампами, которые укреплены, как на уличных фонарях, и теперь, конечно, совсем слабо горят. Вдруг — может быть, из-за плохого керосина или фитиля — из одного фонаря выбивается пламя, и сноп искр падает на зрителей, которые неразличимы для глаза и сливаются в черную, как земля, массу. И вот из этой массы поднимается человек, прямо по ней идет к фонарю, вероятно чтобы привести все в порядок, но сначала смотрит вверх, на фонарь, на мгновение останавливается возле него и, так как ничего не происходит, спокойно возвращается на свое место и исчезает. Я путаю себя с ним и погружаю лицо в черноту.

Я и Макс, должно быть, в корне различны. Как ни восхищаюсь я его сочинениями, когда они лежат передо мною как нечто целое, недоступное моему или чьему-либо другому вмешательству, и даже вот сегодня эти небольшие рецензии на книги, — тем не менее каждая фраза, которую он пишет для «Рихарда и Самуэля», заставляет меня идти на уступки, которые я болезненно ощущаю всем своим существом. По крайней мере сегодня.

Сегодня вечером я снова был полон боязливо сдерживаемых способностей.

20 ноября. Бесспорно мое отвращение к антитезам. Хотя они производят впечатление неожиданности, они не ошеломляют, потому что всегда лежат на поверхности; если они и были неосознанными, то лишь малого недоставало для осознания их. Они, правда, создают ощущение основательности, полноты, непрерывности мысли, но это подобно фигуре в вертящемся колесе; мы гоняем по кругу свою незначительную мысль. Они кажутся разными, но лишены нюансов; они набухают, словно от воды, под рукой, первоначально они сулят проникновение в бесконечность, а сводятся к одним и тем же неизменным средним величинам. Они замыкаются на самих себе, их нельзя развить, они указывают отправную точку, но это всего лишь пустоты,

стремительный бег на месте, они тянут за собой, как я показывал, новые антитезы. Пусть же они и притянут их все к себе, раз и навсегда.

21 ноября. Моя бывшая няня, смугло-желтая лицом, с резко очерченным носом и столь милой мне некогда бородавкой на щеке, сегодня пришла к нам второй раз подряд, чтобы повидать меня. Первый раз меня не было дома, нынче же я хотел, чтобы меня оставили в покое и дали поспать, я просил сказать, что меня нет дома. Почему она так плохо воспитала меня, я ведь был послушным, она сама сейчас говорит об этом в передней кухарке и горничной, у меня был спокойный и покладистый нрав. Почему она не употребила этого мне на благо и не уготовила мне лучшего будущего? Она замужем или вдова, имеет детей, у нее живой язык, не дающий мне заснуть, она уверена, что я высокий, здоровый господин в прекрасном возрасте, двадцати восьми лет, охотно вспоминаю свою юность и вообще знаю, что с собой делать. А я лежу здесь на диване, одним пинком вышвырнутый из мира, подстерегаю сон, который не хочет прийти, а если придет, то лишь коснется меня, мои суставы болят от усталости, мое худое тело изматывает дрожь волнений, смысл которых оно не смеет ясно осознать, в висках стучит. А тут у моей двери стоят три женщины, одна хвалит меня, каким я был, две — какой я есть. Кухарка говорит, что я сразу — она имеет в виду прямиком, без обходных путей — попаду в рай. Так оно и будет.

22 ноября. Бесспорно, что главным препятствием к успеху является мое физическое состояние. С таким телом ничего не добьешься. Я должен буду свыкнуться с его постоянной несостоятельностью. Последние ночи, полные кошмарных сновидений, но длящегося лишь минуты сна, меня сегодня утром настолько выбили из колеи, что, кроме лба своего, я ничего не ощущал, мое нынешнее состояние настолько далеко от хоть сколько-нибудь выносимого, что из чистой готовности к смерти я охотно свернулся бы в клубок с деловыми бумагами в руках на цементном полу коридора. Мое тело слишком длинно при его слабости, в нем нет ни капли жира для создания благословенного тепла, для

сохранения внутреннего огня, нет жира, которым мог бы иной раз подкрепиться измотанный потребностями дня дух, не причиняя вреда целому. Как может это слабое сердце, так часто болевшее в последнее время, гнать кровь через всю длину этих ног? Только до колен — и то ему хватило бы работы, а в холодные голени кровь толкается уже только со старческим слабосилием. Но вот она уже опять необходима наверху, ее ждешь, в то время как она растрачивается попусту внизу. Из-за длины тела все растянуто. Что уж оно может сделать, это тело, если, будь оно даже и более плотно сбито, в нем слишком мало сил для того, чего я хочу достичь.

23 ноября. 21-го, в день сотой годовщины смерти Клейста, семья Клейст возложила на его могилу венок с надписью: «Лучшему из нашего рода».

8 декабря. Пятница, долго не писал, но на этот раз наполовину из-за удовлетворенности, так как я сам закончил первую главу «Рихарда и Самуэля» и считаю особенно удачным начало описания сна в купе. Более того, мне кажется, во мне происходит нечто очень близкое тому шиллеровскому претворению аффекта в характер. Несмотря на все внутреннее сопротивление, я должен это записать.

Максу не понравились последние написанные мною части, во всяком случае, потому, что он считает их неподходящими для целого, но возможно, что они и сами по себе кажутся ему плохими. Это очень вероятно, ибо он предостерегал меня от таких длинных описаний, говоря, что подобные описания производят впечатление желеобразных.

Даже если не принимать во внимание все другие препоны (физическое состояние, родители, характер), я извлекаю очень хорошее самооправдание тому, что вопреки всему не сосредоточиваюсь на литературе, из следующего двучлена: пока я не создам большую, полностью удовлетворяющую меня вещь, до тех пор я не могу ни на что отважиться. Это неопровержимо.

9 декабря. Штауффер-Берн: «Сладость продукции вводит в заблуждение относительно ее абсолютной ценности».

Если книга писем или воспоминаний, все равно чьих (на сей раз Карла Штауффер-Берна), оставляет тебя спокойным, не захватывает — ведь для этого требуется искусство, и оно уже само осястливливает,— а ты только поддаешься (если не оказывать сопротивления, это случается скоро), даешь собравшимся чужим людям увести тебя и породниться с тобой, тогда нет ничего особенного в том, что, закрыв книгу, вернувшись к самому себе, к своей заново осознанной, заново встряхнутой, на мгновение издали рассмотренной собственной сущности, чувствуешь себя после этой вылазки и этого отдыха лучше, с более легкой головой. Лишь потом мы можем удивиться, что чужие жизненные перипетии, несмотря на их живость, описаны в книге застывшими, хотя по собственному опыту мы знаем, что нет на свете ничего более далекого от какого-либо переживания, например, грусти, вызванной смертью друга, чем описание этого переживания. Но то, что гонится для нас самих, не пригодно для других. Если мы, например, не можем своими письмами выразить собственные чувства — разумеется, здесь есть расплывающееся в обе стороны множество градаций,— если даже при самом лучшем своем состоянии мы все время прибегаем к таким выражениям, как «неописуемо», «невыразимо», или после «так грустно» или «так прекрасно» должна сразу же следовать раздробляющая фраза с «что», то, словно в награду, нам дана способность воспринимать чужие рассказы со спокойной точностью, которой, во всяком случае в такой мере, нам не хватает при писании собственных писем. Неведение, в котором мы пребываем относительно тех чувств, которые в зависимости от обстоятельств или придали силы лежащему перед нами письму, или скомкали его, именно это неведение превращается в понимание, ибо мы вынуждены держаться этого письма, верить только тому, что там написано, считать, таким образом, что все в нем выражено в совершенстве, и в этом совершенном выражении по праву видеть открытую дорогу в глубины человечнейшего. Так, например, письма Карла Штауф-

фера содержат только рассказ о короткой жизни художника...

(Запись обрывается)

13 декабря. «Бобровая шуба»¹². Неровная, без взлетов, гаснущая пьеса. Фальшивые сцены с управляющим. Нежная игра актрисы Леман из лессинговского театра. Наклоняясь, она закладывает юбку между коленями. Задумчивый взгляд человека из народа; поднимает обе ладони, которые он слева от лица складывает, словно для того, чтобы добровольно ослабить силу лгущего или клянущегося голоса. Беспомощная, грубая игра остальных. Вольности комика по отношению к пьесе (обнажает саблю, путает шляпы). Мое холодное неприятие. Пошел домой, но, еще сидя в театре, с удивлением думал о том, что столько людей в течение целого вечера соглашаются пережить столько волнений (на сцене кричат, воруют, обворовывают, докучают, злословят, унижают) и что в этой пьесе, если смотреть ее, зажмурив глаза, так много беспорядочных человеческих голосов и выкриков. Красивые девушки. Одна из них с гладким лицом, чистой кожей, округлыми щеками, высокой прической, и среди этой гладкости — растерянные, слегка опухшие глаза. Отдельные хорошие места в пьесе, в которой Вольфен одновременно оказывается воровкой и честной подругой умного, прогрессивно и демократически настроенного человека. Какой-нибудь Верхован¹³ в качестве зрителя должен, собственно говоря, утвердиться в правильности своих взглядов. Грустный параллелизм четырех актов. В первом акте происходит кража, во втором суд, то же самое в третьем и четвертом актах.

Когда я после некоторого перерыва начинаю писать, я словно вытягиваю каждое слово из пустоты. Заполучу одно слово — только одно оно и есть у меня, и опять все надо начинать сначала.

16 декабря. Воскресенье, двенадцать часов дня. Утро потратил попусту на сон и чтение газет. Страх перед писанием рецензии для пражской «Тагблатт». Этот страх перед писанием всегда выражается в том, что я при случае, не за письменным столом, придумываю вступительные фра-

зы к тому, что должен написать, и они сразу же оказываются непригодными, сухими, ломаются задолго до конца и своими торчащими изломами предвещают грустный итог.

В переходные периоды — а таким для меня была последняя неделя и, во всяком случае, еще и нынешний момент — меня часто охватывает грустное, но спокойное удивление собственной бесчувственностью. Я отделен ото всех вещей пустым пространством, через границы которого я даже и не стремлюсь пробиться.

Я убедился, что воскресенье я никогда не могу использовать больше, чем будний день, так как своим особым распорядком оно опрокидывает все мои привычки и мне необходимо лишнее время, чтобы кое-как приладиться к этому особому дню.

В тот момент, когда я освобожусь от службы, я немедленно осуществлю свое желание написать автобиографию. Чтобы уметь управлять массой событий, эта решительная перемена должна быть предварительной целью, когда начинаешь писать, другой же, более плодотворной перемены, которая сама по себе столь страшно невероятна, я не вижу. Тогда писание автобиографии было бы большой радостью, потому что оно давалось бы так же легко, как записывание снов, но вместе с тем дало бы совсем другой, больший результат, который всегда влиял бы на меня и был бы доступен разуму и чувству каждого.

18 декабря. Позавчера «Гипподамия»¹⁴. Жалкая пьеса. Блуждание по греческой мифологии без всякого смысла и основания. Заметка Квапила на театральной программе, который между строк говорит о том, о чем кричит вся постановка, — что хорошая режиссура (которая здесь является не чем иным, как подражанием Рейнгардту) может превратить плохое сочинение в замечательное театральное зрелище. Все это должно казаться грустным хоть что-нибудь повидавшему чеху. Наместник, в перерыве глотающий через открытую дверь своей ложи воздух из прохода. Появление тени мертвой Аксиохи, которая быстро исчезает, потому что в этом мире ее, лишь недавно умер-

шую, снова слишком сильно охватывают прежние человеческие страдания.

Я непунктуален, потому что не чувствую боли ожидания. Я ожидаю, как вол. Когда передо мною хотя бы неясно вырисовывается цель моего нынешнего существования, я поддаюсь слабости и становлюсь столь тщеславным, что ради этой цели охотно все переношу. Если бы я был влюблен, что только не было бы мне тогда под силу! Как долго дождался я много лет назад под аркадой на Ринге, пока не проходила мимо М., если даже она шла со своим возлюбленным. Я пропускал условленное время встреч отчасти из-за небрежности, отчасти из-за того, что мне неведома боль ожидания, но отчасти и ради новых сложных целей — ради того, чтобы обновить ощущение неуверенных поисков тех лиц, с которыми я условился, то есть опять-таки чтобы погрузиться в долгое неуверенное ожидание. Уже из того, что ребенком я испытывал нервный страх перед ожиданием, можно заключить, что я был предназначен для чего-то лучшего и что я вместе с тем предчувствовал свое будущее.

Мои хорошие состояния не имеют времени и права естественно развиваться; плохие же, напротив, имеют их больше, чем нужно. Сейчас я страдаю от такого состояния с девятого числа, почти десять дней, как можно высчитать по дневнику. Вчера я снова лег в постель с пылающей головой и хотел уже порадоваться, что плохое время окончилось, и уже начать бояться, что буду плохо спать. Но это прошло, я спал довольно хорошо, а бодрствую плохо.

19 декабря. Вчера «Скрипка Давида» Латайнера¹⁵. Изгнанный брат, искусный скрипач, возвращается, как в мечтах моих первых гимназических лет, разбогатевшим домой, но сначала, в нищенской одежде, с обмотанными тряпьем, как у уборщика снега, ногами, испытывает своих никогда не покидавших родины родственников: честную бедную дочь, богатого брата, который не позволяет сыну взять в жены бедную кузину, а сам, несмотря на свой возраст, хочет жениться на молодой. Лишь потом изгнанник откры-



Мать Ф. Кафки до замужества (1882 г.)

вает себя, распахнув сюртук, под которым на косой ленте висят ордена, полученные им в награду от всех государей Европы. Игрой на скрипке и пением он превращает всех родственников и их ближних в хороших людей и приводит их отношения в порядок.

Сегодня за завтраком случайно заговорил с матерью о женитьбе и детях, я сказал лишь несколько слов, но при этом впервые отчетливо понял, какое неверное и наивное представление имеет обо мне мать. Она считает меня здоровым молодым человеком, который немножко страдает оттого, что вообразил себя больным. Фантазии эти со временем исчезнут сами собой, но самый решительный способ уничтожить их — жениться и наплодить детей. Тогда и интерес к литературе сократится до той степени, какая,

быть может, и подобает образованному человеку. В нормальном, ничем не урезаемом объеме сам собою разовьется и интерес к моей профессии, или к фабрике, или к чему-нибудь еще, что мне подвернется. Поэтому нет никаких оснований для непрестанного отчаяния в связи с моим будущим; повод для временного, но тоже неглубокого отчаяния может возникнуть тогда, когда мне покажется, будто я снова испортил себе желудок, или когда я, из-за того, что много пишу, не смогу спать. Возможностей избавления существуют тысячи. Самая вероятная из них — я внезапно влюблюсь в девушку и не захочу отступить от нее. Вот тогда я увижу, что мне хотели добра и что мне не будут мешать. Но если я останусь холостяком, как дядя в Мадриде¹⁶, тоже не будет большого несчастья, потому что при моем уме я уж сумею устроиться.

23 декабря. Суббота. Если при виде моего образа жизни, уводящего в неправильную, чуждую всем родным и знакомым сторону, возникнет опасение — и отец выскажет его, — что из меня получится второй дядя Рудольф¹⁷, то есть посмешище для новой, подрастающей семьи, посмешище, несколько видоизмененное в соответствии с требованиями времени, с этого момента я начну чувствовать, как в моей матери, с течением лет все более слабо протестовавшей против такого мнения, собирается и крепнет все, что говорит за меня и против дяди Рудольфа и, подобно клину, вбивается между представлениями о нас двоих.

Позавчера на фабрике. Вечером у Макса, где художник Новак как раз раскладывал литографированные портреты Макса. Я растерялся перед ними, не мог сказать ни да, ни нет. Макс высказал несколько соображений, которые уже возникли у него, моя мысль завертелась вокруг них — бесплодно. В конце концов я присмотрелся к отдельным листам, во всяком случае, ошеломленность неопытного глаза улеглась, я нашел, что на одном листе подбородок круглый, лицо сдавлено, верхняя часть туловища словно одета в кольчугу, но она скорее выглядит так, будто под обычным костюмом — исполнинская фрачная сорочка. В ответ на это художник привел какие-то возражения, взять в толк которые мне не удалось ни с первой, ни со второй попытки, но он ослабил их уже тем, что выска-

зывал их именно нам, которые говорили чистойшую чепуху, в то время как он был внутренне прав. Он утверждал, что диктуемая чувством и даже разумом задача художника — включить портретируемого в систему собственного художественного видения.

Чтобы достичь этого, художник сперва сделал эскиз портрета в красках — он тоже лежал перед нами, и в его темных красках действительно обнаруживалось слишком острое, строгое сходство (эту слишком большую остроту я могу лишь теперь осознать), — он был признан Максом лучшим портретом, так как он был не только похож, но глаза и рот на нем были еще и отмечены благородными штрихами, усиленными в должной мере темными красками. Этого действительно нельзя было отрицать. По этому эскизу художник работал потом дома над своими литографиями; делая литографию за литографией, он стремился все больше и больше отойти от природы, не только не причиняя вреда при этом своему собственному художественному видению, но штрих за штрихом приближаясь к нему. Так, например, ушная раковина утратила свои естественные изгибы и своеобразие очертания и превратилась в углубленную полуокружность вокруг маленького темного отверстия. Костистый, начинающийся уже от ушей подбородок Макса потерял свое простое очертание, каким неотъемлемым оно ни казалось и как ни мало новой правды дал зрителю отход от правды старой. Волосы переданы уверенными, яркими штрихами и остались человеческими волосами, хотя художник и отрицал это.

Требую от нас понимания смысла этих превращений, художник затем лишь мимоходом, но с гордостью указал, что на этих листах все имеет значение и что даже случайное благодаря его воздействию на все второстепенное стало необходимым. Так, узкое бледное кофейное пятно около головы стекает вниз почти через весь портрет, оно нанесено намеренно, с расчетом, и убрать его, не нарушив все пропорции, нельзя. На другом листе слева в углу — большое, намеченное разбросанным пунктиром, еле заметное голубое пятно; это пятно нанесено с определенным намерением, ради слабо излучаемого им на все изображение света, который художник учитывал во время работы. Теперь его ближайшая цель — заняться преобразованием

рта, с которым кое-что, но недостаточно уже проделано, и затем носа; на жалобу Макса, что тем самым литография еще больше отдаляется от прекрасного цветного эскиза, он заметил: вовсе не исключено, что она к нему снова приблизится.

Во всяком случае, нельзя не отметить уверенности, с какой художник в любой момент разговора доверялся непредвиденностям своего вдохновения, и одно лишь это доверие с полным правом делало его художественный труд трудом почти научным. Две литографии — «Продавщица яблок» и «Прогулка» — я купил.

Одно из преимуществ ведения дневника состоит в том, что с успокоительной ясностью осознаешь перемены, которым ты непрестанно подвержен и в которые ты в общем и целом, конечно, веришь, догадываешься о них и признаешь их, но всякий раз именно тогда невольно отрицаешь, когда дело доходит до того, чтобы из этого признания почерпнуть надежду или покой. В дневнике находишь доказательства того, что даже в состояниях, которые сегодня кажутся невыносимыми, ты жил, смотрел вокруг и записывал наблюдения, что, таким образом, вот эта правая рука двигалась, как сегодня, когда ты благодаря возможности обозреть тогдашнее состояние, правда, поумнел, но с тем большим основанием ты должен признать бесстрашие своего тогдашнего стремления, сохранившегося, несмотря на полное неведение.

24 декабря. Ребенком я испытывал страх, а если не страх, то неприятное чувство, когда отец говорил о последнем дне месяца, об Ultimo, а как делец он часто говорил об этом. Так как я не был любопытен — а если бы я и задал однажды вопрос, то вследствие медленной работы мысли не смог бы достаточно быстро понять ответ, и, если иной раз и проявлялось слабое любопытство, оно удовлетворялось уже самим вопросом и ответом, не требуя еще и смысла, — выражение «последний день» осталось для меня мучительной тайной; более внимательно вслушиваясь, я различал слово “Ultimo”, но на меня оно не производило столь сильного впечатления. Плохо было и то, что никогда нельзя было окончательно справиться с этим так долго

со страхом ожидаемым «последним днем», ибо как только он проходил — без особых примет, даже без особого внимания (то, что он всегда приходил примерно после тридцати дней, я заметил лишь много позднее) — и благополучно наступало первое число, снова начинали говорить о «последнем дне», правда без особого ужаса, что я без размышлений присоединял к остальным непонятностям.

25 декабря. Все, что я узнал от Лёви о современной еврейской литературе в Варшаве, и то, что я знаю о современной чешской литературе (частично на основе собственных наблюдений), позволяет сделать вывод, что многие заслуги литературы — пробуждение умов, сохранение целостности часто бездеятельного во внешней жизни и постоянно распадающегося национального сознания, гордость и поддержка, которую черпает нация в литературе для себя и перед лицом враждебного окружения, ведение как бы дневника нации, являющееся совсем не тем же, чем является историография, в результате чего происходит более быстрое и тем не менее всегда всестороннее критически оцениваемое развитие, всепроникающее одухотворение широкой общественной жизни, привлечение недовольных элементов, сразу же оказывающихся полезными там, где ущерб может быть причинен просто халатностью, сосредоточение внимания нации на изучении собственных проблем и восприятие чужого лишь в отраженном виде, порождение уважения к людям, занимающимся литературной деятельностью, временное, но приносящее свои плоды пробуждение высоких стремлений в подрастающем поколении, включение литературных явлений в политическую злобу дня, облагораживание и создание возможности обсуждения противоречий между отцами и детьми, исполненный боли, вызывающий к прощению, очищающий показ национальных недостатков, возникновение оживленной и потому осознающей свое значение книжной торговли и жадности к книгам — все это может достигь даже такая литература, которая вследствие недостатка в выдающихся талантах имеет лишь видимость широкоразвитой, будучи в действительности развитой не слишком широко. Активность подобной литературы даже большая, нежели литературы, богатой талантами, ибо, поскольку здесь нет писателя, дарование ко-

того заставило бы замолчать по крайней мере большинство скептиков, литературная борьба оказывается действительно в полной мере оправданной. Поэтому в литературе, не проламываемой большим талантом, нет и щелей, в которые могли бы протиснуться равнодушные. Тем настоятельнее такая литература претендует на внимание. Самостоятельность отдельного писателя гарантируется лучше — разумеется, лишь в пределах национальных границ. Отсутствие непререкаемых национальных авторитетов удерживает совершенно неспособных от литературного творчества. Но и слабых способностей недостаточно, чтобы подпасть под влияние господствующих в данный момент писателей, лишенных характерных особенностей, или чтобы освоить результаты чужих литератур, или чтобы подражать освоенной чужой литературе, что можно увидеть по тому, как, например, внутри столь богатой большими талантами литературы, как немецкая, самые плохие писатели существуют благодаря подражанию отечественным образцам. Особенно эффективно проявляется в вышеупомянутом направлении творческая и благодетельная сила литературы, отдельные представители которой не делают ей чести, когда начинают составлять историко-литературный реестр умерших писателей. Их бесспорное тогдашнее и нынешнее влияние становится чем-то настолько реальным, что это можно перепутать с их творчеством. Говорят о последнем, а подразумевают первое, более того — даже читают последнее, а видят только первое. Но так как то влияние не забывается, а творчество самостоятельного воздействия на воспоминание не оказывает, то нет ни забвения, ни воскрешения. История литературы преподносит неизменный, внушающий доверие блок, которому мода может лишь очень мало повредить.

Память малой нации не меньшая, чем память великой нации, поэтому она лучше усваивает имеющийся материал. Правда, трудится меньшее число историков литературы, но литература дело не столько истории литературы, сколько дело народа, и потому она сохраняется хотя и не в своем чистом виде, но надежно. Ибо требования, предъявляемые национальным сознанием малого народа, обязуют каждого всегда быть готовым знать, нести, защищать приходящуюся на него долю литературы — защищать в любом случае, даже если он ее не знает и не несет.

Старые сочинения получают много толкований, которые обходятся со слабым материалом весьма энергично, правда, энергичность эта несколько сдерживается опасением, как бы слишком легко не проникли до сути, а также благоговением ко всем ним. Все делается честнейшим образом, но только с какой-то робостью, которая никогда не проходит, исключает всякую усталость и движением чьей-то ловкой руки распространяется на много миль вокруг. В конечном же счете робость не только мешает увидеть перспективу, но мешает и проникнуть в глубь вещей, чем перечерчиваются все эти замечания.

Поскольку нет совместно действующих людей, постольку нет и совместных литературных действий. (Одно какое-нибудь явление задвигается глубоко, чтобы можно было наблюдать его с высоты, или возносится на высоту, чтобы можно было наверху рядом с ним самому утвердиться. Искусственно.) Если же отдельное явление иной раз и осмысливают спокойно, то все равно не достигают его границ, где оно связано с другими однородными явлениями, границы достигают чаще всего в отношении политики, более того, стремятся увидеть эти границы даже раньше, чем они возникают, часто стремятся повсюду находить эти узкие границы. Узость пространства, затем оглядка на простоту и равномерность, наконец, соображение о том, будто вследствие внутренней самостоятельности литературы внешняя ее связь с политикой безопасна, — в результате всего этого литература распространяется в стране благодаря своим крепким связям с политическими лозунгами.

Вообще охотно занимаются литературной разработкой малых тем, которые имеют право быть лишь настолько большими, чтобы суметь вызвать малый восторг, и обладают полемическими перспективами и подпорками. Литературно продуманные ругательства катятся туда и обратно, а в кругу более сильных темпераментов — летают. То, что в больших литературах происходит внизу и образует подвал здания, — подвал, без которого можно и обойтись, здесь происходит при полном освещении; то, что там вызывает минутное оживление, здесь влечет за собой никак не меньше, чем решение о жизни и смерти всех.



Портрет Ф. Кафки (1906 г.)

Трудно перестроиться, после того как всем своим существом ощутил эту полезную, радостную жизнь.

Гёте мощью своих произведений задержал, вероятно, развитие немецкого языка. Если проза за это время иной раз и отдалялась от него, то сейчас она в конце концов снова вернулась к нему с еще большей страстностью, и даже старые обороты, которые, правда, встречаются у Гёте, но с ним не связаны, она теперь усвоила, чтобы насладиться усовершенствованным видом своей безграничной зависимости.

26 декабря. Перечень тех мест в «Поэзии и правде», которые неизъяснимым своим своеобразием производят особенно сильное впечатление живости, даже не очень связанное с собственно изображенным, например представление о мальчике Гёте, любопытном, богато одетом, всеми любимом, оживленно вторгающемся к любым знакомым, чтобы видеть и слышать все, что только можно видеть и слышать. Перелистывая сейчас книгу, я не могу найти таких мест, все мне кажется четкими и столь живыми, что ничто случайное не может превзойти их. Следует подождать, пока я в благодушном настроении снова возьмусь за книгу, и тогда уж буду останавливаться на нужных местах.

27 декабря. Чувство фальши, которое я испытываю, когда пишу, можно выразить следующим сравнением: человек сидит перед двумя слуховыми окошками и ожидает некоего видения, которое может появиться только в правом окошке. Но именно оно и закрыто еле заметным запором, а видения одно за другим возникают в левом окошке, они упорно стараются привлечь к себе взгляд, добиваются своего и в конце концов, все увеличиваясь в объеме, полностью заслоняют предназначенное отверстие, несмотря на все противодействие. Теперь, если упомянутый человек не хочет покинуть своего места — а он ни в коем случае не хочет, — он вынужден заниматься этими видениями, которые вследствие своей летучести — на одно лишь появление они тратят всю свою силу — не могут удовлетворить его, но когда из-за слабости они задерживаются,

их можно разогнать во все стороны, чтобы дать возможность появиться другим, ибо надолго задержать взгляд на одном из них невыносимо и к тому же теплится надежда, что после того, как иссякнут все фальшивые видения, наконец покажутся подлинные. Как мало силы в этом образе. Между настоящим чувством и его описанием проложена, как доска, предпосылка, лишенная всяких связей.

29 декабря. Вот те живые места у Гёте. Стр. 265: «Поэтому я увлек своего друга в леса». Гёте, стр. 307: «В эти часы я не слышал никаких других разговоров, кроме как о медицине или естествознании, и моя фантазия перебралась совсем в другую область».

Даже маленькое сочинение трудно закончить не потому, что наше чувство для окончания требует огня, которого не может породить действительное содержание,— трудно скорее потому, что даже маленькое сочинение требует от автора самоудовлетворенности и погруженности в самого себя, выйти из которой в атмосферу привычного дня без твердой решимости и внешнего побуждения трудно, так что, прежде чем закруглить сочинение и тихо отойти от него, автор, гонимый тревогой, срывается с места и потом вынужден извне, руками, которые должны не только работать, но и за что-то держаться, завершить окончание.

30 декабря. В моей склонности к подражанию нет ничего актерского, ей недостает прежде всего цельности. Грубое, бросающееся в глаза характерное во всем его объеме я совсем не могу воспроизвести, подобные попытки мне никогда не удавались, они противны моей натуре. К воспроизведению же грубых деталей у меня, напротив, есть явная склонность; я охотно воспроизвожу манипуляции определенных людей с тростью, их жесты, движение пальцев, и это я могу делать без труда. Но как раз эта легкость, эта жажда подражания отдаляет меня от актера, ибо обратная сторона этой легкости в том, что никто не замечает моего подражания. Лишь собственное признание, удовлетворенность или, чаще, отвращение подтверждают удачу. Но далеко за пределы этого внешнего подражания

выходит подражание внутреннее, которое часто бывает так метко и сильно, что я оказываюсь не в состоянии наблюдать и констатировать подражание,— я обнаруживаю его лишь в воспоминаниях. Подражание это столь совершенно и столь полно подменяет меня самого, что на сцене — при условии, если его вообще можно сделать зримым,— оно было бы невыносимо. От зрителя нельзя требовать большего, чем понимания внешней игры. Если актер, которому предписано избить другого, в возбуждении, под чрезмерным наплывом чувств начнет по-настоящему избивать и другой закричит от боли, тогда зритель должен стать человеком и вмешаться. Но то, что в такой форме случается редко, в менее заметных формах случается бесчисленное количество раз. Сущность плохого актера не в том, что он слабо подражает, а скорее в том, что в результате недостатка образования, опыта и способностей он подражает плохим образцам. Но самая существенная его ошибка в том, что он выходит за границы игры и подражает слишком сильно. Его побуждает к этому весьма туманное представление о требованиях сцены, и даже если зритель думает, что тот или иной актер плох, потому что он топчется на месте, теревит пальцами края кармана, неуместно упирает руки в боки, прислушивается к суфлеру, во что бы то ни стало при любых обстоятельствах сохраняет смертельную серьезность, то и этот, свалившийся, как снег, на сцену актер лишь потому плох, что он слишком сильно подражает, даже если он только мнит, что делает это.

31 декабря. Утром я чувствовал себя таким бодрым, готовым писать, теперь же мне совершенно не дает писать мысль, что после обеда я должен буду читать Максу. Это также показывает, насколько я не способен к дружбе, если считать, что дружба в этом смысле вообще возможна. Поскольку во всякую дружбу неизбежно вторгается повседневность, то множество ее проявлений, пусть даже основа ее остается нерушимой, все время заглушается. Правда, нерушимая основа порождает новые проявления дружбы, но, так как всякое такое порождение требует времени и не всякое удастся, никогда нельзя, даже если и не обращать внимания на смену личных настроений, начать снова там, где в последний раз что-то порвалось. Поэтому каждая

новая встреча близких друзей должна вызывать у них беспокойство, которое не обязательно должно быть так велико, чтобы оно чувствовалось, но которое может настолько мешать разговору и поведению, что начинаешь недоумевать, тем более что причина кажется непонятной или невероятной. Как же я могу при всем этом читать Максу или писать, думая, что прочту ему написанное.

Кроме того, мне еще мешает, что сегодня утром я листал дневник с мыслью о том, что можно прочесть Максу. При этом я не обнаружил ни особой ценности записей, ни необходимости тут же их выбросить. Мое мнение лежит между обоими суждениями, ближе к первому, но все же оно не таково, чтобы, исходя из ценности написанного, я, несмотря на свою слабость, должен был считать себя исчерпанным. И все-таки самый вид того, сколько я написал, почти безнадежно отвлек меня на несколько часов от источника моего писания, потому что внимание потерялось в том же потоке, ушло отчасти вниз по течению.

1912

3 января. Многое прочел в «Нойе рундшау». Начало романа «Голый человек»¹, слабоватая ясность в целом, детали безошибочны. «Бегство Габриэла Шиллинга» Гауптмана. Образование людей. Поучительно в дурном и хорошем.

Канун Нового года. Я собирался после обеда почитать Максу кое-что из дневников, заранее радовался, но не сделал этого. Мы были настроены по-разному, я ощущал в нем расчетливую мелочность и торопливость, он был почти не другом мне, но я все-таки настолько владел собой, что видел себя его глазами, видел, как я все время бесполезно перелистывал тетради, и это листание туда-обратно, мелькание одних и тех же страниц было отвратительно. При такой обоюдной напряженности работать вместе, конечно, было невозможно, и страница «Рихарда и Самуэля», которую мы при обоюдном сопротивлении написали, является лишь свидетельством Максовой энергии, сама же по себе она плоха. Новогодний вечер у Чада. Не так скверно, потому что Велч², Киш и еще один добавили свежей крови, так что я в конце концов, правда лишь в пределах этого общества, снова вернулся к Максу. В толпе

на улице я потом, уже не глядя на него, пожал ему руку и, как мне вспоминается, гордо пошел, прижимая к себе свои три тетради, прямо домой.

В автобиографии нельзя избежать того, что нередко там, где в соответствии с правдой должно быть написано «однажды», пишут «часто». Ибо всегда понимаешь, что воспоминание черпает из темноты то, что словом «однажды» уничтожается, и хотя слово «часто» его тоже не полностью сберегает, оно, по крайней мере в глазах пишущего, сохраняется и уносит его к событиям, которых, может быть, и не было в его жизни, но они являются для него заменой тех, о каких он в своих воспоминаниях и думать забыл.

5 января. Когда кажется, будто твердо решил вечером остаться дома³, надел домашнюю куртку, уселся после ужина за освещенный стол и занялся такой работой или игрой, по окончании которой обычно идут спать, когда на улице такая скверная погода, что лучше всего сидеть дома, когда ты так долго спокойно просидел за столом, что уже нельзя уйти, не вызвав отцовского гнева, всеобщего удивления, когда и на лестнице уже темно и ворота заперты и когда, несмотря на все это, ты во внезапном порыве встаешь, надеваешь вместо куртки пиджак, появляешься сразу же одетым для улицы, говоришь, что должен уйти, и, коротко попрощавшись, действительно уходишь и в зависимости от быстроты, с какой захлопываешь входную дверь и тем самым обрываешь всеобщее обсуждение твоего ухода, оставляешь всех в большей или меньшей степени раздосадованными, когда оказываешься уже на улице и тело вознаграждает тебя за неожиданно дарованную ему свободу особой подвижностью, когда чувствуешь, что одним этим решением уйти ты пробудил в себе весь запас решимости, когда яснее, чем обычно, осознаешь, что в тебе больше возможности, нежели потребности легко вызвать и перенести быстрейшую перемену, что, предоставленный самому себе, ты в полной мере наслаждаешься покоем и разумом,— тогда ты на данный вечер выбыл из своей семьи с такой абсолютностью, какой ты не мог бы достичь самым дальним путешествием, и пережил такое необычное в Европе чувство одиночества,

что его можно назвать только русским. Оно еще больше усилится, если в этот поздний вечерний час навестить друга, чтобы справиться, как его дела.

7 января. Вчера у Баума. Должен был прийти Штробл, но он был в театре. Баум читал вслух статью «О народной песне», плохо. Затем главу из «Игр судьбы», очень хорошо. Я был безучастен, в плохом настроении, не получил никакого представления о вещи в целом. На обратном пути, в дождь, Макс рассказывал мне о плане «Ирмы Полак». Сознаться в своем состоянии я не мог, так как Макс никогда по-настоящему не считается с ним. Потому я должен был быть неискренним, и это вконец мне все отравило. Я был настолько угнетен, что охотнее обращался к Максиму тогда, когда его лицо было в темноте, несмотря на то что при этом мое собственное лицо на свету легче могло выдать себя. Но потом таинственный конец романа захватил меня вопреки всем помехам. На пути домой после прощания я был полон раскаяния по поводу своего лицемерия и боли из-за его неизбежности. Решил завести тетрадь о моем отношении к Максиму. Что не записано, то мерцает перед глазами, и оптические случайности определяют общее суждение.

Я должен позировать обнаженным художнику Ашеру⁴ для святого Себастьяна.

31 января. Ничего не писал. Велч принес мне книги о Гёте, повергшие меня в рассеянное, бесплодное волнение. План статьи «Ужасная сущность Гёте», страх перед двухчасовой вечерней прогулкой, которую я теперь взял себе за правило.

4 февраля. Три дня тому назад Ведекинд⁵, «Дух земли». Ведекинд и его жена Тилли тоже играют. Ясный, четкий голос женщины. Узкое, похожее на серп луны лицо. Когда она стоит спокойно, ноги как бы разветвляются в стороны. Пьеса ясна и потом, когда оглядываешься назад, так что можно спокойно и с чувством уверенности в себе идти домой. Остается противоречивое впечатление от чего-то

твердо обоснованного и тем не менее по-прежнему чуждого.

Когда я шел в театр, мне было хорошо. Я отведывал свое нутро, как мед. Пил его глоток за глотком. В театре это ощущение сразу же пропало. Впрочем, это было в прошлый раз — «Орфей в аду» с Палленбергом. Постановка была такой плохой, аплодисменты и хохот в стоячих местах партера такими громкими, что я только и мог спастись, сбежав после второго акта и тем самым заставив все умолкнуть.

Рвение, с каким я читаю о Гёте (беседы с ним, студенческие годы, часы, проведенные с Гёте; пребывание Гёте во Франкфурте), захватывает меня целиком и удерживает от писания.

5 февраля. Понедельник. От усталости не могу читать даже «Поэзию и правду». Я тверд снаружи, холоден внутри...

Прекрасный силуэт Гёте во весь рост. Но при виде этого совершенного человеческого тела возникает и чувство отвращения, ибо достичь такой степени совершенства представляется невозможным, и выглядит эта степень лишь сконструированной и случайной. Прямая осанка, опущенные руки, тонкая шея, линия колена.

Нетерпение и грусть, вызванные моей вялостью, находят пищу особенно в том, что у меня перед глазами постоянно маячит будущее, уготованное мне ими. Какие вечера, прогулки, приступы отчаяния, когда я лежу в кровати или на диване (7 февраля), ждут еще меня впереди — страшнее, чем уже пережитые.

Вчера на фабрике. Девушки в невообразимо грязной и кое-как натянутой одежде, с растрепанными, как после сна, волосами, с тупым выражением лица — из-за непрерывного шума трансмиссий и нескольких автоматически, но каждый раз неожиданно останавливающихся машин, — с ними не здороваются, они будто не люди, перед ними не извиняются, если толкнут; когда зовут их для мелкой

работы, они ее исполняют и тут же возвращаются к машине, кивком головы им указывают, что им делать; они стоят здесь в нижних юбках, подвластные наиничтожнейшей силе, у них нет даже возможности понять, что это за сила, чтобы взглядом или поклоном выразить свою признательность и снискать ее расположение. Но как только пробьет шесть часов, они криком оповещают об этом друг друга, сдергивают косынки с шеи и головы, счищают с себя пыль щеткой, переходящей из рук в руки и выхватываемой у других нетерпеливыми, через головы снимают юбки, смывают насколько возможно грязь с рук,— в конце концов, они ведь женщины, они умеют, несмотря на бледность и плохие зубы, улыбаться, они распрямляют затекшее тело, их нельзя уже толкать, рассматривать или не замечать, даешь им дорогу, прижимаясь к грязным ящикам, держишь шляпу в руке, когда они говорят «добрый вечер», и не знаешь, как быть, когда одна из них подает тебе пальто.

8 февраля. Гёте: «Мое желание творить было безграничным».

26 февраля. Сегодня напишу Лёви. Письма к нему я буду переписывать сюда, потому что надеюсь ими достичь чего-нибудь:

Дорогой друг

27 февраля. У меня нет времени дважды писать письма.

Вчера вечером, в 10 часов, я уныло плелся вниз по Цельтнерштрассе. Неподалеку от шляпного магазина Гесса шагах в трех от меня останавливается молодой человек, чем вынудил остановиться и меня, снимает шляпу и бросается ко мне. В испуге я отшатываюсь, думаю сначала, что он хочет узнать дорогу к вокзалу, но почему таким образом? Потом, поскольку он доверительно приближается и снизу заглядывает мне в лицо, потому что я выше его ростом, я решаю: может быть, он хочет просить денег или еще чего похуже. Мое смятенное молчание и его смятенная речь сливаются воедино. «Вы юрист, не правда ли? Доктор? Пожалуйста, не могли бы вы дать мне совет?»

У меня судебное дело, мне нужен адвокат». Из осторожности, общей подозрительности и страха, что я могу осрамиться, я говорю, что не юрист, но готов дать ему совет,— в чем состоит его дело? Он начинает рассказывать, я слушаю с интересом; чтобы укрепить его доверие, я предлагаю ему продолжить разговор по дороге, он предлагает проводить меня, нет, лучше я пойду с ним, мне все равно куда идти.

Он хороший чтец-декламатор, раньше был далеко не таким хорошим, как сейчас, но теперь уже может так подражать Кайнцу, что никто их не различит. Могут сказать, что он только подражает, но он добавляет и много своего. Он, правда, маленького роста, но мимика, память, манера держаться — все, все у него есть. На военной службе, в лагере в Миловице, он декламировал, один товарищ пел, они прекрасно развлекались. Это было хорошее время. Охотнее всего он декламирует Демеля⁶, например страстные, нескромные стихи о невесте, воображающей брачную ночь; когда он их декламирует, это производит сильное впечатление, особенно на девушек. Оно и понятно. Он очень красиво переплел Демеля, в красную кожу. (Он показывает жестами, как это выглядит.) Но дело не в переплете. Кроме того, он очень охотно декламирует Ридеамуса⁷. Нет, эти разные вещи совсем не противоречат друг другу, он их связывает, говорит от себя, что приходит на ум, морочит публике голову. Затем в его программе «Прометей». Здесь уж он никого не боится, даже Моисси⁸, Моисси пьет, он — нет. Наконец, он очень охотно читает из Света Мартена; это новый северный писатель. Очень хороший. Пишет эпиграммы, короткие изречения. Особенно великолепны о Наполеоне, но также и все прочие о других великих людях. Нет, декламировать он оттуда еще ничего не может, он еще не выучил их, даже не все прочитал, его тетя ему недавно читала их, вот тогда они ему и понравились.

Он собирался выступать с этой программой и предложил обществу «Фрауенфортшритт» выступить на вечере. Собственно говоря, он хотел сначала прочитать «Усадьбную историю» Сельмы Лагерлёф⁹ и одолжил этот рассказ для ознакомления председательнице «Фрауенфортшритта», госпоже Дюреж-Воднански. Она сказала, что рас-

сказ-то сам по себе хорош, но слишком велик, чтобы читать его со сцены. Он согласился, рассказ действительно слишком велик, тем более что на задуманном вечере должен был еще играть его брат-пианист. Его брату двадцать один год, он очень милый молодой человек, настоящий виртуоз, два года (четыре года тому назад) проучился в высшей музыкальной школе в Берлине. Но вернулся совершенно испорченным. Собственно, не испорченным, но хозяйка, у которой он был на пансионе, влюбилась в него. Он потом рассказывал, что часто бывал совершенно без сил и не мог играть — так его заездила эта карга.

Поскольку «Усадьбную историю» отклонили, сошлись на другой программе: Демель, Ридеамус, «Прометей» и Свет Мартен. Но для того чтобы заранее показать госпоже Дюреж, что он за человек, он принес ей рукопись своего сочинения «Радость жизни», написанного летом нынешнего года. Он писал его на даче, днем стенографировал, вечером переписывал набело, отшлифовывал, отделявал, но, собственно, труда оно потребовало немного, так как удалось ему сразу. Если я хочу, он мне одолжит его, оно написано, правда, популярно, намеренно популярно, но там есть хорошие мысли, и оно, как говорится, «со вкусом». (Тонко усмехнулся, вздернув подбородок.) Если я хочу, могу его сейчас полистать, под электрическим фонарем. (Это призыв к молодежи не грустить, ибо существует ведь природа, свобода, Гёте, Шиллер, Шекспир, цветы, мотыльки и т. д.) Дюреж сказала, что у нее сейчас нет времени читать, но пусть он оставит ей свое сочинение, она вернет через несколько дней. У него уже возникло подозрение, и он не хотел оставлять, всячески уклонялся, сказал, например: «Видите ли, госпожа Дюреж, зачем оно вам, в нем одни банальности, это, правда, хорошо написано, но...» Ничто не помогало, пришлось оставить. Это было в пятницу.

28 февраля. В воскресенье утром, когда умывался, он вдруг вспомнил, что еще не читал «Тагблатт». Он раскрывает его, случайно как раз на первой странице литературного приложения. Ему бросается в глаза заголовок первой статьи «Ребенок как творец», он читает первые строки и начинает плакать от радости. Это его сочинение, слово

в слово его сочинение. Его впервые напечатали! Он бежит к матери и рассказывает ей. Какая радость! Старая женщина, страдающая сахарной болезнью и разведенная с мужем, который, впрочем, не виноват, так гордится. Один сын музыкант-виртуоз, другой станет писателем!

После того как первое возбуждение улеглось, он задумался. Как его сочинение попало в газету? Без его согласия? Без указания имени автора? И он не получит гонорара? Это злоупотребление доверием, обман. Эта госпожа Дюреж — суший дьявол. Женщины не имеют души, как сказал Магомет (несколько раз повторяет). Нетрудно себе представить, каким образом совершился плагиат. Попалось прекрасное сочинение, такое на улице не валяется. И вот госпожа Д. пошла в редакцию «Таблатт», села рядом с редактором, и оба, не помня себя от счастья, взялись за переделку. Не переделывать было нельзя; во-первых, чтобы с первого взгляда не обнаружился плагиат, и, во-вторых, сочинение в тридцать две страницы слишком велико для газеты.

Я спросил, не покажет ли он мне совпадающие места, они меня особенно интересуют, и я лишь потом смогу дать совет, как ему поступить; он начал читать свое сочинение сначала, потом раскрыл его на другом месте, полистал, ничего не нашел и, наконец, сказал, что списано все. Например, в газете написано: душа ребенка — это чистый лист бумаги, а «чистый лист бумаги» есть и в его статье. Или: выражение «поименовать» тоже списано, как еще можно натолкнуться на «поименовать». Но отдельные места он сравнивать не может. Хотя списано все, все замаскировано, подано в другой последовательности, сокращено и разбавлено небольшими чужими дополнениями.

Я читаю вслух несколько бросающихся в глаза мест из газеты. Есть это в его сочинении? Нет. А это? Нет. Это? Нет. Да, но это и есть как раз присочиненные места. Внутри же все, все списано. Боюсь, что доказать это будет трудно. Он докажет с помощью умелого адвоката, для того ведь и существуют адвокаты. (Он смотрит на это доказательство как на совершенно новую, полностью отделенную от самого дела задачу и горд тем, что считает себя способным выполнить ее.)

То, что это его статья, видно, кстати, и из того, что она опубликована через два дня. Обычно ведь проходит по крайней мере месяца полтора до публикации принятой вещи. Здесь же им, понятно, пришлось поспешить, чтобы он не вмешался. Потому и хватило двух дней.

Кроме того, статья в газете называется «Ребенок как творец». Это явный намек на него и, кроме того, шпилька. Под «ребенком» подразумевается именно он, ведь раньше его считали «ребенком», «глупым» (он действительно был таким, но только во время военной службы, а служил он полтора года), этим заголовком хотят теперь сказать, что он, ребенок, создал нечто хорошее — данную статью, но что хотя он и проявил себя как творец, он вместе с тем остался глупым, как ребенок, дав себя так обмануть. Под тем ребенком, о котором идет речь в первом абзаце, подразумевается кузина из деревни, живущая сейчас у его матери.

Но особенно убедительно плагиат подтверждается одним обстоятельством, до которого он додумался, правда, после дилеттского размышления: «Ребенок как творец» дан на первой странице литературного приложения, на третьей же странице дан небольшой рассказ некоей Фельдштайн. Фамилия эта, очевидно, псевдоним. Незачем читать весь рассказ, достаточно пробежать глазами первые строки, чтобы сразу понять: это бесстыдное подражание Сельме Лагерлёф. Рассказ в целом обнаруживает это с еще большей отчетливостью. Что сие означает? Это означает, что Фельдштайн, или как бы ее там ни звали, является креатурой Дюреж, что та дала ей прочитать «Усадьбную историю», которую он принес, воспользовалась этим сочинением для написания своего рассказа, и, таким образом, обе бабы использовали его — одна на первой, другая на третьей странице литературного приложения. Разумеется, каждый может и по собственному побуждению прочитать Лагерлёф и начать ей подражать, но здесь его влияние уж слишком несомненно. (Он часто ударяет рукой по одной и той же странице.)

В понедельник, в обед, сразу после закрытия банка, он, разумеется, пошел к госпоже Дюреж. Она приоткрывает дверь только чуть-чуть, она явно испугана: «Но, господин Райхман, почему вы пришли в такое время? Мой муж спит,

я не могу сейчас впустить вас». — «Госпожа Дюреж, вы непременно должны меня впустить. Речь идет о важном деле». Она видит — я не шучу, и выпускает меня. Мужа, конечно, дома не было. В соседней комнате я вижу на столе мою рукопись и сразу же делаю свои выводы. «Госпожа Дюреж, что вы сделали с моей рукописью? Вы без моего разрешения отдали ее в «Тагблатт». Какой гонорар вы получили?» Она дрожит, твердит, что ничего не знает, не имеет представления, каким образом рукопись могла попасть в газету. «J'accuse*, госпожа Дюреж», — говорю я, наполовину шутя, но все же так, что она понимает мое истинное настроение, и это «J'accuse, госпожа Дюреж» я повторяю все время, пока нахожусь там, чтобы она как следует это запомнила, и повторяю еще много раз при прощании у дверей. Я, конечно, хорошо понимаю ее страх. Если я расскажу обо всем и предъявлю иск, это погубит ее репутацию, она должна будет покинуть «Фрауенфортшритт» и т. д.

Прямо от нее я иду в редакцию «Тагблатт» и прошу вызвать редактора Лёва. Он выходит, понятно, бледный как полотно, едва в силах двигаться. Тем не менее я не хочу сразу начинать о своем деле, хочу сперва испытать его. Я спрашиваю его: «Господин Лёв, вы сионист?» (Я ведь знаю, что он сионист.) «Нет», — говорит он. Мне известно достаточно, значит, он должен передо мной притворяться. Теперь я спрашиваю о статье. Опять уклончивая речь. Он-де ничего не знает, не имеет никакого отношения к литературному приложению, позовет, если я хочу, соответствующего редактора. «Господин Виттман, идите сюда», — зовет он, довольный, что может уйти. Приходит Виттман, тоже очень бледный. Я спрашиваю: «Вы редактор литературного приложения?» Он: «Да». Я говорю лишь: «J'accuse» — и уйду.

Из банка я сразу же звоню по телефону в «Богемию», говорю, что хочу опубликовать у них эту историю. Но дозвониться не удалось. И знаете почему? Редакция «Тагблатт» находится вблизи главного почтамта, поэтому те, из «Тагблатт», легко могут по своему усмотрению управлять связью, задерживать или соединять. И я действитель-

* Я обвиняю (франц.).

но все время слышал в телефоне неясный шепот, очевидно редакторов «Тагблатт». Конечно же, они очень заинтересованы в том, чтобы этот телефонный разговор не состоялся. Тут я услышал (разумеется, очень неясно), как одни уговаривали телефонистку не соединять меня, в то время как другие уже говорили с «Богемией» и отговаривали их заниматься моей историей. «Фройляйн,— кричу я в телефон,— если вы немедленно не соедините меня, я пожалуюсь почтовой дирекции». Коллеги в банке обступили меня и смеются, слыша, как энергично я разговариваю с телефонисткой. «Позовите редактора Киша. У меня есть для «Богемии» исключительно важное сообщение. Если там его не опубликуют, я немедленно передам его в другую газету. Время не терпит». Но так как Киша нет на месте, я кладу трубку, ничего не выдавая.

Вечером я иду в «Богемию» и прошу вызвать редактора Киша. Я рассказываю ему свою историю, но он не хочет ее публиковать. ««Богемия»,— говорит он,— не может этого сделать, это был бы скандал, а мы не можем себе позволить идти на такое, потому что мы люди зависимые. Передайте дело адвокату, это самое лучшее».

Уйдя из «Богемии», я встретил вас и вот прошу совета.

— Я вам советую кончить дело миром.

— Я тоже думал, что так было бы лучше. Она ведь женщина. У женщин нет души, как справедливо сказал Магомет. И простить было бы более человечно, по-гётевски.

— Конечно. И тогда вам не нужно будет отменять выступление с декламацией, от которого в противном случае придется отказаться.

— Что же я должен теперь делать?

— Пойдите туда завтра и скажите, что считаете, что на сей раз они бессознательно поддались влиянию.

— Прекрасно. Я так и сделаю.

— Но от мести вам не следует отказываться. Опубликуйте свое сочинение где-нибудь в другом месте и пошлите его потом госпоже Дюреж с хорошим посвящением.

— Это будет лучшим наказанием. Я опубликую его в «Дойчес абендблатт». Там у меня его возьмут; в этом я не сомневаюсь. Я просто откажусь от гонорара.

Потом мы говорим о его артистическом таланте. Я за-

мечаю, что ему все-таки надо бы поучиться.

— Да, вы правы. Но где? Не знаете ли вы, где этому учат?

Я говорю: — Это трудно. Я плохо разбираюсь в этом.

Он: — Неважно. Спрошу Киша. Он журналист и имеет большие связи. Уж он-то даст мне хороший совет. Я просто позвоню ему, избавлю его и себя от необходимости куда-то идти и все узнаю.

— А с госпожой Дюреж вы поступите так, как я вам советовал?

— Да, только я забыл, что вы мне советовали?

Я повторяю свой совет.

— Хорошо, я так и поступлю.

Он идет в кафе «Корсо», я — домой, обогащенный опытом: как освежающе действует разговор с законченным дураком. Я почти не смеялся, я был только очень оживлен.

2 марта. Кто подтвердит мне истинность или правдоподобность того, что лишь из-за моего литературного призвания я ни к чему другому не испытываю интереса и потому бессердечен.

3 марта. 28 февраля у Моисси. Противоестественный вид. Он сидит как будто бы спокойно, держит руки, наверное морщинистые, между колен, глаза устремлены в лежащую перед ним книгу, над нами разносится его голос с прерывающимся, словно у бегуна, дыханием.

Хорошая акустика зала. Ни одно слово не теряется, не возвращается, как слабое эхо,— все постепенно увеличивается, словно голос, давно уже занятый где-то в другом месте, непосредственно продолжает здесь звучать, все усиливая первоначальный посыл и захватывая нас.

Здесь начинаешь понимать возможности собственного голоса. Как зал работает на голос Моисси, так и его голос работает на нас. Беззастенчивые актерские приемы и эффекты, при которых опускаешь глаза и к которым сам никогда не прибег бы: начало отдельных стихов словно поется, например «Спи, Мириам, дитя мое», вибрирующий голос, быстрое извержение майской песни, кажется, будто кончик языка мелькает между словами; разделение слов «ноябрьский ветер», для того чтобы толкнуть вниз «ветер»

и дать ему со свистом взмыть вверх. Если смотреть на потолок зала, стихи поднимут тебя вверх.

Стихотворения Гёте недостижимы для декламатора, поэтому не стоит указывать на ошибки этого исполнения, ибо каждая из них отразила лишь стремление к цели. Сильным было впечатление, когда он, читая на бис «Песнь дождя» Шекспира, стоял прямо, не глядя в текст, мял и комкал в руках платок и сверкал глазами.

Круглые щеки и все-таки угловатое лицо. Мягкие волосы, которые он все время приглаживает мягкими движениями рук. Восторженные рецензии, которые мы читали о нем, влияют на нас лишь до тех пор, пока мы сами не услышим его, но потом они сбивают нас и мешают непосредственному восприятию.

Эта манера декламировать сидя, с книгой перед глазами, немного напоминает чревовещание. Артист, как будто безучастный, сидит, как и мы, время от времени мы едва видим на его опущенном лице движения губ, и, вместо того чтобы говорить самому, он предоставляет стихам говорить над его головой. Несмотря на то что прозвучало столько мелодий и казалось, будто он управляет голосом, словно легкой лодкой на воде, мелодии стихов, собственно говоря, не было слышно. Иные слова голос как бы растворял, он касался их так нежно, что они уносились и не имели больше отношения к человеческому голосу, пока вдруг какой-нибудь резкий согласный звук не возвращал слово на землю, и голос умолкал.

8 марта. Вчера доклад Гардена¹⁰ о «Театре». По-видимому, целиком импровизированный; я был в довольно хорошем настроении и потому счел его не столь пустым, как остальные. Хорошее начало: «В этот момент, когда мы здесь собрались для обсуждения «Театра», во всех зрительных залах Европы и всех частей света раздвигается занавес и открывает перед зрителями сцену». Перед ним электрическая лампа, подвижно укрепленная на уровне груди, она освещает пластрон сорочки, как на витрине бельевого магазина, двигая лампу во время доклада, он меняет освещение. Приподнимается на цыпочки и пританцовывает, чтобы казаться выше ростом и усилить впечатление импровизации. Непристойно обтягивающие брю-

ки. Короткий фрак сидит на нем туго, как на кукле. Лицо серьезно, почти напряжено, напоминает то старую даму, то Наполеона. Лоб бледный, как в парике. Вероятно, он затянут в корсет.

10 марта. Воскресенье. Он изнасиловал девушку в небольшом местечке в Изеровских горах, где прожил целое лето, чтобы вылечиться от болезни легких. Не помня себя, как то случается с легочными больными, он после короткой попытки уговорить дочь своей хозяйки, девушку, которая охотно согласилась прогуляться с ним вечером после работы, бросил ее в траву на берегу речки и овладел ею, потеряв от страха сознание. Потом ему пришлось пригоршнями зачерпывать воду в реке и плескать ей в лицо, чтобы вернуть к жизни. «Юльхен, ну, Юльхен», — без конца повторял он, склонившись над нею. Он был готов взять на себя любую ответственность за свой проступок и только изо всех сил старался объяснить самому себе, насколько серьезно его положение. Он пытался постичь, как это могло с ним случиться. Простая девушка, которая лежала перед ним и уже начала ровно дышать, но лишь из страха и смущения не открывала глаз, его не беспокоила; носком ботинка он, большой, сильный человек, мог бы отбросить девушку в сторону. Она была слаба и невзрачна — могло ли то, что с ней случилось, уже завтра иметь хоть какое-нибудь значение? Разве не всякий придет к такому выводу, сравнив их обоих? Река спокойно тянулась между лугами и полями к лежащим в отдалении горам. Солнечный свет падал лишь на склон противоположного берега. С чистого вечернего неба уплывали последние облака.

Ничего не получается, ничего. Таким путем я вызываю перед собой только призраки. Я был захвачен, хоть и слабо, лишь тогда, когда писал: «Потом ему пришлось...», главным образом при слове «плескать». В описании пейзажа мне какое-то мгновение виделось что-то правильное.

11 марта. Декламатор Райхман на следующий день после нашего разговора попал в сумасшедший дом.

16 марта. Суббота. Снова ободрился. Снова я ловлю себя, как мяч, который падает и который ловишь во время его падения. Завтра, нет, сегодня начну более крупную работу, которая просто должна быть мне по плечу. Я не отступлюсь от нее, пока хватит сил. Лучше бессонница, чем такое существование.

17 марта. Гёте, утешение в боли. Все дают боги, бесчисленные, своим любимцам, все сполна: все радости, бесчисленные, все боли, бесчисленные, все сполна...

18 марта. Я был мудрым, если угодно, потому что в любое мгновение готов был умереть, но не потому, что выполнил все возложенное на меня, а потому, что ничего из всего этого не сделал и не мог даже надеяться когда-нибудь сделать хоть часть.

26 марта. Только не переоценивать написанного мною, иначе я не напишу того, что мне предстоит написать.

1 апреля. Впервые за неделю почти полная неудача в работе. Почему? На прошлой неделе я тоже прошел через разные состояния и не дал им повлиять на работу; но я боюсь писать об этом.

3 апреля. Вот так и прошел день: до обеда — служба, после обеда — фабрика, теперь, вечером, — крики в квартире справа и слева, позже — надо привезти сестру с «Гамлета», и ни на одну минуту не находил себе места.

9 мая. Вчера вечером с Пиком¹¹ в кафе. Как я, несмотря на все тревоги, держусь за свой роман¹² — совсем как скульптурная фигура, которая смотрит вдаль и держится на глыбе.

Безотрадный вечер в семье. Зятю нужны деньги для фабрики, отец взволнован из-за сестры, из-за конторы и из-за своего сердца, моя несчастная вторая сестра, из-за всех нас несчастная мать, и я со своим сочинительством.

23 мая. Сегодня вечером от скуки три раза подряд мыл руки в ванной.

6 июня. Читаю в письмах Флобера: «Мой роман — утес, на котором я вишу, и я ничего не знаю о том, что происходит в мире». Похоже на то, что я записал о себе 9 мая.

Невесомый, бескостный, бестелесный, два часа бродил по улицам и обдумывал, что я пережил пополудни при писании.

7 июня. Зол. Ничего не писал. Завтра не будет времени.

Понедельник, **6 июля.** Немножко начал. Я слегка сонный. И одинокий среди этих совершенно чужих людей.

9 июля. Так долго ничего не писал. Завтра начать. Иначе я снова увязну во все расширяющемся, неудержимом недовольстве; собственно говоря, оно уже охватило меня. Начались нервозности. Но ежели я что-нибудь умею, то умею без всяких суеверных мер предосторожности.

Черт придуман. Если мы одержимы чертом, то не может существовать один черт, иначе мы, по крайней мере на земле, жили бы спокойно, как с богом, единодушно, без противоречий, без размышлений, зная, что он постоянно следует за нами по пятам. Его облик не пугал бы нас, ибо, принадлежа черту, мы при некоторой чувствительности к его виду были бы достаточно благоразумны и охотно принесли бы в жертву руку, чтобы прикрыть его лицо. Если бы мы находились во власти одного-единственного черта, который спокойно и без помех мог бы узнать все о нашей сущности, мог бы в любую минуту распорядиться нами по своему усмотрению, тогда у него хватило бы сил, чтобы в течение человеческой жизни держать нас так высоко над божьим духом в нас да еще давать возможность взлета, что мы и отблеска его не увидели бы, и, таким образом, нас никто и оттуда не тревожил бы. Только множество чертей может составить наше земное несчастье. Почему они не уничтожат друг друга и не



Дорога, по которой любил гулять Ф. Кафка

оставят только одного или почему они не подчиняются одному великому черту? И то и другое соответствовало бы чертову принципу — по возможности сильнее обмануть нас. Пока нет единства, что пользы от чрезмерной заботливости, которой окружают нас все черти? Совершенно естественно, что чертям должно быть больше дела до выпадения одного человеческого волоса, чем богу, ибо черт действительно теряет этот волос, бог же — нет. Но пока в нас сидит много чертей, мы все равно не обречены на хорошее самочувствие.

7 августа. Долгие муки. Наконец написал Макс, что не могу разделаться с оставшимися кусочками, не хочу насиловать себя и потому книгу не издам¹³.

8 августа. С мимолетным удовлетворением закончил «Мошеника». Из последних сил нормального состояния духа. Двенадцать часов, как смогу я уснуть?

9 августа. С вдохновением читал вслух «Бедного музыканта». В этой новелле проявилось мужество Грильпарцера¹⁴. Он умел на все отважиться и ни на что не отваживался, ибо все в нем было истинным, и если на первый взгляд что-то казалось противоречивым, то в решающий момент оно доказывало свою истинность. Как он спокойно распоряжается сам собой. Медленный шаг, никуда не спешащий. И мгновенная готовность когда требуется, не раньше, ибо он точно все предвидит.

10 августа. Ничего не писал. Был на фабрике и два часа дышал газом в машинном отделении. Энергия мастера и кочегара, потраченная на мотор, который по непостижимой причине не хочет завестись. Жалкая фабрика.

11 августа. Ничего, совсем ничего. Сколько времени отнимает у меня издание маленькой книжки и сколько вредной, смехотворной самоуверенности возникает при чтении старых вещей в расчете на опубликование! Только это и удерживает меня от писания. И все же я в действительности ничего не достиг, расстройство — лучшее доказательство этого. Во всяком случае, я теперь, после выхода

книжки, должен буду еще дальше держаться от журналов и критики, если не хочу удовольствоваться тем, чтобы лишь кончиками пальцев касаться правды. Как тяжел на подъем я стал! Раньше, стоило мне сказать только одно слово, противостоящее заданному в настоящий момент направлению, и я мгновенно сам отлетал в противоположную сторону, теперь же я просто смотрю на себя и остаюсь таким, как есть.

14 августа. Письмо Ровольту¹⁵.

Глубокоуважаемый господин Ровольт!

Посылаю рассказы, которые Вы желали посмотреть; они, пожалуй, составят небольшую книжку. Когда я отбирал их для этой цели, мне иной раз приходилось выбирать между присущим мне чувством ответственности и жадой увидеть и мою книжку среди Ваших прекрасных книг. Конечно, не всегда выбор был совершенно безоговорочным. Но теперь, разумеется, я был бы счастлив, если бы мои вещи понравились Вам хотя бы настолько, чтобы Вы их опубликовали. В конце концов, недостатки в этих вещах даже опытному и понимающему читателю открываются не с первого взгляда. Ведь индивидуальность писателя в том главным образом и состоит, что свои недостатки каждый прикрывает на свой особый манер.

Преданный Вам.

15 августа. Беспольный день. Я сонный, смущенный. Праздник Богородицы на Альтштедтер-Ринг. Человек с голосом как из ямы. Много думал — что за смущение перед написанием имени? — о Ф. Б.¹⁶. Вчера — «Польское хозяйство»¹⁷. Сейчас О. читала наизусть стихи Гёте. Выбирает она с настоящим чувством. «Утешение в слезах», «Лотте», «Вертеру», «К луне».

Снова читал старые дневники, вместо того чтобы держаться подальше от этих вещей. Я живу крайне неразумно. Но во всем виновато издание тридцати одной страны¹⁸. Конечно, еще более виновата моя слабость, которая позволяет подобным вещам влиять на меня. Вместо того чтобы встряхнуться, я сижу здесь и думаю, как бы пообиднее выразить все это. Но мое страшное спо-

койствие мешает изобретательности. Мне любопытно, как я выберусь из этого состояния. Подтолкнуть себя я не дам, правильной дороги не знаю, как же это получится? Окончательно ли я застрял, как большая глыба на узкой дороге? Тогда я мог бы по крайней мере поворачивать голову. Это я и делаю.

20 августа. Если бы Ровольт вернул это и я смог бы снова все запереть и сделать так, будто ничего и не было, чтобы стать лишь столь же несчастным, как прежде.

21 августа. Непрерывно читал Ленца¹⁹ и набирался у него — вот как обстоит со мной дело! — ума.

Картина недовольства, которую являет собой улица: каждый отталкивается от того места, где стоит, чтобы уйти.

30 августа. Все время ничего не делал. Приезд дяди из Испании. В прошлую субботу Верфель²⁰ декламировал в «Агсо» «Песни жизни» и «Жертву». Чудовищно! Но я смотрел ему прямо в глаза и выдерживал его взгляд весь вечер.

Мне трудно встряхнуться, и вместе с тем я беспокоен. Когда я сегодня после обеда лежал в кровати и кто-то быстро повернул ключ в замке, мне показалось, будто все мое тело в замках, как на маскарадном костюме, и с короткими интервалами то тут, то там открывался или запирался какой-нибудь из замков.

Анкета журнала «Miroir» о нынешней любви и об изменениях, произошедших в любви со времен наших дедушек и бабушек. Одна актриса ответила: «Никогда еще так хорошо не любили, как в наши дни».

Этот месяц, который благодаря отсутствию шефа я мог бы так хорошо использовать, я без особых на то оправданий (отправка книги Ровольту, нарыв, посещение дяди) проспал и попусту растратил. Еще сегодня я три часа провалялся после обеда в постели, находя для этого фантастические оправдания.

15 сентября. Дупло, которое прожигает гениальная книга в нашем окружении, очень удобно для того, чтобы поместить там свою маленькую свечу. Вот почему гениальное воодушевляет, всех воодушевляет, а не только побуждает к подражанию.

18 сентября. Истории, рассказанные вчера Х. в канцелярии. Каменщик, который выпросил у него на шоссе лягушку и, держа ее за лапки, после трех откусов проглотил сначала головку, затем туловище и наконец лапки. Лучший способ убивать кошек, слишком цепляющихся за жизнь: сдавить между закрытыми дверями шею и потянуть за хвост. Его отвращение к насекомым. Во время военной службы однажды ночью у него зачесалось под носом, во сне он ткнулся туда рукой и что-то раздавил. Это «что-то» оказалось клопом, и вонь его преследовала несколько дней.

Четверо съели вкусно приготовленное жаркое из кошек, но лишь трое знали, что они ели. После еды эти трое начинают мяукать, но четвертый не хочет верить — только тогда, когда ему показали окровавленную шкуру, он поверил, не смог быстро выбежать, чтобы его вырвало, и две недели тяжело болел.

Тот каменщик ел только хлеб и случайно добытые фрукты или живность и пил только водку. Спал он в кирпичном сарае кирпичного завода. Однажды Х. в сумерках встретил его в поле. «Остановись,— сказал каменщик,— иначе...» Х. шутки ради остановился. «Дай мне сигарету»,— сказал тот. Х. дал. «Дай еще одну!» — «Так, еще одну тебе нужно?» — спросил Х., держа на всякий случай наготове дубинку в левой руке, и так ударил его правой в лицо, что у того выпала сигарета. Трусливый и слабый, как всякий пьяница, каменщик сразу же убежал.

23 сентября. Рассказ «Приговор»²¹ я написал одним духом в ночь с 22-го на 23-е, с десяти часов вечера до шести часов утра. Онемевшие от сидения ноги я с трудом мог вытянуть под письменным столом. Страшное напряжение и радость от того, как разворачивался предо мной рассказ, как меня, словно водным потоком, несло вперед. Много раз в эту ночь я нес на спине свою собственную

тяжесть. Все можно сказать для всех, для самых странных фантазий существует великий огонь, в котором они умирают и воскресают. За окном заголубело. Проехала повозка. Двое мужчин прошли по мосту. В два ночи я в последний раз посмотрел на часы. Когда служанка в первый раз прошла через переднюю, я написал последнюю фразу. Погасил лампу. Дневной свет. Слабая боль в сердце. Посреди ночи усталость исчезла. Дрожа, вошел в комнату сестер. Прочитал им вслух. До этого потянулся при служанке, сказал: «Я до сих пор писал». Вид нетронутой постели, словно ее только что внесли сюда. Укрепился в убеждении, что то, как я пишу роман²², находится на постыдно низком уровне сочинительства. Т о л ь к о так можно писать, только в таком состоянии, при такой полнейшей обнаженности тела и души. До обеда в постели. Не сомкнул глаз. Множество испытанных во время писания чувств, например, радость по поводу того, что я смогу дать что-то хорошее в «Аркадию»²³ Макса, разумеется, мысли о Фрейде, об одном месте из «Арнольда Беера»²⁴, о другом — из Вассермана²⁵, из «Великанши» Верфеля, разумеется, и о моем «Городском мире».

25 сентября. Насильно заставил себя не писать. Валялся в постели. Кровь прилиwała к голове и без пользы текла дальше. Как это вредно! Вчера у Баума читал вслух... Незадолго до конца моя рука помимо воли начала жестикулировать перед самым лицом. В глазах у меня стояли слезы. Бесспорность рассказа подтвердилась. Сегодня вечером оторвал себя от писания. Кинематограф в здании театра. Ложа. Фройляйн О., которую однажды преследовал священник. Она прибежала домой, вся потная от страха. Данциг. Жизнь Кёрнера. Лошади. Белая лошадь. Запах пороха. Дикая охота Лютцова.

1913

11 февраля. Читая корректуру «Приговора», я выписываю все связи, которые мне стали ясны в этой истории, насколько я их сейчас вижу перед собой. Это необходимо, ведь рассказ появился из меня на свет, как при настоящих родах, покрытый грязью и слизью, и только моя рука может и хочет проникнуть в тело.

Друг — это связь между отцом и сыном, он — их самая большая общность. Сидя в одиночестве у своего окна, Георг со сладострастием копается в этом общем, думает, что отец существует в нем самом, и ему кажется, что все, если не считать мимолетной печальной задумчивости, исполнено миролюбия. Дальнейшее же развитие истории показывает, как от общности — от друга — отец отделяется и оказывается противоположностью Георга, подкрепленной другими, менее важными общностями, например, любовью, преданностью матери, верностью ее памяти, клиентурой, которую отец все же привлек когда-то к фирме. У Георга нет ничего; его невесту отец легко изгоняет — она ведь существует в рассказе лишь благодаря связи с другом, то есть с общим, и, поскольку свадьба еще не состоялась, она не может войти в круг кровных отношений, охватывающий отца и сына. Общее целиком громоздится вокруг отца, Георг ощущает его лишь как нечто чужое, ставшее самостоятельным, никогда в достаточной мере им не защищенное, предоставленное русским революциям, и только потому, что у него самого больше ничего нет, кроме оглядки на отца, на него так сильно действует приговор, полностью преграждающий ему доступ к отцу.

Имя «Георг» имеет столько же букв, сколько «Франц». В фамилии «Бендеманн» окончание «манн» — лишь усиление «Бенде», предпринятое для выявления всех еще скрытых возможностей рассказа. «Бенде» имеет столько же букв, сколько «Кафка», и буква «е» расположена на тех же местах, что и «а» в «Кафка».

«Фрида» имеет столько же букв, что и Φ^1 . И ту же начальную букву, Бранденфельд начинается с той же буквы, что и Б, и слово «фельд» по своему содержанию тоже имеет некоторое значение. Может быть, даже мысль о Берлине появилась не без влияния, и воздействовало, может быть, воспоминание о провинции Бранденбург.

12 февраля. При описании друга на чужбине я много думал о Штойере. Когда я однажды, месяца через три после написания рассказа, случайно встретил его, он сообщил мне, что месяца три назад обручился.

Вчера, после того как я у Велча вслух прочитал рассказ,

старый Велч вышел из комнаты и, вскоре вернувшись, стал хвалить зримость образов в рассказе. Вытянув руку, он сказал: «Я прямо-таки вижу перед собой этого отца» — и при этом глядел на пустое кресло, в котором сидел во время чтения.

Сестра сказала: «Это ведь наша квартира». Я удивился, насколько неправильно она поняла место действия, и сказал: «В таком случае отец должен был бы жить в клозете».

2 мая. Снова стало крайне необходимо вести дневник. Моя ненадежная голова, Ф., погибель в канцелярии, физическая невозможность писать и внутренняя потребность в этом.

История дочери садовника, прервавшей мою работу. Я стремлюсь работой излечить свою неврастению, а должен выслушивать, как брат девушки — его звали Яном, он, собственно, и был садовником и предполагаемым приемником старика Дворского и даже уже хозяином цветника — два месяца тому назад в возрасте двадцати восьми лет впал в меланхолию и отравился. Летом, несмотря на свою склонность к отшельничеству, он чувствовал себя неплохо, так как должен был общаться хотя бы с покупателями, зимой же он полностью замыкался в себе. Его возлюбленная, служащая — *uřednice*, — тоже была меланхолической девушкой. Они часто вместе ходили на кладбище.

3 мая. Страшная ненадежность моего внутреннего бытия.

4 мая. Бесперывное представление о широком кухонном ноже, быстро и с механической ритмичностью вонзающемся в меня сбоку и срезающемся тончайшие поперечные полосы, которые при быстрой работе отскакивают в сторону почти свернутыми в трубку.

24 мая. ...Преисполнен высокомерия, потому что считаю «Кочегара» таким удавшимся. Вечером читал его родителям; когда я читаю что-нибудь крайне неохотно слу-

шающему отцу, нет лучшего критика, чем я. Много мелких мест перед явно недоступными глубинами.

21 июня. Какой чудовищный мир теснится в голове моей! Но как мне освободиться от него и освободить его, не разорвав? И все же лучше тысячу раз разорвать, чем хранить или похоронить его в себе. Для того я и живу на свете, это мне совершенно ясно.

1 июля. Жажда беспредельнейшего одиночества. Быть с глазу на глаз с самим собой. Может быть, я обрету это в Риве².

Фотография празднования трехсотлетия Романовых в Ярославле на Волге. Царь, принцессы угрюмо стоят на солнце, лишь одна из них, хрупкая, немолодая, вялая, опирающаяся на зонтик, смотрит прямо перед собой. Наследник престола на руках огромного, с непокрытой головой казака. На другой фотографии давно проехавшие мимо мужчины продолжают отдавать честь.

2 июля. Плакал над отчетом о суде над двадцатитрехлетней Марией Абрахам, задушившей из-за нужды и голода девятимесячную дочь Барбару мужским галстуком, который она носила вместо подвязки и сняла с ноги. Совершенно шаблонная история.

3 июля. Высказанная мною вслух мысль сразу же и окончательно теряет значение; будучи записанной, она тоже всегда его теряет, зато иной раз обретает новый смысл.

21 июля. Не отчаиваться, не отчаиваться и по поводу того, что ты не отчаиваешься. Когда кажется, что все уже кончено, откуда-то все же берутся новые силы, и это означает, что ты живешь. Если же они не появляются, тогда действительно все кончено, и притом окончательно.

Не могу спать. Одни сновидения, никакого сна...

На шею набросили петлю, выволокли через окно первого этажа, безжалостно и равнодушно протащили, изуве-

ченного и кровоточащего, сквозь все потолки, мебель, стены и чердаки до самой крыши, и только там появилась пустая петля, потерявшая последние остатки моего тела, когда им проламывали черепичную кровлю.

Особый метод мышления. Оно пронизано чувствами. Все, даже самое неопределенное, воспринимается как мысль (Достоевский).

Эти блоки внутри. Один крючок сдвинется с места где-то в самых тайниках, в первый момент и не заметишь этого, и вот уже весь аппарат пришел в движение. Подвластный непостижимой силе, как часы кажутся подвластными времени, он то тут, то там щелкает, и все звенья одно за другим с грохотом разыгрывают навязанную им пьесу.

Перечень всего того, что говорит за и против моей женитьбы:

1. Неспособность одному выносить жизнь, неспособность жить, совсем напротив, кажется даже невероятным, что я смогу с кем-то вместе жить, но я не способен выносить натиска моей собственной жизни, требований моей собственной личности, атак времени и возраста, неожиданного наплыва страсти к писанию, бессонницы, близости безумия — выносить это все в одиночку я не способен. Вероятно — добавляю я, конечно. Союз с Ф. придаст мне сопротивляемости.

2. Все заставляет меня раздумывать. Шутка в юмористической газете, воспоминание о Флобере или Грильпарцере, вид ночных сорочек на приготовленных для сна постелях моих родителей, женитьба Макса. Вчера моя сестра сказала: «Все женатые (наши знакомые) счастливы, я не могу этого понять». Это высказывание тоже заставило меня задуматься, я снова ощутил страх.

3. Я много времени должен быть один. Все, что я сделал, только плод одиночества.

4. Я ненавижу все, что не имеет отношения к литературе, мне скучно вести разговоры (даже о литературе), мне скучно ходить в гости, горести и радости моих родственников мне смертельно скучны. Разговоры лишают



Felice, dein Brief ist wieder eine
 Antwort auf die letzten Briefe und
 meine Verabredung ist gescheitert.
 Ich würde die Sache vorwärts defekt
 von meinen Freunden gilt & davor.
 Wir wollten bei sich nicht kommen.
 in jeder Hinsicht treffen in dem sie
 wir beide nicht, welche ich den
 dem werden nicht Kraft zu sein.
 & für den noch nicht klar
 wie es in mich steht, Felice!

Письмо Ф. Кафки
 от 15 сентября 1913 г.
 к Фелиции
 из Венеции

все мои мысли важности, серьезности, истинности.

5. Страх перед соединением, слиянием. После этого я никогда больше не смогу быть один.

6. Перед моими сестрами я часто был совсем иным человеком, нежели перед другими людьми, особенно раньше бывало так. Бесстрашным, откровенным, сильным, неожиданным, таким одержимым, каким бывал только тогда, когда писал. Если бы я мог благодаря жене быть таким перед всеми! Но не будет ли это за счет писания? Только не это, только не это!

7. Живи я один, я, может быть, когда-нибудь действительно мог бы отказаться от службы. Женатый я никогда не смогу этого сделать.

Жалкий я человек!

Хорошенько хлестать лошадей! Медленно вонзать в нее шпоры, затем одним рывком вырвать их, а потом изо всей силы снова всадить их в мясо.



Кафка с Фелицией в Будапеште (нач. июля 1917 г.)

Что за ужас!

С ума мы сошли, что ли? Мы бегали ночью по парку и раскачивали ветки.

Я вплыл на лодке в маленькую естественную бухту.

В гимназические годы я любил время от времени навещать некоего Йозефа Мака, друга моего покойного отца. Когда я после окончания гимназии...

(Запись обрывается)

Хуго Зайферт любил в гимназические годы время от времени навещать некоего Йозефа Киманна, старого холостяка, дружившего с покойным отцом Хуго. Визиты внезапно оборвались, когда Хуго неожиданно предложили за границей работу, к которой надо было приступить немедленно, и Хуго на несколько лет покинул родной город. Когда он вернулся, он, правда, собирался навестить старика, но все не представлялось случая, а может быть, такой визит уже и не отвечал бы его изменившимся взглядам, и, хотя он часто проходил по улице, где жил Киманн, хотя не раз видел его сидящим у окна и, возможно, даже был замечен им, он так и не навестил его.

Ничего, ничего, ничего. Слабость, самоуничтожение, прорывающиеся из-под земли языки адского пламени.

13 августа. Может быть, теперь все кончено и мое вчерашнее письмо было последним. Это было бы, безусловно, правильно. Какие страдания ни предстоят мне, какие страдания ни предстоят ей, их нельзя сравнить с теми страданиями, которые были уготованы нам вместе. Я постепенно приду к себя, она выйдет замуж — это единственный выход у живых людей. Мы вдвоем не можем прорубить для нас двоих дорогу в скале, достаточно, что мы целый год проплакали и промучились из-за этого. Она должна понять это из моих последних писем. Если же нет, я, конечно, женюсь на ней, ибо я слишком слаб, чтобы противиться ее представлению о нашем совмест-

ном счастье, и, если это зависит от меня, не могу не осуществить чего-нибудь, что она считает возможным.

14 августа. Произошло все наоборот. Получил три письма. Перед последним я не мог устоять. Я люблю ее, насколько способен, но любовь задыхается под погребаящими ее страхом и самообвинениями.

Выводы из «Приговора» для меня самого. Косвенно я ей обязан рассказом. Но ведь Георг погиб из-за невесты.

Coitus как кара за счастье быть вместе. Жить по возможности аскетически, аскетичней, чем холостяк, — это единственная возможность для меня переносить брак. Но для нее?

И все же, несмотря ни на что, будь мы, я и Ф., полностью равноправны, имей мы одинаковые перспективы и возможности, я бы не женился. Но тупик, в который я постепенно загнал ее судьбу, вменяет мне это в неизбежную, хотя и вовсе не непереносимую обязанность. Здесь действует какой-то тайный закон человеческих отношений.

15 августа. Мучительное утро в постели. Единственным выходом мне казался прыжок из окна. Мать подошла к кровати и спросила, отправил ли я письмо и было ли написано оно по-старому. Я сказал, что по-старому, только еще более резко. Она сказала, что не понимает меня. Я ответил, что она, конечно, не понимает меня, и не только в этом вопросе. Позже она спросила, напишу ли я дяде Альфреду, он заслужил, чтобы я написал ему. Я спросил, чем он это заслужил. «Он телеграфировал, он писал, он хорошо относится к тебе». — «Это все показное, — сказал я, — он мне совершенно чужой, он совершенно не понимает меня, он не знает, чего я хочу и что мне нужно, я не имею к нему никакого отношения». — «Стало быть, никто тебя не понимает, — сказала мать, — я тебе, наверное, тоже чужая, и отец тоже. Мы все, стало быть, желаем тебе только плохого». — «Конечно, вы все мне чужие, между нами только родство по крови,

но оно ни в чем не проявляется. Плохого вы мне, конечно, не желаете».

Эти и некоторые другие самонаблюдения убедили меня в том, что моя растущая решительность и уверенность делает возможным вопреки всему сохранить себя в браке, более того — брак поможет укрепить мою решительность. Правда, этим убеждением я проникся, находясь уже в известной мере на краю окна.

Я запрусь от всех и до бесчувствия предамся одиночеству. Со всеми рассорюсь, ни с кем не буду разговаривать.

21 августа. Сегодня получил книгу Кьеркегора³ «Книга судьбы». Как я и думал, его судьба, несмотря на значительные различия, сходна с моей, во всяком случае, он находится на той же стороне мира. Он, как друг, помог мне самоутвердиться.

Я набросал следующее письмо к ее отцу⁴, которое завтра отправлю, если буду в силах:

«Вы медлите с ответом на мою просьбу, это вполне понятно, любой отец поступил бы так по отношению к любому жениху, и я пишу совсем не из-за этого, самое большее, на что я надеюсь,— что Вы спокойно отнесетесь к моему письму. Пишу же я из боязни, что Ваши колебания или размышления имеют более общую причину, нежели то единственное место — а только оно и должно было их вызвать — из моего первого письма, которое могло меня выдать. Я имею в виду место, где речь идет о том, что мне невыносима моя служба.

Вы, возможно, не обратите внимания на это слово, но Вам не следует так делать. Скорее Вам надо совершенно точно расспросить меня об этом, и тогда я должен буду точно и коротко ответить следующее. Моя служба невыносима для меня, потому что она противостоит моему единственному призванию и моей единственной профессии — литературе. Я весь — литература, и ничем иным не могу и не хочу быть, моя служба никогда не сможет увлечь меня, но зато она может совершенно погубить меня. Я уже недалек от этого. Меня непрерывно одолевают тягчайшие нервные состояния, и нынешний год сплошных забот и мучений о будущем моем и Вашей дочери пол-

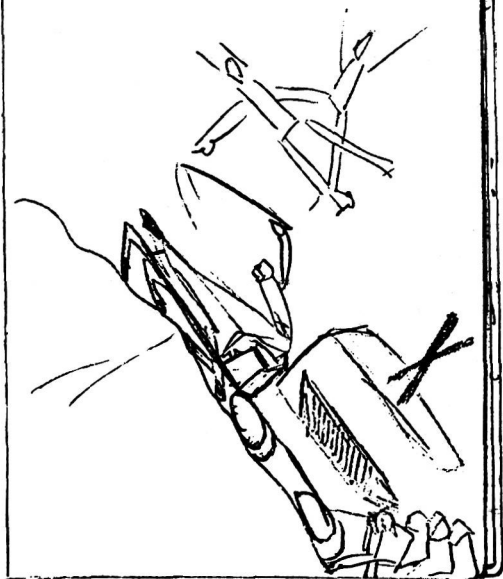
ностью доказал мою неспособность к сопротивлению. Вы можете спросить, почему я не отказываюсь от своей службы и не пытаюсь — состояния у меня нет — жить литературным заработком. На это я могу дать лишь жалкий ответ, что у меня нет сил для этого и, насколько могу судить о своем положении, я погибну из-за службы, причем погибну быстро.

А теперь сравните меня с Вашей дочерью, этой здоровой, жизнерадостной, естественной, сильной девушкой. Как бы часто я ни повторял ей в пятистах письмах и как бы часто она ни успокаивала меня своим, правда, не очень убедительно обоснованным «нет», дело обстоит ведь именно так: она, насколько я могу судить, будет со мной несчастна. Не только из-за внешних обстоятельств, а гораздо больше — по характеру своему я человек замкнутый, молчаливый, нелюдимый, мрачный, но для себя я не считаю это несчастьем, ибо это только отражение моей цели. Из образа жизни, который я веду дома, можно сделать некоторые выводы. Так, я живу в своей семье, среди прекрасных и любящих людей, более чужой, чем чужак. С моей матерью я за последние годы в среднем не говорю за день и двадцати слов, а к отцу вряд ли когда-нибудь обратился с другими словами, кроме приветствия. С моими замужними сестрами и с зятями я вообще не разговариваю, хотя я и не в ссоре с ними. Причина только та, что мне просто совершенно не о чем с ними говорить. Все, что не относится к литературе, наводит на меня скуку и вызывает ненависть, потому что оно мешает мне или задерживает меня, хотя бы это только и казалось. Я лишен всякой склонности к семейной жизни, в лучшем случае могу быть разве наблюдателем. У меня совсем нет родственных чувств, в визитах мне чудится прямо-таки направленный против меня злой умысел.

Брак не мог бы изменить меня, как не может меня изменить моя служба».

15 октября. Безутешен. Сегодня после обеда в полусне: в конце концов страдание должно взорвать мою голову. И именно в висках. Представив себе эту картину, я увидел огнестрельную рану, края которой острыми выступами загнуты кверху, как в грубо вскрытой жестяной банке.

Das Elend wurde verschärft. Die
Mann kämpfte. Die Fäden reißten die
Stangen als Zeile der Zustimmung.
Von der Landschaft her kam ein
Haupt Peter. Man begrüßte einander.



Не забывать о Кропоткине!⁵

20 октября. Невыносимая грусть с утра. Вечером читал «Дело Якобсона». Эта способность жить, принимать решения, уверенно ставить ногу куда надо. Он сидит в себе, как искусный гребец в своей лодке. Я хотел написать ему письмо. Но вместо этого пошел гулять, приглушив все владевшие мной чувства разговором с Хаасом, которого встретил, меня возбудили женщины, теперь я читаю дома «Превращение» и нахожу его плохим. Может быть, я действительно погибаю, утренняя грусть вернется, я не смогу ей долго противиться, она отнимает у меня всякую надежду. У меня нет даже желания вести дневник, возможно, потому, что уж слишком многого там нет, возможно, потому, что я все время должен описывать лишь половинчатые и, по-видимому, неизбежно половинчатые действия, возможно, потому, что само писание усиливает мою грусть.

Я охотно писал бы сказки (почему я так ненавижу это слово?), которые могли бы понравиться В. и которые она, держа за едой под столом, в перерывах читала бы и, заметив, что санаторный врач уже некоторое время стоит позади нее и наблюдает за ней, страшно покраснела бы. Ее частая, собственно говоря постоянная, взволнованность во время рассказа (как я замечаю, я боюсь прямо-таки физического напряжения, вызываемого старанием что-то вспомнить, боли, под которой медленно раскрывается или сперва слегка прогибается пол бездумного пространства). Все противится тому, чтобы быть записанным. Если б я знал, что так я следую ее повелению ничего не говорить о ней (я строго, почти без труда исполнил его), я был бы доволен, но это не что иное, как неспособность. Каково, кстати, мое мнение по поводу того, что сегодня вечером большую часть пути я раздумывал, сколько радостей лишился из-за знакомства с В., радостей с русской девушкой, которая — это отнюдь не исключено, — возможно, впустила бы меня ночью в свою комнату, находящуюся наискосок от моей. Мое вечернее общение с В. сводилось к тому, что я стучал ей условным стуком, окончательного значения которого мы так и не установили, в потолок моей комнаты, находящейся под

ее комнатой, выслушивал ее ответ, высовывался из окна, махал ей рукой, однажды она благословила меня, однажды я поймал конец ее ленты, часами сидел на подоконнике и прислушивался к каждому ее шагу наверху, каждый случайный стук по ошибке принимал за условный знак, слушал, как она покашливает, как поет перед тем, как лечь спать.

21 октября. Потерянный день. Посещение фабрики Рингхоффера, семинара Эренфельза⁶, Велча, ужин, прогулка, теперь 10 часов, я дома. Все время думаю о черном жуке⁷, но писать не буду.

26 октября. «Так кто же я такой?» — набросился я на себя. Я поднялся с дивана, на котором лежал с поднятыми коленями, и сел. Дверь, ведущая прямо с лестничной площадки в мою комнату, отворилась, и вошел молодой человек с опущенной головой и испытующим взором. Он обогнул, насколько это было возможно в тесной комнате, диван и остановился в темном углу около окна. Я хотел посмотреть, что это за явление, направился туда и взял его за руку. Это был живой человек. Несколько ниже меня ростом, он с улыбкой поднял на меня глаза; уже сама беззаботность, с которой он кивнул и сказал: «Вы только испытайте меня», должна была успокоить меня. Тем не менее я схватил его за отвороты пиджака и потряс. Мне бросилась в глаза его красивая толстая золотая цепь от часов, и я рванул ее книзу с такой силой, что порвалась петля, к которой она была прикреплена. Он спокойно перенес это, лишь посмотрел на причиненный ущерб и безуспешно попытался застегнуть жилетную пуговицу порванной петлей. «Что ты сделал?» — сказал он наконец и показал на жилет. «Спокойно!» — с угрозой сказал я.

Я начал метаться по комнате, с шага перешел на рысь, с рыси на галоп и каждый раз, минуя посетителя, показывал ему кулак. Он же возился со своим жилетом, не обращая на меня никакого внимания. Я чувствовал себя очень свободно, мне дышалось необычайно легко, и лишь одежда мешала груди исполински вздыматься...

6 ноября. Откуда эта внезапная уверенность в себе? Если бы она осталась! Если бы я мог, как человек, хоть кое-как держащийся на ногах, входить и выходить через все двери! Не знаю только, хочу ли я этого.

18 ноября. Я снова буду писать, но сколько сомнений породило у меня мое писание. В сущности, я бездарный, невежественный человек, который, не принуждали бы его ходить в школу — не по доброй воле, но и едва ли замечая принуждение, — способен был бы забиться в собачью конуру, вылезая из нее только тогда, когда ему приносят жратву, и забираясь обратно, проглотив ее.

19 ноября. Меня захватывает чтение дневника. Не в том ли причина, что во мне нет сейчас ни малейшей уверенности в настоящем? Все мне кажется сконструированным. Любое замечание, любой случайный взгляд все переворачивает во мне, даже забытое, совершенно незначительное. Я не уверен в себе больше чем когда бы то ни было, лишь насилие жизни ощущаю я. И я совершенно пуст. Я подобен овце, потерянной ночью в горах, или овце, бегущей вслед за этой овцой. Быть таким потерянным и не иметь даже сил это оплакать.

Я нарочно хожу по улицам, где есть проститутки. Когда я прохожу мимо них, меня возбуждает эта далекая, но тем не менее существующая возможность пойти с одной из них. Это вульгарно? Но я не знаю ничего лучшего, и такой поступок кажется мне, в сущности, невинным и почти не заставляет меня каяться. Только хочу я толстых, пожилых, в поношенных, но благодаря разным накидкам кажущихся пышными платьях. Одна из них, по видимому, уже знает меня. Я встретил ее сегодня после обеда, она была еще не в профессиональном наряде, непричесанная, без шляпы, в простой рабочей блузе, как кухарка, и несла большой сверток, вероятно, белье к прачке. Ни один человек, кроме меня, не нашел бы в ней ничего соблазнительного. Мы мельком посмотрели друг на друга. Теперь, вечером, когда стало прохладно, я увидел ее на противоположной стороне узкого, ответвляющегося от Цельнергассе переулка, где она обычно поджи-

дает клиентов; она была в облегающем желтовато-коричневом пальто. Я дважды оглянулся на нее, она ответила на мой взгляд, но я прямо-таки сбежал от нее.

21 ноября. Вот печальное наблюдение, в основе которого, несомненно, лежит конструкция, опирающаяся на пустоту: едва взяв с письменного стола чернильницу, чтобы отнести ее в другую комнату, я почувствовал в себе некую твердость, как бывает, например, когда в тумане вдруг на мгновение появляется, чтобы сразу исчезнуть, угол большого здания. Я перестал чувствовать себя потерянным, зависимым от людей, даже от Ф., во мне возникло смутное ожидание. Что, если я убегу от всего этого, как, например, человек вдруг убегает в поле?

Как смешны эти предсказания, это равнение на примеры, этот страх. Все это конструкции, которые даже в воображении, где они только и существуют, едва добравшись до живой поверхности, тут же одним толчком опрокидываются. Где взять волшебную руку, чтобы, попади она в мотор, тысячи ножей не разорвали ее на кусочки и не разбросали во все стороны?

Я охочусь за конструкциями. Я вхожу в комнату и вижу в углу их белесое переплетение.

4 декабря. Со стороны глядя, это ужасно — умереть взрослым, но молодым, еще страшнее покончить с собой. Уйти из жизни в полном смятении, которое имело бы смысл, если бы ему суждено было продлиться, утратив все надежды, кроме одной-единственной, что по великому счету твое появление на свет будет считаться как бы несостоявшимся. В таком положении я мог бы оказаться сейчас. Умереть сейчас значило бы не что иное, как погрузить Ничто в Ничто, но чувства не могли бы с этим примириться, ибо можно ли, даже ощущая себя как Ничто, сознательно погрузить себя в Ничто, причем не просто в пустое Ничто, а в Ничто бурлящее, чье ничтожество состоит лишь в его непостижимости.

Кружок мужчин, господ и слуг. Четкие, сверкающие живыми красками лица. Господин садится, слуга подает ему на подносе кушанья. Между обоими небольшая разница — разница, которую бы можно было расценить иначе, чем, например, разницу между человеком, в результате взаимодействия бесчисленных обстоятельств ставшим англичанином и живущим в Лондоне, и другим — лапландцем, одиноко плывущим в своей лодке по морю во время шторма. Конечно, слуга — тоже при определенных обстоятельствах — может стать господином, но этот вопрос, как бы ни отвечать на него, здесь не играет роли, ибо речь идет о данной оценке данных отношений.

Страх перед глупостью. Глупость видится в каждом чувстве, стремящемся прямо к цели, заставляющем забыть обо всем остальном. Что же тогда не глупость? Не глупость — это стоять, как нищий, у порога, в стороне от входа, постепенно опускаться и погибнуть. Но П. и О. все-таки отвратительные глупцы. Необходимы глупости более великие, чем их носители. Но как отвратительны маленькие глупцы, которые тщатся совершить великие глупости. А разве не таким же выглядел Христос в глазах фарисеев?

9 декабря. Ненавижу дотошный самоанализ. Психологические толкования вроде: вчера я был таким-то, и это потому, что... а сегодня я такой-то, и это потому... Все это неправда — не потому и не потому и, следовательно, не таким-то и таким-то. Надо спокойно разбираться в себе, не торопиться с выводами, жить так, как подобает, а не гоняться, как собака за собственным хвостом.

10 декабря. Невозможно учесть и оценить все обстоятельства, которые в тот или иной момент влияют на настроение или даже определяют и само настроение, и оценку его, потому неправильно говорить, что вчера я чувствовал себя уверенным, сегодня я в отчаянии. Такого рода различия свидетельствуют лишь о том, что человек хочет поддаться самовнушениям и вести жизнь, по возможности обособленную от самого себя, спрятавшись за предрассудками и химерами, отчасти искусственную, подобно то-

му, как кто-нибудь в углу трактира, спрятавшись за стаканчиком шнапса, развлекает сам себя совершенно ложными, беспочвенными фантазиями и мечтами.

11 декабря. В Тоинби-Халле читал вслух начало «Михаэля Колхааса»⁸. Полнейшая неудача. Плохо выбрал, плохо читал, в конце концов бессмысленно барахтался в тексте. Образцовые слушатели. В первом ряду маленькие мальчики. Один из них пытался избавиться от скуки, в которой он не виноват, тем, что осторожно сбрасывал шапку на пол и затем так же осторожно поднимал ее,— и так без конца. Поскольку он был слишком мал, чтобы проделывать это, сидя на своем месте, он все время должен был немного соскальзывать с кресла. Нелепо, и плохо, и непродуманно, и невнятно читал. А ведь после обеда я дрожал от желания читать, с трудом держал рот закрытым.

Действительно, даже толчка не нужно — достаточно держать последние расходуемые на себя силы, и я прихожу в отчаяние, совершенно раздирающее меня. Когда я сегодня представлял себе, что во время чтения непременно буду спокоен, я спрашивал себя, что за спокойствие это будет, на чем оно будет основано, и мог лишь сказать, что это будет спокойствие ради самого спокойствия, непостижимая милость, ничто другое.

12 декабря. Только что внимательно рассматривал себя в зеркале, и лицо мое — правда, при вечернем освещении и источник света находился позади меня, так что освещен был, собственно говоря, лишь пушок по краям ушей,— даже при внимательном изучении показалось мне лучше, чем оно есть на самом деле. Ясное, четко сформированное, почти красиво очерченное лицо. Чернота волос, бровей и глазных впадин проступает, подобно жизни, из остальной выжидающей массы. Взгляд совсем не опустошенный, ничего похожего, но он и не детский, скорее непостижимым образом энергичный — но, может быть, он был только наблюдающим, так как я ведь наблюдал себя и хотел внушить себе страх.



Фотография на паспорт (1916 г.)

12 декабря. Вечером дискуссия в союзе чиновников. Я председательствовал. Забавно, что может стать источником самоуважения. Моя вступительная фраза: «Открывая сегодняшнюю дискуссию, я должен выразить сожаление по поводу того, что она состоится». Меня не известили своевременно, и потому я не подготовился.

14 декабря. Прочитал сейчас у Достоевского место, так напоминающее мою «несчасть».

15 декабря. Читал «Мы, юноши 1870—71 годов». С подавляемыми рыданиями перечитывал вдохновенные сцены о победах. Быть отцом и спокойно разговаривать со своим сыном. Но тогда нельзя иметь вместо сердца игрушечный молоток.

16 декабря. «Громовой вопль восторга серафимов»⁹.

Я сидел у Велча в качалке, мы говорили о беспорядочности нашей жизни, он — все же с некоторой надеждой («Надо желать невозможного»), я — без всякой надежды, уставившись на свои пальцы, чувствуя себя представителем собственной внутренней пустоты, которая исключительна и вместе с тем даже и не чрезмерно велика.

17 декабря. Доклад Бергмана¹⁰ «Моисей и современность». Незамутненное впечатление. Но мне, во всяком случае, до всего этого нет дела. Между свободой и рабством пересекаются поистине страшные пути, для предстоящего нет проводника, пройденное мгновенно погружается во тьму. Таких путей — бесчисленное множество, а может быть, всего один — узнать это невозможно, обозреть их не дано. Я там. Уйти я не могу. Мне не на что жаловаться. Я не страдаю чрезмерно, ибо страдания мои не взаимосвязаны, они не накапливаются, по крайней мере, я пока не чувствую этого — страдания мои значительно меньше тех страданий, которые, возможно, мне суждены.

20 декабря. Воздействие умиротворенного лица, спокойной речи человека, особенно чужого, еще неразгаданного. Слово глас божий из человеческих уст.

1914

5 января. Пополудни. Отец Гёте умер в слабоумии. Во время его последней болезни Гёте работал над «Ифигенией».

«Доставь эту дрянь домой, она пьяна», — сказал Гёте какой-то придворный чиновник о Христиане.

Август, напивавшийся так же, как его мать, и бесстыдно шатавшийся с бабами.

Нелюбимая Оттилия, навязанная отцом ему в жены из светских соображений.

Вольф, дипломат и писатель.

Вальтер, музыкант, не смог сдать экзамены.

Месяцами жил в садовом домике; когда царица захотела его видеть, он заявил: «Скажите царице, что я не дикий зверь».

«Здоровье у меня скорее свинцовое, чем железное».

Ничтожная, бесплодная писательская деятельность Вольфа. Стариковское общество в мансарде. Восьмидесятилетняя Оттилия, пятидесятилетний Вольф и старые знакомые.

Лишь на таких крайностях замечаешь, как каждый человек безвозвратно потерян в самом себе, и только размышление над другими людьми и над господствующими в них и повсюду законами может дать утешение. Как податлив внешне Вольф, как легко его провести, развеселить, ободрить, заставить систематически работать — и как он внутренне скован и неподвижен.

Почему чукчи не покидают свой ужасный край, в любом месте они жили бы лучше по сравнению с их нынешней жизнью и их нынешними желаниями. Но они не могут; все, что возможно, происходит; возможно лишь то, что происходит.

6 января. Дильтей¹: «Пережитое и вымышленное». Любовь к человечеству, высочайшее уважение ко всем созданным им формам, спокойное пребывание на наиболее подходящем для наблюдения месте. Юношеские сочинения Лютера, «могучие тени, переступающие из невидимого мира в мир видимый, привлеченные убийством и кровью». Паскаль.

8 января. Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего, и я должен бы совсем тихо, довольный тем, что могу дышать, забиться в какой-нибудь угол.

12 января. Вчера: любовные связи Оттилии, молодые англичане. Обручение Толстого, ясное впечатление нежного, бурного, сдерживающего себя, полного предчувствий молодого человека. Красиво одет, в темном и темно-синем.

Разумеется, и для меня существуют возможности. Но под каким камнем лежат они?

Бессмысленность молодости. Страх перед молодостью, страх перед бессмысленностью, перед бессмысленным расцветом бесчеловечной жизни.

19 января. На службе страх попеременно с самонадеянностью. Вообще же стал уверенней. Очень недоволен «Превращением». Конiec читать невозможно. Несовершенно все, почти до самого основания. Рассказ получился бы гораздо лучше, не помешай мне тогда служебная поездка.

24 января. Не в силах написать несколько строк фройляйн Бл.², два письма уже лежат неотвеченными, сегодня пришло третье. Я ничего не могу воспринять правильно и при этом совершенно тверд, но пуст. На днях, когда я выходил в обычное время из лифта, мне пришло в голову, что моя жизнь с ее однообразными до мельчайших подробностей днями похожа на наказания, при которых ученик в зависимости от своей вины должен десять раз, сто раз или еще больше написать фразу, самим повторением превращенную в бессмысленность — только у меня речь идет о наказании, — «столько раз, сколько выдержишь».

26 января. Как я сейчас накричал на мать за то, что она одолжила Элли³ «Злую невинность»⁴, — а ведь только вчера я сам хотел предложить ей книгу. «Оставь мне мои книги! У меня ничего больше нет». И такие речи — с настоящей яростью.

11 февраля. Бегло прочитал «Гёте» Дильтея, огромное впечатление, захватывает, почему нельзя зажечься и погибнуть в этом огне? Или последовать велению, даже если не слышишь его? Сидеть посреди своей пустой комнаты в кресле, уставившись в пол. Взывать «Вперед!» в горном ущелье и со всех горных тропинок слышать отклики одиноких людей и видеть, как они появляются там.

14 февраля. Если бы я покончил с собой, никто нисколько не был бы виноват, будь даже непосредственной причиной отношение ко мне Ф. Я уже однажды в полусне представил себе сцену, которая произошла бы, если бы я в предвиде-

нии конца с прощальным письмом в кармане пришел к ней на квартиру и, получив отказ как жених, положил письмо на стол, подошел к балкону, вырвался от всех, кинувшихся ко мне и пытающихся удержать меня, и, отнимая руки — одну за другой — от балконных перил, перемахнул через них. В письме было бы, однако, написано, что, хотя я и бросился вниз из-за Ф., ничего существенно не изменилось бы для меня, если б мое предложение и приняли. Я обречен, я не вижу другого исхода, Ф. случайно оказалась тем, на чем подтвердилось это предначертание, я не могу жить без нее и должен броситься вниз, но и с нею — и Ф. чувствует это — я не смог бы жить. Так почему не сделать этого нынешней ночью? Я заранее представляю себе болтливых гостей, которые придут сегодня вечером к родителям, они будут разглагольствовать о жизни и о том, какие условия необходимо создать для нее, — но я прикован к общепринятому, живу, целиком увязнув в жизни, я не сделаю этого, я совершенно холоден, мне грустно оттого, что ворот рубашки давит мне шею, я проклят, задыхаюсь в тумане.

23 февраля. Еду. Письмо от Музиля⁵. Оно меня радует и печалит — ведь у меня ничего нет.

9 марта. Я здесь не забуду Ф. и потому не женюсь.

Это совершенно определено?

Да, я могу сказать это, мне почти тридцать один год, знаю Ф. около двух лет и потому должен уже здраво отдавать себе во всем отчет. Кроме того, мой здешний образ жизни таков, что мне не забыть Ф., даже если бы она и не имела такого значения для меня. Однообразие, размеренность, удобство и несамостоятельность моего образа жизни цепко держат меня и заставляют оставаться на том месте, где я оказался.

Кроме того, мною владеет более сильная, чем обычно, склонность к удобной и несамостоятельной жизни, все вредное находит подкрепление во мне самом. Наконец, я ведь становлюсь старше, перемены даются все труднее. И во всем этом я вижу большое несчастье для себя, которое обещает быть долгим и безысходным; мне пред-

стоит тащиться сквозь годы, получая свое жалованье и становясь все более грустным и одиноким, пока хватит сил выдержать.

Но ты ведь хотел для себя такой жизни?

Жизнь чиновника была бы для меня подходящей, будь я женат. Она давала бы мне хорошую опору со всех точек зрения — по отношению к обществу, к жене, к литературной работе, не требуя слишком больших жертв и, с другой стороны, не превращая меня в раба удобств и несамостоятельности, ибо в качестве женатого человека мне нечего было бы опасаться этого. Но холостяком я такой жизнью не могу жить до конца.

Но ты ведь мог бы жениться?

Тогда я не мог жениться, все во мне протестовало против этого, как ни любил я всегда Ф. Удерживала главным образом писательская работа, ибо я думал, что брак повредит ей. Возможно, я был прав, но холостяцкая жизнь при теперешних моих условиях уничтожила ее. Я целый год не писал, я и сейчас не могу писать, у меня в голове одна только мысль, и она пожирает меня. Все это я тогда не мог проверить. Впрочем, при моей несамостоятельности, которую по меньшей мере питает такой образ жизни, я ко всему подхожу нерешительно и ни с чем не справляюсь сразу. Так было и здесь.

Почему ты отказываешься от всех надежд все же добиться Ф.?

Я уже шел на всякие унижения. Однажды в Тиргартене я сказал: «Скажи «да», даже если ты считаешь свое чувство ко мне недостаточным для брака, моей любви к тебе хватит, чтобы восполнить недостающее, она достаточно сильна, чтобы принять все на себя». Ф. казалась обеспокоенной особенностями моей природы, страх перед которыми я вселил в нее во время нашей долгой переписки. «Я достаточно люблю тебя, чтобы избавиться от всего, что могло бы тебе помешать. Я стану другим человеком». Теперь, когда все должно стать ясным, я могу признаться, что даже во время наших самых сердечных отношений у меня возникли подозрения и подтвержденные мелочами опасения, что Ф. меня не очень любит, не со всей силой, с какой она способна любить. Это поняла и Ф., правда не без моей помощи. Боюсь даже, что

после наших двух последних встреч Ф. испытывает ко мне некоторое отвращение, хотя внешне мы очень приветливы друг с другом, говорим друг другу «ты», ходим рука об руку. Последнее воспоминание о ней — неприязненная гримаса, которую она сделала, когда я в прихожей ее дома не удовольствовался поцелуем через перчатку, а растегнул ее и поцеловал руку. Теперь же, несмотря на обещание аккуратно поддерживать дальнейшую переписку, она не ответила на два моих письма, а только в телеграммах обещала прислать письма, но и это обещание не выполнила, она даже не ответила моей матери. Безнадежность всего этого, пожалуй, несомненна.

Впрочем, никогда нельзя так говорить. С точки зрения Ф., разве твое прежнее поведение не казалось тоже безнадежным?

Но это было нечто иное. Я всегда, даже при последнем, как казалось, прощании летом, открыто признавался в своей любви к ней; я никогда не молчал с такой жестокостью; для моего поведения были причины, их можно было не признавать, но обсудить их следовало. Единственная же причина Ф. — совершенно недостаточная любовь. Тем не менее верно, что я мог бы ждать. Но ждать с удвоенной безнадежностью я не в силах: во-первых, видя, что Ф. все больше удаляется от меня, а во-вторых, становясь все более неспособным как-то спасти себя. Это был бы самый большой риск, на который я мог бы отважиться, несмотря на то — или именно потому — что это больше всего отвечало бы всем самым дурным склонностям во мне. «Никогда нельзя знать, что случится» — не аргумент против невыносимости того или иного нынешнего состояния.

Что же ты хочешь предпринять?

Уехать из Праги. Против человеческих страданий, самых сильных из всех, которые я когда-либо испытывал, пустить в ход самое сильное средство, которым я располагаю.

Оставить службу?

Служба, как сказано выше, частично и порождает невыносимость. Надежность, расчет на всю жизнь, достаточное жалованье, неполное напряжение сил — это ведь

все вещи, с которыми я, как холостяк, ничего не могу поделать и которые превращаются в муку.

Что же ты хочешь предпринять?

Я мог бы сразу ответить на все вопросы такого рода, сказав: мне нечем рисковать, каждый день и каждый малейший успех — это подарок, все, что я делаю, будет хорошо. Но я могу и точнее ответить: как австрийский юрист, кем я всерьез вовсе не являюсь, я не имею подходящих перспектив; самое лучшее, чего бы я мог достичь для себя в этом направлении, у меня уже есть, и все-таки я не могу этим воспользоваться. На тот сам по себе совершенно невозможный случай, если бы я захотел извлечь какие-нибудь блага из своей юридической подготовки, речь могла бы идти только о двух городах: Прага, из которой я должен уехать, и Вена, которую я ненавижу и где я непременно был бы несчастен, ибо поехал бы туда уже с глубоким убеждением в неотвратимости несчастья. Стало быть, нужно ехать за пределы Австрии, и поскольку у меня нет таланта к языкам и я плохо справляюсь как с физической, так и с коммерческой работой, ехать — по крайней мере вначале — придется в Германию, в Берлин, где больше всего возможностей просуществовать.

Там я смогу наилучшим и непосредственным образом применить свои литературные способности также и в журналистике и найти более или менее достаточный для себя заработок. Буду ли я, сверх того, еще способен к творческой работе, об этом я сейчас не могу говорить хотя бы с малейшей уверенностью. Но одно я, кажется, знаю твердо: самостоятельное и свободное положение, в котором я буду находиться в Берлине (будь оно в остальном даже и жалким), даст мне то единственное чувство счастья, на какое я еще способен сейчас.

Но ты избалован.

Нет, мне нужна комната и вегетарианский стол, почти ничего больше.

Не ради ли Ф. ты едешь туда?

Нет, я выбираю Берлин только по вышеуказанным причинам, но, конечно, я люблю его из-за Ф., из-за всего, что ее окружает там,— над этим я не властен. Возможно также, что в Берлине я сойду с Ф. Если же эта совмест-

ная жизнь поможет мне изгнать Ф. из моей крови — тем лучше, тогда в этом еще одно преимущество Берлина.

Ты здоров?

Нет, сердце, сон, пищеварение.

15 марта. За гробом Достоевского студенты хотели нести его кандалы. Он умер в рабочем квартале, на четвертом этаже доходного дома.

Ничего, кроме ожидания, кроме вечной беспомощности.

5 апреля. Если б можно было поселиться в Берлине, стать самостоятельным, изо дня в день жить, пусть голодать, но давать выход всей своей силе, вместо того чтобы здесь экономить ее или еще того лучше — обращать в ничто! Если бы Ф. захотела мне помочь!

8 апреля. Вчера не мог написать ни слова. Сегодня не лучше. Кто даст мне избавление? И эта стесненность внутри меня, этот мрак, сквозь который ничего не видно. Я подобен живой тонкой решетке, решетке, которая стоит и вот-вот упадет...

27 мая. Если я не очень ошибаюсь⁶, я начинаю обретать ясность. Такое впечатление, словно где-то в лесной просеке происходит духовная битва. Я вторгаюсь в лес, ничего не нахожу и из-за слабости скоро выбираюсь обратно; часто, покидая лес, я слышу — или мне кажется, будто слышу, — бряцание оружия во время той битвы. Может быть, сквозь лесной мрак меня ищут взоры бойцов, но я так мало знаю о них и знания эти так обманчивы.

Продолжайте, свиньи, свой танец; какое мне до этого дело?

Но это истиннее, чем все, что я написал в последний год. Может быть, все дело в том, чтобы набить руку. Когда-нибудь я еще научусь писать.

28 мая. Послезавтра еду в Берлин⁷. Несмотря на бессонницу, головную боль и заботы, я, кажется, в лучшем состоянии, чем когда-либо прежде.

29 мая. Завтра в Берлин. Испытываю ли я просто лишь нервный подъем, или же состояние мое действительно надежное? Что будет? Верно ли, что, если однажды познаешь суть творчества, ничто уже не погибнет, ничто не пропадет, хотя, правда, лишь редко что-либо взмывает ввысь. Не таким ли будет брезжущий брак с Ф.? Странное, хотя по воспоминаниям не совсем неведомое мне состояние.

Я строю планы. Я пристально смотрю перед собой, чтобы не отвести взгляда от воображаемого глазка воображаемого калейдоскопа, в который гляжу. Я перемешиваю добрые и корыстные намерения, на добрых краска тускнеет, зато полностью проявляет себя на корыстных. Я приглашаю небо и землю участвовать в моих планах, но не забываю и маленьких людей, которых надо вытащить из боковых улиц и которые пока что могут быть более полезными для моих планов. Это только начало, все время только начало. Я еще стою здесь со своей бедой, но вот уже сзади подъезжает огромный воз моих планов, маленький помост подкатывается мне под ноги, обнаженные девушки, как на карнавальных повозках в прекрасных краях, ведут меня спиной вперед вверх по ступенькам, я парю в воздухе, потому что девушки парят, я поднимаю руку, приказывая молчать. Около меня возникают кусты роз, в кадьльницах курится фимиам, опускаются лавровые венки, предо мною и надо мною рассыпают цветы; два трубача, словно высеченные из камня, трубят в фанфары; сбегается толпа простого народа, которую упорядочивают вожаки; пустые, сверкающие чистотой прямоугольные свободные места становятся темными, подвижными, переполненными, я чувствую, что напряжение людей достигло предела, и по собственному побуждению и с внезапно появившейся ловкостью проделываю на своем возвышении трюк, которым я много лет тому назад восхищался у человека-змеи: я медленно выгибаюсь назад — как раз в этот момент небо пытается раскрыться, чтобы показать какое-то явление, которое имеет отношение ко мне, но останавливается,— протаскиваю голову и верхнюю часть туловища между ног и постепенно снова воскресаю распрямившимся человеком. Был ли это наи-

высший подъем, доступный человеку? По-видимому, так, ибо вот я уже вижу, как из всех ворот глубоко и широко лежащей подо мною земли вылезают маленькие рогатые черти, они бегают повсюду, под их ногами все посередине ломается, их хвостики все сметают, вот уже пятьдесят хвостиков скользят по моему лицу, почва становится мягкой, я увязую сначала одной ногой, затем другой, крики девушек преследуют меня до самой глубины, в которую я отвесно погружаюсь через шахту, поперечник которой равен длине моего тела, но тем не менее бесконечно глубоко. Эта бесконечность не вдохновляет на особые деяния, все, что бы я ни делал, было бы мелко, я падаю без чувств, и это лучше всего.

Письмо Достоевского к брату о жизни на каторге.

6 июня. Вернулся из Берлина. Был закован в цепи, как преступник. Если бы на меня надели настоящие кандалы, посадили в угол, поставили передо мной жандармов и только в таком виде разрешили смотреть на происходящее, было бы не более ужасно. И вот такой была моя помолвка! Все пытались пробудить меня к жизни, но поскольку это не удавалось, старались мириться со мной таким, какой я есть. Правда, кроме Ф.,— вполне оправданно, ибо она больше всех страдала. Ведь то, что другим казалось просто внешней манерой, для нее таило угрозу.

Чиновник магистрата Брудер⁸ вернулся домой из канцелярии лишь около девяти часов вечера. Было уже совсем темно. Жена поджидала его у подъезда, держа на руках маленькую дочь. «Как дела?» — спросила она. «Очень плохо,— сказал Брудер,— пойдем домой, там я все тебе расскажу». Едва они вошли в дом, Брудер запер входную дверь. «Где служанка?» — спросил он. «В кухне»,— сказала жена. «Это хорошо, пошли!» В большой низкой комнате зажгли светильник, все сели, и Брудер сказал: «Дело обстоит так. Наши отступают. Бой под Румдорфом, как я понял из достоверных сведений, поступивших в муниципалитет, закончился нашим поражением. Большая часть войск уже покинула город. Пока еще это скрывают, чтобы

не вызвать в городе панику. Я считаю это не совсем разумным, лучше бы открыто сказали правду. Но долг обязывает меня молчать. Конечно, никто не может помешать мне сказать правду тебе. Впрочем, все догадываются о правде, это заметно по всему. Все запирают дома, прячут, что только можно спрятать».

Некоторые чиновники муниципалитета стояли у каменного парапета вдоль окна ратхауза и смотрели вниз, на площадь. Последняя часть арьергарда ожидала там приказа к отходу. Это были молодые рослые краснощечные парни, осаживавшие рваных из туго натянутых поводьев лошадей. Два офицера гарцевали перед ними. Они явно ожидали вестей. Время от времени они высылали вперед верховых, посланный стремительно исчезал по круто поднимающейся от площади боковой улице. Пока ни один из них еще не вернулся.

К стоявшей у окна группе подошел чиновник Брудер, еще молодой бородатый мужчина. Поскольку он был старшим по чину и благодаря своим способностям пользовался особым уважением, все вежливо поклонились и пропустили его к парапету. «Итак, конец,— сказал он, устремив взгляд на площадь.— Это совершенно ясно».

«Значит, вы думаете, господин советник,— сказал высокомерный молодой человек, не сдвинувшийся с места, когда подошел Брудер, и теперь стоявший так близко к Брудеру, что они не могли даже посмотреть друг другу в лицо,— что битва проиграна?»

«Совершенно верно. В этом не может быть сомнения. Мы должны искупить всякие старые грехи. Теперь, правда, не время говорить об этом, теперь каждый должен позаботиться о себе. Мы стоим перед окончательной развязкой. Сегодня вечером гости уже могут быть здесь. Возможно, они не будут дожидаться и вечера, а будут здесь через полчаса».

11 июня. Однажды вечером я пришел из канцелярии домой несколько позже, чем обычно — один знакомый задержал меня внизу у ворот,— и открыл свою комнату, мыслями весь еще в разговоре, вертевшемся главным образом вокруг сословных вопросов, повесил пальто на крючок и хотел подойти к умывальнику, как вдруг услышал

чужое короткое дыхание. Я поднял глаза и увидел на вдвинутой глубоко в угол печи, в полутьме что-то живое. Сверкающие желтоватым светом глаза уставились на меня, под незнакомым лицом на карнизе печи по обе стороны лежали две большие круглые женские груди, все существо, казалось, состояло из груд мягкого белого мяса, толстый длинный желтоватый хвост свисал с печи, конец его все время скользил по щелям между кафельными плитками.

Первое, что я сделал,— большими шагами, с низко опущенной головой, повторяя тихо, как молитву: «Наваждение! Наваждение!» — направился к двери, ведущей в квартиру хозяйки. Лишь потом я заметил, что вошел не постуцав...

(Запись обрывается)

Было около полуночи. Пятеро мужчин остановили меня, шестой из-за их спин протянул руку, чтобы схватить меня. «Пустите»,— закричал я и так закружился волчком, что все отпрянули. Я чувствовал, что вступили в силу некие законы, знал, делая последнее усилие, что они одержат верх, видел, как все мужчины с поднятыми руками отскочили назад, понял, что в следующее мгновение они все вместе ринутся на меня, повернулся к входной двери — я находился вблизи нее,— отпер словно бы с величайшей охотой и с необычайной поспешностью поддавшийся замок и взбежал по темной лестнице наверх.

Наверху, на последнем этаже, в раскрытой двери стояла моя старая мать со свечой в руке.

— Осторожно, осторожно,— крикнул я еще с предпоследнего этажа,— они меня преследуют.

— Кто же? Кто же? — спросила мать.— Кто может тебя преследовать, мой мальчик?

— Шестеро мужчин,— сказал я запыхавшись.

— Ты их знаешь? — спросила мать.

— Нет, неизвестные мужчины,— сказал я.

— Как они выглядят?

— Я плохо рассмотрел их. У одного черная окладистая борода, у другого большое кольцо на пальце, у третьего красный пояс, у четвертого порваны брюки на коленях, у пятого открыт только один глаз, а последний скалит зубы.

— Не думай теперь больше об этом,— сказала мать,— иди в свою комнату, ложись спать, я постелила.

Мать, эта старая женщина, уже отрешенная от всего живого, с хитрой складкой вокруг бессознательно повторяющего восьмидесятилетние глупости рта.

— Теперь спать? — воскликнул я...

(Запись обрывается)

12 июня. Письмо Достоевского к одной художнице.

Жизнь общества движется по кругу. Только люди, пораженные одинаковым недугом, понимают друг друга. Объединенные характером страдания в один круг, они поддерживают друг друга. Они скользят по внутренним краям своего круга, уступают друг другу дорогу или в толпе осторожно подталкивают друг друга. Один утешает другого в надежде на то, что утешение это возьмет обратное действие на него самого, или страстно упивается этим обратным действием. Каждый обладает только опытом, который дает ему его страдание, тем не менее в рассказах товарищей по несчастью этот опыт выглядит неслыханно многообразным. «Так обстоит с тобой дело,— говорит один другому,— и, вместо того чтобы жаловаться, благодари бога, что именно так оно обстоит, ибо, будь оно по-другому, это навлекло бы на тебя такое-то или такое-то несчастье, такой-то или такой-то позор». Откуда это ему известно? Судя по его высказыванию, он ведь принадлежит к тому же кругу, что и его собеседник, у него такая же потребность в утешении. А люди одного круга знают всегда одно и то же. Положение утешающего ни на йоту не лучше положения утешаемого. Поэтому их беседы лишь соединение самовнушений, обмен пожеланиями. То один глядит в землю, а другой на птицу в небе (вот и все различие между ними). То их объединяет одна надежда, и оба, голова к голове, глядят в бесконечные дали небес. Но понимание своего положения обнаруживается лишь тогда, когда они оба опускают голову и один и тот же молот обрушивается на них.

14 июня. Я иду спокойным шагом, в то время как в голове у меня стучит и неприятнейшее ощущение вызывает слегка ударяющая меня по голове ветвь. Во мне, как и в других

людях, есть спокойствие, уверенность, но заложены они как-то навыворот.

1 июля. Слишком устал.

5 июля. Какие страдания я должен переносить и причинять.

29 июля. Иосиф К., сын богатого купца, однажды вечером после крупной ссоры с отцом — отец упрекал его в безалаберной жизни и требовал немедленного ее прекращения — направился без всякой цели, лишь из полнейшей безнадежности и усталости, в купеческий клуб, стоявший на виду недалеко от гавани. Швейцар низко склонился пред ним. Иосиф едва взглянул на него, не поздоровавшись. «Эти молчаливые прислужники делают все, чего от них ожидают,— подумал он.— Раз я думаю, что он незаметно наблюдает за мной, значит, он действительно делает это». И он еще раз, опять без приветствия, оглянулся на швейцара; тот повернулся лицом к улице и смотрел на покрытое облаками небо.

Записи о путешествии сделал в другой тетради. Вещи, над которыми я начал работать, не удались. Я не сдаюсь, несмотря на бессонницу, головную боль, общую слабость. Но мне понадобилось собрать для этого все свои последние силы. Я пришел к выводу, что избегаю людей не затем, чтобы спокойно жить, а чтобы спокойно умереть. Но я буду обороняться. В моем распоряжении месяц без шефа.

30 июля. Я искал совета, я не был упрямым. То было не упрямство, когда с судорожно перекошенным лицом и с пылающими щеками я смеялся про себя над тем, кто, не зная этого, давал мне какой-нибудь совет. Это было напряженное внимание, готовность к восприятию, болезненное отсутствие упрямства.

Директор страхового общества «Прогресс» всегда был крайне недоволен своими служащими. Пожалуй, всякий директор недоволен своими служащими, разница между служащими и директорами слишком велика, чтобы ее

могли выровнять одни лишь приказы директора и одно лишь послушание служащих. Только обоюдная ненависть приводит к выравниванию и придает законченность всему делу.

Бауц, директор страхового общества «Прогресс», с сомнением смотрел на человека, который стоял перед его письменным столом и добивался места служителя. Время от времени он заглядывал в лежавшие перед ним документы претендента.

«Рост-то у вас достаточный,— сказал он,— это видно, а вот чего вы стóбите? У нас служители должны уметь что-то большее, чем лизать марки, как раз этого они у нас не обязаны уметь, ибо это у нас делают автоматы. У нас служители наполовину чиновники, они должны делать ответственную работу, чувствуете ли вы себя способным к этому? У вас странная форма головы. Какой покатый лоб! Странно. Где вы служили в последнее время? Что? Целый год не работали? Почему? Из-за воспаления легких? Так? Ну, это не очень похвально, не правда ли? Нам, разумеется, нужны только здоровые люди. Прежде чем поступить к нам, вы должны обследоваться у врача. Вы уже выздоровели? Да? Конечно, это возможно. А погромче вы говорить можете? Вы действуете мне на нервы своим шепотом. По документам я вижу: вы женаты, имеете четверых детей. И целый год вы не работали? Ну знаете, милейший! Ваша жена прачка? Так. Ну да. Раз уж вы здесь, обследуйтесь сразу у врача, слуга проводит вас к нему. Но из этого вы не должны заключать, что приняты, даже если свидетельство врача будет благоприятным. Совсем нет. Во всяком случае, вы получите письменное извещение. Чтобы быть откровенным, хочу сказать сразу: вы мне совсем не нравитесь. Нам нужны совсем другие служители. Но на всякий случай обследуйтесь. Ну идите же, идите. Просить бесполезно. Я не вправе заниматься благотворительностью. Вы согласны выполнять любую работу. Конечно. Всякий согласен. Это не заслуга. Это лишь свидетельствует, как невысоко вы себя цените. Ну, говорю в последний раз: идите и не задерживайте меня больше. Воистину достаточно».

Бауцу пришлось стукнуть кулаком по столу, прежде

чем человек позволил слуге вытащить его из директорского кабинета.

31 июля. У меня нет времени. Всеобщая мобилизация. К. и Р. призваны. Теперь я получу в награду одиночество. Впрочем, едва ли это можно назвать наградой, одиночество — это наказание. Как бы то ни было, меня мало задело всеобщее бедствие, я исполнен решимости как никогда. В послеобеденное время мне нужно будет находиться на фабрике, жить я буду не дома, так как к нам переселяется Э. с двумя детьми. Но писать буду несмотря ни на что, во что бы то ни стало — это моя борьба за самосохранение.

2 августа. Германия объявила России войну. После обеда — школа плавания.

3 августа. Один в квартире моей сестры. Она расположена ниже моей комнаты, да и улица боковая, поэтому хорошо слышна громкая болтовня соседей внизу у дверей. И по-свистывание. В остальном же полнейшее одиночество. Желанная жена не открывает двери. Через месяц я должен был бы жениться. Мучительные слова: чего хотел, то и получил. Стоишь больно прижатый к стене, боязливо опускаешь глаза, чтобы увидеть руку, прижимающую тебя, и с новой болью, заставляющей забыть прежнюю, видишь собственную искривленную руку — она держит тебя с силой, которой никогда не обладала для настоящей работы. Поднимаешь голову, снова ощущаешь первоначальную боль, опять опускаешь глаза, и нет конца этому движению головы вверх-вниз.

4 августа. Снимая квартиру, я, по-видимому, подписал хозяину какую-то бумагу, которая обязывала меня к двух-или даже шестилетней аренде. Теперь он предъявляет требование согласно этому договору. Глупость или, лучше сказать, полная и абсолютная беспомощность, которую обнаруживает мое поведение. Соскользнуть в поток. Это соскальзывание представляется мне, наверное, потому столь желанным, что напоминает о «подталкивании».

6 августа. Вдоль Грабена тянулась артиллерия. Цветы, крики «Heil» и «Nazdar»*. В толпе лицо, судорожно застывшее, изумленное, внимательное, смуглое и черноглазое.

Я разбит, а не окреп. Пустой сосуд, еще целый, но уже погребенный под осколками, или уже осколок, но все еще под гнетом целого. Полон лжи, ненависти и зависти. Полон бездарности, глупости, тупости. Полон лени, слабости и беззащитности. Мне тридцать один год. Я видел двух управляющих именем на фотографии Оттлы⁹. Молодые свежие люди, которые кое-что знают и достаточно сильны, чтобы суметь применить свои знания среди людей, оказывающих по необходимости легкое сопротивление. Один ведет в поводу прекрасных лошадей, другой, с безусловно внушающим доверие и обычно, видимо, неподвижным лицом, лежит на траве и кончиком языка теревит губы.

Я обнаруживаю в себе только мелочность, нерешительность, зависть и ненависть к борющимся, которым я страстно желаю всех бед.

С литературной точки зрения моя судьба очень проста. Желание изобразить мою исполненную фантазий внутреннюю жизнь сделало несущественным все другое, которое потому и хирело и продолжает хиреть самым плачевным образом. Ничто другое никогда не могло меня удовлетворить. Но я не знаю, есть ли у меня еще силы для этого изображения, может быть, они иссякли навсегда, может быть, они все же снова нахлынут на меня, хотя условия моей жизни не благоприятствуют этому. Так меня и бросает из стороны в сторону, я взлетаю непрерывно на вершину горы, но ни на мгновение не могу удержаться там. Других тоже бросает из стороны в сторону, но в долинах, да и сил у них больше; стоит им только начать падать, как их тут же подхватывает родственник, для того и следующий за ними. Меня же бросает из стороны в сторону там, наверху, — к сожалению, это не смерть, но вечная мука умирания.

Патриотическое шествие. Речь бургомистра. Скрывается, появляется снова, заканчивает германской здравицей:

* Heil (нем.), Nazdar (чешск.) — ура.

«Да здравствует наш любимый монарх, ура!» Я стою и смотрю злыми глазами. Эти шествия — одно из самых отвратительных сопутствующих явлений войны. Они исходят от еврейских коммерсантов, которые оказываются то немецкими, то чешскими, отдают себе, правда, отчет в этом, но никогда не могут так громко выкрикаться, как теперь. Разумеется, они многих увлекают. Организованы шествия хорошо. Они будут повторяться каждый вечер, а завтра, в воскресенье, — дважды.

7 августа. Каждого толкуешь на свой лад, даже если ты лишен малейших способностей к индивидуализации. «Л. из Бинца» ткнул в мою сторону тростью, чтобы привлечь мое внимание, и напугал.

Уверенные шаги в школе плавания.

Вчера и сегодня написал четыре страницы — трудно превзойти их ничтожность.

Неслыханный Стриндберг. Эта ярость, эти добытые в кулачном бою страницы.

Хоровое пение из трактира напротив. Спать невозможно. Из раскрытых стеклянных дверей доносится песня. Тон задает девичий голос. Поются невинные любовные песни. Я мечтаю о полицейском. Он как раз появляется. На какое-то время он останавливается около двери и прислушивается. Затем он зовет: «Хозяин!» Девичий голос: «Войтишек». Из угла выскакивает мужчина в штанах и рубашке. «Закройте дверь! Этот шум мешает!» — «О, пожалуйста, пожалуйста», — говорит хозяин с вкрадчивыми предупредительными жестами; словно обращаясь с дамой, он сперва закрывает дверь позади себя, затем открывает ее, чтобы проскользнуть, и опять закрывает. Полицейский (чье поведение, особенно ярость, непонятно, ибо ему-то уж пение никак не мешает, наоборот, оно может только скрасить его скучную службу) уходит, у певцов охота к пению пропадает.

12 августа. Совсем не спал. После обеда три часа без сна в оцепении лежал на диване, ночь прошла так же. Но это не должно мне мешать.

15 августа. Вот уже несколько дней пишу¹⁰ — хорошо, если бы так продолжалось. Хотя я сейчас не так защищен и не настолько одержим работой, как два года назад¹¹, тем не менее жизнь обрела какой-то смысл, моя размеренная, пустая, бессмысленная холостяцкая жизнь имеет оправдание. Я снова могу вести диалог с самим собой и уже не вперяю взгляд в полнейшую пустоту. Только на этом пути для меня возможно выздоровление.

Воспоминание о дороге на Кальду

Когда-то, много лет тому назад, я служил на узкоколейке в глубине России. Таким покинутым, как там, я никогда не был. По различным причинам, о которых здесь не стоит говорить, я тогда искал такое место; чем большее одиночество окружало меня, тем приятнее мне было, и я теперь не хочу жаловаться на это. Но в первое время мне не доставало занятия. Сперва узкоколейку заложили, видимо, из каких-то хозяйственных соображений, но средств не хватило, строительство застопорилось, и, вместо того чтобы протянуться до Кальды, ближайшего, расположенного в пяти днях езды от нас более крупного населенного пункта, дорога остановилась у маленького селения, в самой глуши, откуда до Кальды нужно было ехать еще целый день. Но даже если бы дорога эта была доведена до самой Кальды, она еще бог весть сколько времени оставалась бы нерентабельной, ибо весь проект был ошибочным: край нуждался в шоссейных, а не в железных дорогах, в том же состоянии, в котором дорога сейчас находилась, она вообще была ни к чему — те два поезда, что ежедневно курсировали, везли грузы, которые можно было бы перевозить на телегах, пассажирами были лишь несколько батраков в летнее время. Но тем не менее полностью законсервировать дорогу не хотели, ибо все еще надеялись, что если она будет функционировать, удастся раздобыть средства для продолжения строительства. На мой взгляд, надежда эта была не столько надеждой, сколько отчаянием и ленью. Пока еще подвижной состав и уголь имелись, дорога работала, ее несколькими служащим нерегулярно и неполностью, словно это была

милостыня, выдавалось жалованье, вообще же ждали краха всего предприятия.

Итак, я служил на этой дороге и жил в деревянной халупе, сохранившейся еще со времен строительства дороги и бывшей одновременно станционным помещением. Она состояла из одной комнаты, где для меня был сколочен топчан и стол для работы. Над топчаном установлен был телефонный аппарат. Когда я весной прибыл туда, один поезд проходил мимо станции очень рано — потом это изменилось, — и иной раз случалось, что какой-нибудь пассажир являлся на станцию, когда я еще спал. Разумеется, он не оставался под открытым небом — до самой середины лета ночи там были холодными, — а стучал в дверь; я отпирал, и, бывало, мы часами болтали. Я лежал на своем топчане, гость устраивался на полу или же готовил по моему указанию чай, который мы затем пили в добром согласии. Все эти деревенские люди очень обходительны. Впрочем, я заметил, что не очень способен выносить полнейшее одиночество, хотя должен сказать, что одиночество, которое я возложил на себя, уже через короткое время начало развеивать мои прежние заботы. Я вообще пришел к выводу, что это хорошее испытание меры несчастья — дать человеку совладать с собой в одиночестве. Одиночество могущественней всего и гонит человека обратно к людям. Естественно, что потом пытаешься найти другие, кажущиеся менее болезненными, но пока еще просто неведомые пути.

Я привязался к тамошним людям гораздо больше, чем думал. Конечно, постоянного общения у нас не было. Каждая из пяти деревень, с которыми я мог бы общаться, находилась от станции и других деревень на расстоянии нескольких часов ходьбы. Слишком далеко уходить от станции я не мог, если не хотел потерять свою должность. А этого я вовсе не хотел, во всяком случае в первое время. Стало быть, в деревни ходить я не мог и потому должен был ограничиваться общением с пассажирами и с теми людьми, которые не боялись дальней дороги, чтобы навестить меня. Уже в первый месяц такие люди нашлись, но, сколь ни дружественно настроены они были, легко было догадаться, что они приходят для того, чтобы попытаться заключить со мною какую-нибудь сделку, — впрочем,

они и не скрывали своих намерений. Они приносили разные товары, и сначала, пока были деньги, я обычно покупал почти все, не глядя, — так рад я был этим людям, особенно некоторым из них. Позже я, правда, сократил эти покупки, сократил еще и потому, что мне показалось, будто они пренебрежительно относятся к моей манере покупать. Кроме того, мне привозили продукты и поездом — правда, они были скверными и еще более дорогими, чем те, что приносили крестьяне.

Поначалу я собирался развести небольшой огород, купить корову и таким образом стать по возможности от всех независимым. Я привез с собой огородный инвентарь и семена, земли было предостаточно, она лежала вокруг моей хибары, насколько хватал глаз, невозделанной равниной, без единого холмика. Но я был слишком слаб, чтобы покорить эту почву, упрямую почву, до самой весны скованную морозом и не поддававшуюся даже моей новой, острой мотыге. Все посеянное в эту землю пропадало. Эта работа вызывала у меня приступы отчаяния. Целыми днями я лежал на топчане и не выходил даже при прибытии поездов. Я только высовывал голову в окне над топчаном и сообщал, что болен. Тогда железнодорожники — их было трое — заходили ко мне, чтобы погреться, но тепла они находили мало, ибо я старался не пользоваться старой железной печкой, боясь, что она взорвется. Я охотнее лежал закутанный в старое теплое пальто и укрытый овчинами, которые постепенно скупал у крестьян. «Ты часто болеешь, — говорили они мне. — Хворый ты человек. Тебе отсюда не выбраться». Они говорили так совсем не для того, чтобы огорчить меня, просто они старались по возможности напрямик говорить правду. И при этом странно тарасились.

Один раз в месяц, но непременно в разное время приезжал инспектор, чтобы проверить книгу записей, забрать у меня выручку и — отнюдь не всегда — выдать мне жалованье. О его прибытии меня каждый раз уведомляли на день раньше люди, высадившие его на последней станции. Они считали это величайшим благодеянием, которое могут мне оказать, хотя, конечно, у меня всегда во всем был порядок. Да для этого не требовалось ни малейшего труда. Но инспектор всегда вступал на станцию с таким видом,

будто уж на этот раз он обязательно раскроет мою нерадивость. Дверь хибары он отворял толчком колена и пытливо взглядывал на меня. Едва раскрыв книгу, он находил ошибку. Проходило много времени, прежде чем мне удавалось доказать ему, что не я, а он ошибся. Он всегда бывал недоволен моей выручкой, потом он со стуком захлопывал книгу и снова испытующе взглядывал на меня. «Мы должны будем закрыть дорогу», — говорил он каждый раз. «Да, этим кончится», — отвечал я обычно.

После ревизии отношения наши менялись. У меня всегда была припасена водка и по возможности какое-нибудь лакомство. Мы чокались, затем он пел довольно сносным голосом, но неизменно только две песни, одна была грустной и начиналась словами: «Куда бредешь ты, бедное дитя, по лесу?», другая была веселой и начиналась так: «Веселые дружки, мне с вами по пути!» В зависимости от настроения, в которое мне удавалось его привести, я по частям получал свое жалованье. Но только поначалу я посматривал на него с определенным намерением, позднее мы достигли полного единодушия, беззастенчиво ругали администрацию, он шептал мне в ухо, какой карьеры добьется и для меня, и в конце концов мы в обнимку падали на топчан и валялись так иной раз по десять часов. На следующее утро он уезжал опять как мой начальник. Я стоял перед поездом и отдавал честь, он обычно, перед тем как войти в вагон, еще раз поворачивался ко мне и говорил: «Итак, дружище, через месяц мы снова увидимся. Ты знаешь, что поставлено на карту ради тебя». Я еще вижу повернутое с трудом ко мне распухшее лицо, все на этом лице выпирает вперед — щеки, нос, губы.

Это было единственное большое развлечение, которое я себе позволял раз в месяц; если случайно оставалось немного водки, я выпивал ее сразу же после отъезда инспектора, чаще всего я еще слышал сигнал к отправлению поезда, а водка уже булькала у меня в горле. После подобной ночи жажду я испытывал чудовищную; казалось, будто во мне сидит второй человек, который высывал из моего рта свою голову и шею и требовал еще чего-нибудь пригодного для питья. Инспектор был обеспечен, он всегда возил с собой в поезде большие запасы спиртно-

го, в моем же распоряжении было только недопитое.

Зато потом я весь месяц не пил и не курил, я только выполнял свою работу и ничего другого не хотел. Работы, как уже сказано, было немного, но делал я ее добросовестно. Например, в мои обязанности входило ежедневно чистить и проверять железнодорожный путь — километр направо и километр налево от станции. Но я не придерживался инструкции и часто шел гораздо дальше, так далеко, что едва различал станцию. При ясной погоде она была еще видна на расстоянии пяти километров — местность ведь была совершенно плоской. Когда я отдалялся настолько далеко, что хибара лишь маячила вддали, я порой из-за оптического обмана видел, как множество черных точек движется по направлению к ней. Это были целые толпы, целые отряды. Но иной раз действительно кто-нибудь приходил, и тогда я, размахивая киркой, всю длинную дорогу бежал бегом обратно.

К вечеру я справлялся со своей работой и окончательно забирался в хибару. Обычно в это время никто не приходил, ибо ночью возвращаться в деревню было небезопасно. Вокруг шатались всякие темные личности, это не были местные жители, каждый раз это были другие люди, иногда они, правда, приходили и вторично. Многих из них я видел, уединенная станция привлекала их, они, собственно, не были опасны, но с ними следовало обходиться строго.

Они были единственными, кто мне мешал в долгие сумерки. Обычно я лежал на топчане, не думал о прошлом, не думал о дороге — следующий поезд проходил между десятью и одиннадцатью часами вечера, — короче говоря, не думал ни о чем. Время от времени я читал старую газету, которую мне бросали из поезда, в ней описывались скандальные происшествия в Кальде, они бы меня интересовали, но по разрозненным номерам я не мог их понять. Кроме того, в каждом номере давалось продолжение романа под названием «Месть командира». Командир этот, всегда носивший на боку кинжал, а в особых случаях бравший его даже в зубы, однажды приснился мне. Впрочем, много читать я не мог, так как быстро темнело, а керосин или сальные свечи были непомерно дорогие. От дороги я ежемесячно получал только пол-литра керосина, чтобы

поддерживать вечером в течение получаса сигнальный свет для поезда,— иссякал этот керосин задолго до окончания месяца. Но свет этот и не нужен был, и потом я его больше не зажигал, по крайней мере в лунные ночи. Я предвидел, что, когда кончится лето, керосин мне понадобится. Поэтому я в углу хибары выкопал яму, поставил туда старый просмоленный пивной бочонок и каждый месяц выливал в него сэкономленный керосин. Все было прикрыто соломой, и никто ничего не замечал. Чем больше в хибаре воняло керосином, тем довольнее я был; вонь потому была сильной, что бочонок был из старого, потрескавшегося дерева, которое пропиталось керосином. Позднее я из осторожности закопал бочонок позади хибары, потому что однажды инспектор бахвалился предо мною коробкой восковых спичек и, когда я попросил отдать ее мне, начал зажигать спичку за спичкой и подбрасывать их в воздух одну за другой. Нам обоим, и в особенности керосину, грозила действительная опасность, я спас все тем, что бросился на него и стал трясти, пока спички не выпали у него из рук.

В свободное время я часто думал о том, как мне обеспечить себя на зиму. Если я уже теперь, в теплое время года, мерз — а в этом году, как говорили, было теплее, чем обычно,— то зимой мне будет совсем плохо. Керосин я запасал из причуды, будь я благоразумнее, мне многим следовало бы запастись для зимы; в том, что общество не особенно побеспокоится обо мне, не было никакого сомнения, но я был легкомысленным, вернее, не легкомысленным, а просто мне было слишком мало дела до самого себя, чтобы очень уж стараться сделать что-либо в этом отношении. Теперь, в теплое время года, мне жилось сносно, и я оставлял все как есть, ничего не предпринимая.

Одним из соблазнов, приведших меня на эту станцию, были виды на охоту. Мне говорили, что эта местность исключительно богата дичью, и я уже заручился обещанием прислать мне ружье, когда скоплю немного денег. И вот оказалось, что пригодной для охоты дичи нет и в помине, здесь водятся как будто лишь волки и медведи — в первые месяцы я не видел ни одного; кроме того, здесь были какие-то странные большие крысы, их я увидел сразу же,— словно гонимые ветром, они полчищами носились по по-

лям. Но дичи, которой я заранее радовался, не было. Люди рассказывали мне не небылицы, богатая дичью местность существовала, но она находилась в трех днях езды отсюда,— мне не приходило в голову, что в этих краях, на протяжении сотен километров необитаемых, точно указать место было трудно. Во всяком случае, пока ружье мне не требовалось и я мог использовать деньги для других целей; но для зимы мне, конечно, необходимо было приобрести ружье, и я регулярно откладывал для этого деньги. Для крыс, атакующих иногда мои продукты, достаточно было длинного ножа.

В первое время, когда все вызывало еще мое любопытство, я однажды наколол такую крысу и повесил ее перед собой на стене на уровне глаз. Маленьких зверей можно хорошо рассмотреть лишь тогда, когда держишь их перед собой на уровне глаз; если склоняться над ними к земле и рассматривать их в таком положении, получаешь о них неверное, неполное представление. Самое поразительное в этих крысах — когти, большие, вогнутые и все же на концах заостренные; они очень хорошо приспособлены для рытья. В последней судороге висевшая предо мною на стене крыса, в явном несоответствии со своим характером при жизни, распрямила когти, и они стали похожи на ручонку, протянутую кому-то навстречу.

Вообще-то эти звери мало досаждали мне, но ночью они иной раз будили меня, со стуком пробегая по твердой земле мимо хибары. И если я потом, сидя в постели, зажигал восковую свечку, то в какой-нибудь дыре под деревянным косяком мог видеть просунутые снаружи, лихорадочно работающие крысиные когти. Это была совершенно бесполезная работа — для того чтобы вырыть для себя достаточно большую нору, крысе нужно было бы работать целыми днями, а она убегала, едва только день занимался, тем не менее она работала, словно рабочий, имеющий определенную цель. И делала она свою работу хорошо; правда, когда она копала, взлетали лишь маленькие комья земли, но напрасно когти в ход не пускались. Часто я ночью долго наблюдал их работу, пока картина эта своей размеренностью и спокойствием не усыпляла меня. В таких случаях у меня не хватало сил погасить

свечку и она еще некоторое время продолжала светить крысе при работе.

Однажды теплой ночью я, услышав работу когтей, осторожно, не зажигая света, вышел наружу, чтобы посмотреть на самого зверька. Он низко опустил голову с острым рыльцем, почти просунул ее между передними лапками, чтобы как можно теснее придвинуться к дереву и поглубже засунуть под него когти. Можно было подумать, будто кто-то в хибаре крепко держал когти и хотел туда втянуть всего зверька, так он был напряжен. Все было покончено одним ударом ноги, которым я убил крысу. Я не мог допустить, чтобы при полном моем бодрствовании было совершено нападение на хибару, на мое единственное достояние.

Чтобы защитить хибару от крыс, я заткнул все дыры соломой и паклей и каждое утро обследовал пол. Пол хибары, представлявший собой утрамбованную землю, я собирался покрыть досками, что тоже могло быть полезным для зимы. Крестьянин из ближайшего села, по имени Екоц, давно обещал мне принести для этой цели хорошие сухие доски, я уже не раз выставлял ему угощение за одно только обещание, он и не пропадал надолго, а появлялся каждые две недели, иной раз ему приходилось отправлять кое-что поездом, но доски он все не приносил. Он приводил всякие отговорки, чаще всего повторял, что сам он слишком стар, чтобы тащить такую тяжесть, а сын его, который должен принести эти доски, как раз сейчас занят в поле. Екоцу, по его словам — и так оно, наверное, и было, — уже далеко за семьдесят, но это крупный, еще очень сильный человек. Кроме того, его отговорки менялись, в другой раз он говорил, как трудно достать такие длинные доски, какие мне нужны. Я не настаивал, мне не так уж необходимы были доски, Екоц сам первый навел меня на мысль покрыть пол досками, может быть, такой настил вовсе и не выгоден, — короче говоря, я спокойной мог выслушивать враки старика. Мое постоянное приветствие было: «Доски, Екоц!» Он тут же начинал лопотать извинения, называл меня инспектором, капитаном или лишь телеграфистом, обещал не только принести на днях доски, но с помощью сына и нескольких соседей снести всю хибару и вместо нее построить крепкий дом. Я слу-

шал, пока не уставал, и выталкивал его за дверь. Но и стоя уже в дверях, он, выпрашивая прощения, поднимал свои якобы слабые руки, которыми на самом деле мог задушить взрослого человека. Я знал, почему он не приносил доски, он думал, что поближе к зиме они мне станут более необходимыми и я лучше заплачу за них, кроме того, пока доски не получены, он сам представлял большую ценность для меня. Он, конечно, был неглуп и понимал, что я знаю, что у него на уме, но, поскольку я не использовал своего знания, он считал это своим преимуществом и дорожил им.

Однако все приготовления, которые я предпринимал, чтобы защитить хибару от зверей и обеспечить себя на зиму, пришлось прекратить, когда я — первая четверть года моего пребывания здесь близилась к концу — серьезно заболел. До сих пор меня в течение многих лет миновали всякие болезни, даже легкие недомогания, а тут я заболел. Началось с сильного кашля. Примерно в двух часах ходьбы от станции протекал небольшой ручей, из которого я обычно набирал бочку воды и привозил ее на тачке. Иногда я там и купался и в результате схватил кашель. Приступы кашля были такими сильными, что я весь корчился, думая, что не выдержу кашля, если не скорчусь и не соберу таким образом все силы. Мне казалось, железнодорожники придут в ужас от такого кашля, но он был им знаком, они называли его волчьим кашлем. С этих пор я начал различать в кашле вой. Я сидел на лавке перед хибарой и воем приветствовал поезд, воем же и провожал его. Ночами я стоял на коленях на топчане, вместо того чтобы лежать, и вдавливал лицо в овчины, чтобы по крайней мере не слышать воя. Я напряженно ждал, когда лопнет какой-нибудь важный кровеносный сосуд и наступит конец. Но ничего этого не случилось, а через несколько дней кашель даже прошел. Есть такой чай, которым лечат его, машинист обещал мне привезти его, но сказал, что пить его нужно лишь на восьмой день после начала кашля, иначе он не поможет. На восьмой день он действительно привез его, и я вспоминаю, что кроме железнодорожников ко мне в хибару зашли и пассажиры, двое молодых крестьян: услышать первый кашель после чая считается хорошей приметой. Я выпил, первый глоток выкашлял в лицо присутствующим, а потом дей-

ствительно сразу же почувствовал облегчение — правда, в последние два дня кашель стал уже слабее. Но жар не проходил.

Этот жар очень изнурил меня, я совершенно ослабел, случалось, лоб внезапно покрывался потом, я начинал дрожать всем телом и должен был тут же, где бы ни находился, лечь и ждать, пока снова соберусь с силами. Я явственно ощущал, что мне становится не лучше, а хуже и что мне необходимо поехать в Кальду и побыть там несколько дней, пока не поправлюсь.

21 августа. Начал с такими надеждами и всеми тремя рассказами отброшен назад¹², сегодня сильнее всего. Наверное, это будет правильно, если над рассказом из русской жизни я буду работать всегда только после «Процесса». С этой нелепой надеждой, опирающейся, очевидно, лишь на привычную фантазию, я снова принимаюсь за «Процесс». Совсем уж бесполезным это не было.

29 августа. Конец одной главы не удался, другую, уже начатую главу я вряд ли смогу или, вернее, совершенно определенно не смогу так хорошо продолжать, в то время как той ночью мне бы это наверняка удалось. Но я не должен сам себя покинуть, я совершенно один.

30 августа. Холодно и пусто. Я слишком хорошо ощущаю границы моих способностей, которые, если я не поглощен полностью, безусловно узки. Я даже думаю, что и в состоянии поглощенности я тоже вовлечен в пределы лишь этих узких границ, но тогда я этого не чувствую из-за увлеченности. Тем не менее в этих границах есть место для жизни, и я буду пользоваться им до тех пор, пока самому не станет тошно.

1 сентября. В состоянии полнейшего бессилия еле написал две страницы. Я сегодня отступил далеко назад, хотя и хорошо спал. Но я знаю, что не должен поддаваться, если хочу, преодолев глубочайшие страдания, причиняемые мне сочинительством, обрести большую свободу, которая, может быть, ждет меня. Былое отупение, как я заметил, еще не совсем прошло, а холод сердца, вероят-

но, никогда и не пройдет. То обстоятельство, что меня не отпугивает никакое унижение, может так же означать безнадежность, как и вселять надежду.

13 сентября. Снова едва две страницы. Сперва я думал, грусть в связи с поражениями Австрии и страх перед будущим (страх, в основе своей кажущийся мне нелепым и в то же время гнусным) вообще помешают мне писать. Этого не произошло, меня только все время охватывает оцепенение, и его надо все время преодолевать. Для грусти у меня достаточно времени и помимо писания. Ход мыслей, связанных с войной, мучителен, они разрывают меня на части и напоминают мои старые тревоги в связи с Ф. Я не способен переносить тревоги и, вероятно, для того и создан, чтобы погибнуть от тревог. Когда я достаточно ослабею — а этого не придется долго ждать, — наверное, хватит малейшей тревоги, чтобы выбить меня из колеи. Конечно, в предвидении этого я могу найти способ по возможности отсрочить несчастье. Правда, несмотря на то что я напряг все силы сравнительно мало ослабленной в то время натуры, я плохо справился со своими тревогами в связи с Ф., но писание оказывало мне большую помощь лишь вначале, теперь же я не хочу больше лишаться этой помощи.

7 октября. Взял недельный отпуск, чтобы сдвинуть с места роман. До сегодняшнего дня — а сегодня ночь среды, в понедельник мой отпуск кончается — это не удалось. Я писал мало и дурно. Правда, я уже в прошлую неделю был в состоянии упадка; но я не мог предвидеть, что будет настолько скверно. Дают ли эти три дня основание для вывода, что жить без службы я недостоин?

1 ноября. Вчера после долгого перерыва хорошо продвинулся вперед, сегодня опять почти ничего не получается, две недели после моего отпуска почти полностью потеряны.

Сегодня довольно хорошее воскресенье. В Хотекском парке читал защитительную речь Достоевского. Охрана в замке и у штаба корпуса. Фонтан во дворце Тун. Большое чувство самоудовлетворения в течение всего дня. А теперь полнейшая несостоятельность в работе. Это даже не не-

состоятельность, я вижу свою задачу и путь к ее разрешению, я только должен пробиться через какие-то совсем слабые препятствия и не могу. Игра с мыслями о Ф.

3 ноября. После обеда письмо к Э., просмотрел рассказ Пика «Слепой гость» и записал поправки к нему, немного читал Стриндберга, потом не спал, в полдевятого был дома, в десять вернулся к себе из страха перед головной болью, уже начавшейся, и еще потому, что и ночью я очень мало спал, ни над чем не работал, отчасти и потому, что боялся испортить написанный вчера сносный кусок. Начиная с августа, это четвертый день, когда я совсем не писал. Виной тому письма, буду пытаться не писать их вообще или же писать только совсем коротко. В каком смятении я сейчас и как бросает меня из стороны в сторону! Вчера вечером был сверхсчастлив после того, как прочитал несколько строк из Жамма¹³, до которого вообще-то мне нет дела, но его французский язык — речь шла о посещении друга-поэта — произвел на меня сильнейшее впечатление.

4 ноября. Вернулся П. Кричит, возбужден, неистовствует. Его рассказ о кроте, который рылся под ним в окопе, — он счел его божественным знаком, повелевающим ему уйти с этого места. Едва он отошел, пуля попала в солдата, который пополз вслед за ним и находился в этот момент как раз над кротом. Его капитан. Видели, как его взяли в плен. Но на следующий день его нашли в лесу голым, проткнутым штыками. По-видимому, у него были с собой деньги, его хотели обыскать и ограбить, но он — офицер ведь! — не позволил дотронуться до себя. От ярости и возбуждения П. почти заплакал, когда по пути с вокзала встретил своего шефа (которого он раньше безмерно и до смешного почитал), элегантно одетого, надушенного, с моноклем, идущего в театр. Месяц спустя он сам туда отправился с билетом, подаренным ему шефом. Он пошел на комедию «Неверный Эккегарт». Спал однажды в замке князя Сапеги, однажды, находясь в резерве, спал перед самыми австрийскими батареями, которые вели огонь, однажды — в комнате у крестьян, где в каждой из двух кроватей, стоявших справа и слева у стен, спало по две

женщины, за печкой — девушка, а на полу — восемь солдат. Наказание для солдат: стоять привязанным к дереву, пока не посинеешь.

12 ноября. Родители, ожидающие от своих детей благодарности (есть даже такие, которые ее требуют), подобны ростовщикам: они охотно рискуют капиталом, лишь бы получить проценты.

25 ноября. Голое отчаяние, невозможно собрать себя в единое целое; лишь насладившись страданием, я могу успокоиться.

30 ноября. Я не могу больше писать. Я у последней границы, пред которой я, наверное, опять должен буду сидеть годами, чтобы затем, может быть, начать новую вещь, которая опять останется незаконченной. Эта участь преследует меня. Я опять холоден и бестолков, осталась лишь старческая любовь к совершеннейшему покою. И подобно какому-нибудь сорвавшемуся с привязи животному, я уже снова готов подставить шею и хочу попытаться заполучить на это время Ф. Я действительно буду пытаться это сделать, если мне не помешает отвращение к самому себе.

2 декабря. После обеда у Верфеля с Максом и Пиком. Читал им «В исправительной колонии», не совсем доволен, за исключением сверхъясных, неискоренимых ошибок. Верфель прочитал стихи и два акта из «Эстер, царицы Персии». Актыв захватывающив. Но меня легко сбивь с толку. Замечания и сравнения, которые сделал Макс, не очень довольный пьесой, мешают мне, и в памяти пьеса осталась далеко не с такой цельностью, с какой воспринималась при слушании. [...]

Вывод из сегодняшнего дня, еще до Верфеля: во что бы то ни стало продолжать работу, грустно, что сегодня это невозможно, я устал и болит голова, она начала болеть еще с утра, в канцелярии. Во что бы то ни стало продолжать работу, несмотря на бессонницу и канцелярию.

5 декабря. Письмо от Э. о положении ее семьи. Мое отношение к семье лишь тогда приобретает для меня настоящий смысл, когда я воспринимаю себя как причину гибели семьи. Это единственное естественное объяснение, начисто отмечающее все то, что кажется поразительным. Это и единственная действительная связь, которая в данный момент существует между мною и семьей, ибо в остальном, что касается чувств, я полностью от нее отделен, — впрочем, возможно, не более непреодолимо, чем от всего прочего мира. (Мое существование в этом отношении можно сравнить с бесполезной, покрытой снегом и инеем, криво и слабо всаженной в землю жердью, торчащей на глубоко вскопанном поле на краю большой равнины темной зимней ночью.) Только гибель производит впечатление. Я сделал несчастной Ф., ослабил сопротивляемость всех, кто сейчас так нуждается в ней, способствовал смерти отца, разъединил Ф. и Э. и, наконец, навлек несчастье и на Э., несчастье, которое, по всей вероятности, будет еще возрастать. Я в него впряжен, мне предназначено усугубить его. Последнее письмо к ней, которое я вымучил из себя, она считает спокойным; оно «дышит покоем», как она выражается. При этом не исключено, что она выражается так из деликатности, желая пощадить меня, тревожась обо мне. Я ведь и так уже в целом достаточно наказан, само мое отношение к семье служит достаточным наказанием, и я перенес такие страдания, что никогда не оправлюсь от них (мой сон, моя память, мои мыслительные способности, моя выносливость в отношении малейших забот непоправимо ослаблены — странным образом это примерно те же следствия, к которым приводит длительное тюремное заключение), но сейчас я мало страдаю из-за моих отношений с семьей, во всяком случае, меньше, чем с Ф. или Э. Правда, есть нечто мучительное в том, что я теперь должен совершить с Э. рождественское путешествие, в то время как Ф. остается, видимо, в Берлине.

8 декабря. Вчера впервые после долгого перерыва был безусловно способен хорошо работать. И тем не менее написал только первую страницу главы о матери¹⁴, потому что уже две ночи я почти совсем не спал, потому что уже с утра начинались головные боли и потому что я испыты-

ваю слишком большой страх перед завтрашним днем. Снова понял, что все написанное в отрывках и не в течение большей части ночи (а то и в течение всей ночи) неполноценно и что условиями своей жизни я обречен на эту неполноценность.

13 декабря. Вместо того чтобы работать — я написал только одну страницу (толкование легенды¹⁵), — перечитывал готовые главы и нашел их отчасти удачными. Меня постоянно преследует мысль, что чувство удовлетворения и счастья, которое мне дает, например, легенда, должно быть оплачено, причем — чтобы никогда не знать передышки — оно должно быть оплачено тут же.

На днях был у Феликса. Возвращаясь домой, я сказал Максу, что на смертном одре, если только боли не будут слишком сильными, я буду очень доволен. Я забыл добавить, а потом уже намеренно не сказал, что лучшее из написанного мною исходит из этой способности умереть довольным. Во всех сильных и убедительных местах речь всегда идет о том, что кто-то умирает, что ему это очень трудно, что в этом он видит несправедливость по отношению к себе или по меньшей мере жестокость, — читателя, во всяком случае так мне кажется, это должно тронуть. Для меня же, думающего, что на смертном одре я смогу быть довольным, такого рода описания являются тайной игрой, я даже радуюсь возможности умереть в умирающем, расчетливо использую сосредоточенное на смерти внимание читателя, у меня гораздо более ясный разум, нежели у него, который, как я полагаю, будет жаловаться на смертном одре, и моя жалоба поэтому наиболее совершенна, она не обрывается внезапно, как настоящая жалоба, а кончается прекрасной и чистой нотой, это подобно тому, как я всегда жаловался матери на страдания, которые были далеко не такими сильными, какими они представляли в жалобе. Правда, перед матерью мне не требовалось столько искренности, как перед читателями.

14 декабря. Жалкая попытка ползти вперед — а ведь это, возможно, самое важное место в работе, где так необходима была бы одна хорошая ночь.

Поражения в Сербии, бестолковое командование.

19 декабря. Вчера почти бессознательно писал «Сельского учителя»¹⁶, но боялся писать позже чем до без четверти два, боязнь эта обоснованная, я почти не спал, забывался только три раза в недолгих снах и потом в канцелярии пребывал в соответствующем состоянии. Вчера отец упрекал меня в связи с фабрикой: «Ты меня в это втравил». Потом я пошел домой и спокойно писал три часа, сознавая, что моя вина бесспорна, хотя и не столь велика, как ее изображает отец. Сегодня, в субботу, не вышел к ужину — отчасти из-за страха перед отцом, отчасти ради того, чтобы полностью использовать для работы ночь, но написал только одну и то не очень хорошую страницу.

Начало всякой новеллы сперва кажется нелепым. Кажется невероятным, чтобы этот новый, еще несформировавшийся, крайне чувствительный организм мог устоять в сложившейся организации мира, которая, как всякая сложившаяся организация, стремится к замкнутости. При этом забываешь, что новелла, если она имеет право на существование, уже несет в себе свою сложившуюся организацию, пусть еще и не совсем развившуюся; потому отчаяние, охватывающее тебя, когда принимаешься за новеллу, в этом смысле беспочвенно; с таким же основанием должны бы отчаиваться родители при виде грудного ребенка, ибо они ведь хотели произвести на свет не это жалкое и совершенно нелепое существо. Правда, никогда не знаешь, обоснованно или необоснованно отчаяние, которое испытываешь. Но известную поддержку эта мысль может оказать; отсутствие такого опыта уже причиняло мне вред.

20 декабря. Замечание Макса о Достоевском, о том, что в его произведениях слишком много душевнобольных. Совершенно неправильно. Это не душевнобольные. Обозначение болезни есть не что иное, как средство характеристики, причем средство очень мягкое и очень действенное. Например, если постоянно и очень настойчиво твердить человеку, что он ограничен и туп, то, если только в нем есть зерно Достоевщины, это подстрекнет его проявить

все свои возможности. С этой точки зрения характеризующие его слова имеют примерно то же значение, что и бранные слова, которыми обмениваются друзья. Когда они говорят: «Ты дурак», то это не означает, что тот, кому это адресовано, действительно дурак и они унизили себя дружбой с ним; чаще всего — если это не просто шутка, но даже и в таком случае — это включает в себе бесконечное переплетение разных смыслов. Так, например, отец братьев Карамазовых отнюдь не дурак — он очень умный, почти равный по уму Ивану, но злой человек, и, во всяком случае, он умнее, к примеру, своего не разоблачаемого рассказчиком двоюродного брата или племянника, помещика, который считает себя настолько выше его.

23 декабря. Прочитал несколько страниц из «Лондонских туманов»¹⁷ Герцена. Не понимал даже, о чем речь, и тем не менее предо мной полностью возник образ человека решительного, истязающего самого себя, овладевающего собой и снова падающего духом.

26 декабря. В Куттенберге у Макса и его жены. Как я рассчитывал на эти четыре свободных дня, сколько часов думал, как их правильно употребить, и все же теперь, кажется, просчитался. Сегодня вечером почти не писал и, наверное, уже не в состоянии продолжать «Сельского учителя», над которым работаю целую неделю и которого за три свободные ночи я наверняка закончил бы набело и без явных погрешностей; теперь же, несмотря на то что он едва начат, в нем уже допущено два непоправимых промаха, и вообще он хилый. Отныне — новый распорядок дня! Еще лучше использовать время! Жалуюсь я здесь, чтобы в этом найти спасение? Эта тетрадь не даст мне его, оно придет, когда я буду в постели, оно уложит меня на спину, и я буду лежать красивый, легкий и голубовато-белый, другого спасения не будет.

31 декабря. С августа работал, в общем — немало и неплохо, но и в первом и во втором отношении не в полную силу своих возможностей, как следовало бы, особенно если учесть, что по всем признакам (бессонница, головная боль, сердечная слабость) возможности мои скоро иссякнут.

Работал над незаконченными вещами: «Процесс», «Воспоминания о дороге на Кальду», «Сельский учитель», «Младший прокурор» — и над началами более мелких рассказов. Готовы лишь «В исправительной колонии» и глава из романа «Пропавший без вести», оба — за время двухнедельного отпуска. Не знаю, зачем я составляю этот список, это совсем не в моем характере!

1915

4 января. Большое желание начать новый рассказ, не поддаваться. Все бесполезно. Если я не могу гнать рассказы сквозь ночи, они удирают и пропадают, это происходит сейчас с «Младшим прокурором». А завтра я иду на фабрику, после того как призвали П., я, наверное, должен буду ходить туда ежедневно во второй половине дня. Это положит конец всему. Мысли о фабрике — это мой бесконечный Прощеный День.

6 января. «Сельского учителя» и «Младшего прокурора» пока отложил. Но я почти не в силах продолжать и «Процесс». Мысли о девушке из Лемберга¹. Надежда на какое-то счастье, подобная надеждам на вечную жизнь. С известного расстояния они кажутся обоснованными, а приблизиться не решаешься.

17 января. «Черные знамена» Стриндберга. О влиянии издали: ты, конечно, чувствовал, что другие не одобряли твоего поведения, но они не высказывали вслух своего неодобрения. Тебе доставляло спокойное удовольствие одиночество, но ты не отдавал себе отчета — почему; кто-то вдалеке хорошо подумал о тебе, хорошо говорил о тебе.

18 января. До половины седьмого с равной бесполезностью работал на фабрике, читал, диктовал, слушал, писал. Равно бессмысленное чувство удовлетворения после этого. Головная боль, плохо спал. Не способен к более или менее продолжительной, сосредоточенной работе. К тому же слишком мало был на свежем воздухе. Несмотря на это, начал новый рассказ, старые боюсь испортить. И вот они предо мною, четыре или пять рассказов, встали на дыбы,

как лошади перед директором цирка Шуманом в начале представления.

19 января. Пока я вынужден ходить на фабрику, я не смогу ничего написать. Я думаю, неспособность работать, к которой я сейчас ощущаю, того же рода, какую я чувствовал во время службы в «Дженерали»². Непосредственная близость жизни, поглощенной добыванием заработка — хотя внутренне я, насколько возможно, безучастен, — застилает мне кругозор, словно я нахожусь в овраге, к тому же с опущенной головой. Например, сегодня в газете опубликовано высказывание компетентных шведских кругов о том, что, несмотря на угрозы Тройственного союза, нейтралитет непременно должен быть сохранен. В заключение сказано: «Члены Тройственного союза обломают себе в Стокгольме зубы». Сегодня я воспринимаю это почти совсем так, как сказано. Три дня назад я бы всем существом своим чувствовал, что говорит какой-то стокгольмский призрак, что «угрозы Тройственного союза», «нейтралитет», «компетентные шведские круги» — все это не что иное, как сработанные по определенной схеме воздушные сооружения, которыми можно любоваться мысленно, но никогда нельзя ощупать руками.

Я договорился с двумя друзьями о загородной прогулке в воскресенье, но совершенно неожиданно проспал время встречи. Мои друзья, знавшие мою всегдашнюю пунктуальность, очень удивились, подошли к дому, где я жил, немного постояли около него, затем поднялись по лестнице и постучали в дверь. Я очень испугался, вскочил с постели и, ни на что не обращая внимания, постарался как можно скорее собраться. Когда я затем, полностью одетый как полагается, вышел из дверей, мои друзья с явным испугом отпрянули от меня. «Что у тебя на затылке?» — воскликнули они. С момента пробуждения я чувствовал, что мне что-то мешает отклонять назад голову, и теперь попытался рукой нащупать помеху. В ту минуту, когда я ухватился за рукоятку меча позади моей головы, друзья, уже пришедшие немного в себя, закричали: «Будь осторожен, не поранься!» Друзья приблизились ко мне, осмотрели меня, повели в комнату и перед зеркалом шкафа раз-

дели до пояса. В мою спину был воткнут по самую рукоятку большой старый рыцарский меч с крестообразным эфесом, но воткнут так, что клинок прошел невероятно точно между кожей и мясом, ничего не повредив. Не было раны и на шее, на месте удара мечом; друзья уверяли, что оставленный клинком порез совершенно не кровоточил и был сухой. Да и теперь, когда друзья, взобравшись на кресло, медленно, миллиметр за миллиметром, стали вытаскивать меч, кровь не выступила, а дыра на шее закрылась до едва заметной прорези. «Вот тебе твой меч», — со смехом сказали друзья и протянули мне его. Я взвесил его в руках, это было дорогое оружие, оно вполне могло принадлежать крестоносцам. Кто потерпит, чтобы в его снах шатались старые рыцари, безответственно размахивали своими мечами, втыкали их в невинных спящих и лишь потому не наносили тяжелых ран, что их оружие вначале, наверное, соскальзывает с живого тела и потому что верные друзья стоят за дверью и стучат, готовые прийти на помощь.

20 января. Конец писанию. Когда я снова примусь за него? В каком плохом состоянии я встречу с Ф.! С отказом от писания сразу же пришла неповоротливость мыслей, неспособность подготовиться к встрече, в то время как на прошлой неделе я с трудом мог отделаться от важных мыслей в связи с ней. Хорошо бы извлечь из этого единственно возможную выгоду — сносный сон.

«Черные знамена». Как плохо я читаю. И как зло и болезненно я наблюдаю за собой. Проникнуть в мир я, видимо, не могу, но могу спокойно лежать, воспринимать, воспринятое растворять в себе и затем спокойно показываться на людях.

24 января. С Ф. в Боденбахе. Мне кажется, невозможно, чтобы мы когда-нибудь соединились, но я не отваживаюсь сказать об этом ни ей, ни — в решающий момент — себе. И я снова обнадежил ее, безрассудно — ведь с каждым днем я старею и закосневаю.

Когда я пытаюсь понять, как она страдает и в то же время остается спокойной и веселой, ко мне возвращаются

старые головные боли. Мы не должны снова мучить себя длинными письмами, пусть эта встреча остается случайным эпизодом; или, может быть, я верю, что смогу здесь стать свободным, жить литературным трудом, поехать за границу или еще куда-нибудь и там тайно жить вместе с Ф.? Мы ведь нашли друг друга ни в чем не изменившимися. Каждый молча признался себе, что другой непоколебим и безжалостен. Я не отступаю от своих намерений вести фантастическую, полностью обусловленную моей работой жизнь, она же, глухая ко всем немим просьбам, хочет обыденности, уютной квартиры, интереса к фабрике, обильной еды, сна с одиннадцати часов вечера, натопленной комнаты, она подводит мои часы, вот уже четверть года уходящие вперед на полтора часа, чтобы они показывали время с точностью до одной минуты. И она оказывается права и всегда будет оказываться правой, она права, делая мне замечание, когда я говорю кельнеру: «Принесите газету, пока она не зачитана до дыр», и я не могу ничего изменить, когда она говорит об «отпечатке своеобразия» (это можно произнести только скрипучим голосом) в будущей обстановке квартиры. Моих двух старших сестер она считает «плоскими», о младшей она не спрашивает, к моей работе почти не проявляет интереса и явно не разбирается в ней. Это — одна сторона.

Я бессилен и опустошен, как всегда, и, собственно говоря, должен бы размышлять только о том, почему у кого-то все же возникает хоть малейшее желание дотронуться до меня мизинцем. Одного за другим, подряд, я обдал холодом трех совсем разных людей...

Ф. сказала: «Как прилично мы себя ведем». Я промолчал, словно не слышал этого восклицания. Два часа мы были одни в комнате. Меня окружали лишь скука и безнадежность. У нас не было еще ни одной хорошей минуты, во время которой я мог бы свободно дышать. С Ф. я, кроме как в письмах, никогда не ощущал сладости отношений с любимой женщиной, как то было в Цукмантеле и Риве, — только безграничное восхищение, покорность, сострадание, отчаяние и презрение к самому себе. Я пытался читать ей вслух, фразы бестолково топтались на месте, никакого контакта со слушательницей — лежала с закрытыми глаза-

ми на диване и молча слушала. Равнодушная просьба дать рукопись с собой и разрешить переписать ее. Рассказ о привратнике вызвал несколько большее внимание, были высказаны верные наблюдения. Мне лишь при этом чтении раскрылся смысл рассказа, она также верно поняла его, но затем, правда, мы вломились в него с грубыми замечаниями, начало которым положил я.

Причина испытываемых мною при разговоре с людьми трудностей — трудностей, совершенно неведомых другим,— заключается в том, что мое мышление, вернее, содержимое моего сознания очень туманно, сам я, пока дело касается лишь меня, безмятежно и иной раз даже самодовольно успокаиваюсь на этом, но ведь человеческая беседа требует остроты, поддержки и продолжительной связности — вещей, которых нет во мне. Никто не захочет витать со мною в туманных облаках, а даже если кто-нибудь и захочет, то я не смогу прогнать туман из моей головы — между двумя людьми он растает и превратится в ничто. Ф. сделала большой крюк, чтобы попасть в Боденбах, ей стоило усилить получить паспорт, она должна была после беспокойной ночи терпеть меня, еще и выслушивать чтение вслух, и все бессмысленно. Воспринимает ли она это с таким же страданием, как я? Наверняка нет, даже если и предположить одинаковую чувствительность: ведь у нее нет чувства вины.

Мое определение было правильным и признано правильным: каждый любит другого таким, каков тот есть. Но с таким, каков тот есть, он не сможет, думает он, жить.

Эта группа: д-р В.³ пытается убедить меня, что Ф. заслуживает ненависти, Ф. пытается убедить меня, что В. заслуживает ненависти. Я верю обоим и люблю обоих или стремлюсь их любить.

29 января. Снова пытался писать, почти безрезультатно. В последние два дня рано ложился спать, в 10 часов, чего уже с давних пор не бывало. Чувство свободы в течение дня, полуудовлетворенность, бóльшая пригодность в конторе, возможность разговаривать с людьми. Теперь — сильные боли в коленных суставах.

7 февраля. Полнейший застой. Бесконечные мучения.

При известной степени самопознания и при других благоприятствующих наблюдению за собой условиях неизбежно будешь время от времени казаться себе отвратительным. Любой критерий хорошего — сколь различны бы ни были мнения на сей счет — будет представляться слишком высоким. Придется признаться себе, что являешься не чем иным, как крысиной норой жалких задних мыслей. Даже малейший поступок не будет независим от этих жалких мыслей. Эти задние мысли будут такими грязными, что, анализируя свое поведение, не захочешь даже продумать их, а ограничишься взглядом на расстоянии. Эти задние мысли будут обуславливаться не каким-то, скажем, корыстолюбием — корыстолюбие по сравнению с ним показалось бы идеалом добра и красоты. Грязь, которую обнаружишь, будет существовать во имя самой себя, ты познаешь, что явился на этот свет, насквозь пропитанный ею, из-за нее же, неузнанный или слишком хорошо распознанный, отойдешь в мир иной. Эта грязь будет самым глубоким слоем земли, которого только можно достичь, но этот самый глубокий слой будет состоять не из лавы, а из грязи. Она будет началом и концом, и даже сомнения, которые породит самоанализ, очень скоро станут столь же вялыми и самодовольными, как свинья, валяющаяся в навозной жиже.

9 февраля. Вчера и сегодня немного писал. Рассказ о собаке.

Теперь прочитал начало. Оно безобразно и вызывает головную боль. Несмотря на всю правдивость, оно зло, педантично, механически написано — еле дышащая на отмерли рыба. Я слишком преждевременно пишу своего «Буваря и Пекюше»⁴. Если оба элемента — наиболее отчетливо они выражены в «Кочегаре» и «В исправительной колонии» — не сольются, я погиб. Но сможет ли это слияние осуществиться?

Наконец снял комнату. В том же доме на Билекгассе.

10 февраля. Первый вечер. Сосед часами разговаривает с хозяйкой. Оба говорят тихо, хозяйка — почти неслышно, тем ужаснее. Наладившаяся два дня назад работа пре-

рвана. Кто знает, на какой срок. Полнейшее отчаяние. Неужели так в каждой квартире? Неужели у каждой хозяйки, в каждом городе меня ожидает такая нелепая и непременно смертельная беда? Две комнаты моего классного наставника в монастыре. Но сразу же отчаиваться бессмысленно, лучше искать выход, как бы ни... нет, это не противоречит моему характеру, во мне еще есть нечто от иудейского упорства, но оно чаще всего дает обратный результат.

14 февраля. Безграничная притягательная сила России. Лучше, чем тройка Гоголя, ее выражает картина необозримой реки с желтоватой водой, всюду устремляющей свои волны, волны не очень высокие. Пустынная растрепанная степь вдоль берегов, поникшая трава.

Нет, ничего эта картина не выражает, скорее — все гасит.

Сен-симонизм.

15 февраля. Все застопорилось. Плохое, бестолковое распределение времени. Квартира мне все портит. Сегодня снова прислушивался к уроку французского языка у дочери хозяйки.

16 февраля. Не нахожу себе места. Словно все, чем я владел, покинуло меня, а вернись оно — я едва ли был бы рад.

22 февраля. Неспособность — полная и во всех смыслах.

25 февраля. После непрерывных, длившихся днями напролет головных болей наконец почувствовал себя свободнее и увереннее. Будь я посторонним человеком, наблюдающим за мной и за течением моей жизни, я должен был бы сказать, что все должно окончиться безрезультатно, растратиться в беспрепятственных сомнениях, изобретательных лишь в самоистязании. Но как лицо заинтересованное, я — живу надеждой.

1 марта. После многонедельных приготовлений и страхов с большим трудом отказался от квартиры, отказался без

особых оснований — ведь здесь довольно спокойно, — я просто по-настоящему не работал и потому не испытал ни покоя, ни беспокойства. Я хочу терзаться, хочу постоянных перемен, мне кажется, в перемене мое спасение, и еще мне кажется, что такие небольшие перемены, которые другие совершают как бы в полусне, я же — с напряжением всех сил разума, смогу подготовить меня к перемене большой, в которой я, по-видимому, нуждаюсь. Конечно, я переселяюсь в квартиру, во многих отношениях худшую. И тем не менее сегодня первый день (или второй), когда я, не будь у меня такой сильной головной боли, мог бы вполне хорошо работать. Быстро написал страницу.

11 марта. Как уходит время, опять прошло десять дней, и я ничего не достиг. Я не могу пробиться. Одна страница мне иной раз удается, но я не могу держаться, на следующий день я бессилён.

13 марта. Вечер; в шесть часов лег на диван. Часов до восьми спал. Не было сил встать, ждал, когда пробьют часы, но в дремоте не слышал боя. В девять встал. Домой к ужину не пошел, не пошел и к Максy, где сегодня собирались друзья. Причины: отсутствие аппетита, страх перед поздним возвращением, но главным образом — мысль о том, что вчера я ничего не написал, что я все больше отдаляюсь от работы и мне грозит опасность потерять все, чего я с таким трудом добился за последние полгода. Явил доказательства этого, написав полторы жалкие страницы нового и уже окончательно заброшенного рассказа, затем в отчаянии, усугубленном безрадостным состоянием желудка, занялся чтением Герцена, чтобы он повел меня каким-то образом за собой. Счастье первого года его жень-тубы, ужас, охвативший меня, когда я представил такое счастье для себя, высокая жизнь в его кругу, Белинский, Бакунин, целыми днями лежащий в шубе на кровати.

Порой я ощущаю почти разрывающее душу отчаяние и одновременно уверенность, что оно необходимо, что всякое надвигающееся несчастье помогает выработать цель (сейчас это происходит под влиянием мыслей о Герцене, но бывает и в другое время).

14 марта. Первая часть дня; до половины двенадцатого в постели. Медленно образующаяся и невероятно стойко сохраняющаяся путаница в мыслях. После обеда читал (Гоголя, статью о лирике), вечером прогулка, частично во власти упорных, но сомнительных утренних мыслей. Сидел в Хотекском сквере. Самое красивое место в Праге. Пение птиц, замок с галереей, деревья в прошлогодней листве, полумрак. Потом пришла Оттла с Д.



Отец Кафки (1852—1931)

23 марта. Не способен написать ни строчки. Хорошее настроение, которое было у меня вчера в Хотекском парке и сегодня на Карлсплаце, когда я сидел с книгой Стриндберга «На взморье». Хорошее настроение сегодня в комнате. Пуст, как ракушка на берегу, которую может раздавить нога любого прохожего.

27 апреля. В Наги Михали с моей сестрой. Не способен жить с людьми, разговаривать с ними. Полностью погружен в самого себя, в мысли о себе. Апатичен, бездумен, боязлив. Мне нечего рассказывать, никогда, никому. [...]

3 мая. Полнейшее равнодушие и оупение. Высохший колодец, вода лишь на недосягаемой глубине, да и то неизвестно, есть ли она там. Пустота, пустота. Не понимаю жизни в «Разрыве» Стриндберга; то, что он называет пре-

красным, вызывает у меня отвращение, имей оно отношение ко мне. Письмо к Ф. фальшивое, отправлять его невозможно. Каким прошлым или каким будущим живу я? Настоящее призрачно, я не сижу за столом, а кружу вокруг него. Пустота, пустота. Тоска, скука, нет, не скука, только пустота, бессмысленность, слабость. Вчера в Добжиховице.

4 мая. Состояние улучшилось, потому что читал Стриндберга («Разрыв»). Я читаю его не ради того, чтобы читать, а ради того, чтобы полежать у него на груди. Он держит меня, как ребенка, на левой руке. Я сижу там, как человек на статуе. Десять раз мне грозит опасность соскользнуть, но в одиннадцатый раз я усаживаюсь прочно, обретаю уверенность, и мне становится видно далеко вокруг.

Раздумываю над отношением людей ко мне. Как бы мал я ни был, нет никого, кто понимал бы меня полностью. Иметь человека, который понимал бы, жену например,— это значило бы иметь опору во всем, иметь бога. Оттла понимает кое-что, даже многое, Макс, Феликс — кое-что, иные, как Э., понимают лишь частности, но зато уж с отвратительной дотошностью, Ф., возможно, совсем ничего не понимает, правда, при бесспорно существующей между нами внутренней связи это создает особое положение. Порой мне казалось, что она понимает меня, сама об этом не ведая,— например, когда она ожидала меня, невыносимо тосковавшего по ней, на станции подземной железной дороги; стремясь как можно скорее увидеть ее и думая, что она ждет меня наверху, я чуть не пробежал мимо нее, но она молча схватила меня за руку.

5 мая. Ничего, тупая, слабая головная боль. Пополудни в Хотекском парке читал Стриндберга, который питает меня.

14 мая. [...] Сегодня читал старые главы «Кочегара» — написано с силой, ныне мне, по-видимому, недоступной (уже недоступной). Боюсь выбыть из строя из-за порока сердца.

27 мая. Очень несчастен в связи с предыдущей записью. Погибаю. Так бессмысленно и бесполезно погибнуть.

13 сентября. Канун дня рождения отца, новый дневник. Он не столь необходим, как прежде, мне не нужно вызывать в себе беспокойство, беспокоен я достаточно, но во имя какой цели, когда будет она достигнута, и как может сердце, не совсем здоровое сердце выносить столько недовольства и столько беспрерывно разрывающих его желаний.

Эта рассеянность, эта забывчивость, эта глупость!

16 сентября. Раскрыл Библию. О неправедных судьях. Нашел, таким образом, мое собственное мнение или, по крайней мере, мнение, которого я до сих пор придерживался. Впрочем, это не имеет значения, в таких вещах я никогда явственно не поддавался внушению, страницы Библии не реяли перед моими глазами.

Кажется, самое подходящее место для того, чтобы вонзить нож,— между горлом и подбородком. Поднимаешь подбородок и вонзаешь нож в напряженные мышцы. Но это только кажется, будто оно самое подходящее. Надеешься увидеть, как великолепно хлынет кровь и порвется сплетение сухожилий и сочленений, будто в ножке жареной индейки.

Читал «Лесничий Флек в России». Возвращение Наполеона на Бородинское поле боя. Тамошний монастырь. Его взорвали.

28 сентября. Бессмысленность жалоб. Как ответ на них — колющая боль в голове.

Почему бессмысленны вопросы? Жаловаться — значит задавать вопросы и ждать ответа. Но на вопросы, которые не отвечают сами себе при возникновении, никогда не получить ответа. Между вопрошающим и отвечающим нет расстояний. Никаких расстояний преодолевать не надо. Потому вопросы и ожидание бессмысленны.

29 сентября. Различные туманные решения. Именно такие мне и удаются. Случайно увидел имеющую к этому некоторое отношение картину на Фердинандштрассе. Плохой эскиз фрески. Под ним чешское изречение, смысл примерно такой: «Ослепленный, ты оставляешь кубок ради девушки, но скоро ты, вразумленный, вернешься обратно».

Раньше я думал: ничто не погубит тебя, эту твердую, ясную, отменно пустую голову, никогда не зажмуришь ты невольно или от боли глаза, не наморщишь лоб, не всплеснешь руками — всегда сможешь лишь описывать это.

Как мог Фортинбрас сказать, что Гамлет держался как истинный король!

30 сентября. Россман и К.⁵, невинный и виновный, в конечном счете оба равно наказанные смертью, невинный — более легкой рукой, он скорее устранен, нежели убит.

1 октября. Третий том воспоминаний генерала Марселлина де Марбо⁶. Полоцк — Березина — Лейпциг — Ватерлоо.

6 октября. Различные формы нервности. Мне кажется, шум уже не будет мешать мне. Правда, я сейчас не работаю. Правда, чем глубже копаешь себе яму, тем тише становится, чем менее пугливым становишься, тем тише становится.

7 октября. Неразрешимый вопрос: сломлен ли я? Гибну ли я? Все признаки говорят за это (холод, отупение, состояние нервов, рассеянность, неспособность к работе, головные боли, бессонница); почти единственное, что говорит против этого, — надежда.

5 ноября. Возбужденное состояние после обеда. Начал с размышлений, покупать ли мне — и если покупать, то на какую сумму — облигации военного займа. Дважды направлялся в лавку, чтобы сделать нужное распоряжение, и оба раза возвращался, не заходя туда. Лихорадочно высчитывал проценты. Потом попросил мать купить облигаций на тысячу крон, но увеличил сумму до двух тысяч.

При этом выяснилось, что я совсем не знал о принадлежащем мне вкладе размером около трех тысяч крон и что я остался почти совсем равнодушным, узнав про него. Голова моя занята была только сомнениями по поводу военного займа, и они не оставляли меня даже во время получасовой прогулки по оживленным улицам. Я чувствовал себя непосредственным участником войны, взвешивал, конечно в соответствии с моими познаниями, финансовые перспективы в целом, увеличивал и уменьшал проценты, которые когда-нибудь будут в моем распоряжении, и т. д. Но постепенно возбуждение улеглось, мысли обратились к писанию, я почувствовал себя способным к нему, ничто другое, кроме возможности писать, мне уже не нужно было, прикидывал, какие ночи я смогу в ближайшее время посвятить этому, перебежал, чувствуя боль в сердце, через каменный мост, ощутил столь часто испытанную мною беду — пожирающий огонь, которому нельзя дать вспыхнуть, придумал, чтобы выразить и успокоить себя, изречение «Дружок, излейся», стал беспрерывно напевать его на особый мотив, сопровождаая пение тем, что сжимал и разжимал, как волынку, носовой платок в кармане.

21 ноября. Совершеннейшая бесполезность. Воскресенье. Ночью полная бессонница. До четверти двенадцатого в постели, при свете солнца. Прогулка. Обед. Читал газету, перелистывал старые каталоги. Прогулка — Гибернергассе, городской парк, Венцельсплац, Фердинандштрассе, затем к Подолу. С трудом растянул ее на два часа. Время от времени чувствовал сильные, однажды прямо-таки жгучие головные боли. Ужинал. Теперь я дома. Кто может открытыми глазами взирать на это сверху — от начала до конца?

25 декабря. Раскрыл дневник со специальной целью вызвать сон. Но случайно наткнулся на последнюю запись — я мог бы представить себе тысячу записей подобного содержания за последние три-четыре года. Я бессмысленно истощаю свои силы, был бы счастлив, если бы мог писать, но не пишу. Головные боли уже не отпускают меня. Я в самом деле измотал себя.

Вчера откровенно поговорил с шефом — решив погово-

ритель, дав обет не отступать, я в прошлую ночь добился двухчасового, правда беспокойного, сна. Предложил моему шефу четыре варианта: 1. Все оставить так, как было в последнюю — ужаснейшую, мучительнейшую — неделю, и кончить нервной горячкой, безумием или еще чем-нибудь подобным; 2. Взять отпуск не хочу — из какого-то чувства долга, да и не помогло бы это; 3. Уволиться не могу сейчас — из-за родителей и фабрики; 4. Остается только военная служба. Ответ: неделя отпуска и курс лечения гематогеном, который шеф хочет пройти вместе со мной. Он сам, по-видимому, очень болен. Если я тоже уйду, отдел осиротеет.

Облегчение оттого, что поговорил откровенно. Впервые словом «уволиться» прямо-таки потряс воздух учреждения. Тем не менее сегодня почти не спал.

Постоянно эта не дающая мне покоя мысль: если бы я в 1912 году уехал в расцвете сил, с ясной головой, не истощенный стараниями подавить живые силы!

Разговор с Лангером⁷. Книгу Макса он сможет прочитать лишь через тринадцать дней. Он мог бы читать в рождество, потому что, по старому обычаю, в рождество нельзя читать тору, но на сей раз рождество пало на субботу. Через тринадцать же дней русское рождество, и тогда он сможет читать. По средневековой традиции, художественной литературой и светскими науками можно заниматься только после семидесяти лет, согласно более терпимому взгляду — после сорока. Медицина — единственная наука, которой можно было заниматься. В настоящее же время нельзя заниматься и ею, ибо она теперь слишком сильно переплетается с другими науками. В клозете нельзя думать о торе, поэтому там можно читать светские книги. Весьма набожный пражанин, некий К., обладал широкими светскими познаниями — все это он изучил в клозете.

1916

19 апреля. Он хотел открыть дверь, чтобы выйти, но она не поддавалась. Он посмотрел вверх, вниз — помехи не было видно. Однако дверь не была заперта, ключ торчал

изнутри, если бы пытались запереть ее снаружи, ключ вытолкнули бы. Да и кому нужно было запирать? Он толкнул дверь коленом, матовое стекло зазвенело, но дверь не открылась. Смотри-ка.

Он вернулся в комнату, подошел к балкону и посмотрел вниз на улицу. Не успев хоть единой мыслью охватить обычную послеобеденную жизнь внизу, он снова вернулся к двери и попытался открыть ее. Но теперь это была уже не попытка, дверь тут же открылась, не потребовалось и толчка, она прямо-таки распахнулась от дуновения воздуха с балкона; без всякого труда, словно ребенок, кому шутки ради дают дотронуться до ручки, на которую в действительности нажимает взрослый, он смог выйти в коридор.

Недавнее сновидение: мы живем на улице Грабен вблизи кафе «Континенталь». Из Герренгассе выступает полк, направляющийся к городскому вокзалу. Мой отец говорит: «На это надо глядеть, покуда можешь» — и вскакивает (в коричневом домашнем халате Феликса, весь облик — смещение обоих) на окно, расплывается с широко раскинутыми руками на очень широком, с сильным наклоном наружу оконном парапете. Я хватаю его и держу за обе петли, в которые вдеается шнур халата. Мне назло он еще больше высовывается наружу, я напрягаю все силы, чтобы удержать его. Я думаю о том, как хорошо было бы, если б я мог привязать свои ноги веревками к чему-нибудь устойчивому, чтобы отец не увлек меня за собой. Правда, чтобы сделать это, я должен хоть на минутку отпустить отца, а это невозможно. Сон — тем более мой сон — не выдерживает такого напряжения, и я просыпаюсь.

20 апреля. Сон: две группы мужчин сражаются друг с другом. Группа, к которой принадлежу я, поймала одного из противников, огромного обнаженного мужчину. Пятеро из нас держат его, один — за голову, по двое — за руки и за ноги. К сожалению, у нас нет ножа, чтобы заколоть его, быстро спрашиваем всех по кругу, нет ли ножа, — ни у кого нет. Но так как почему-то нельзя терять времени, а поблизости стоит печь, необычайно большая чугунная дверца которой раскалена докрасна, мы подталкиваем к ней пленника, приближаем вплотную к дверце его ногу, пока

она не начинает дымиться, затем отводим ее в сторону и даем остыть, чтобы потом снова приблизить к дверце. Так мы все время проделываем это, пока я не просыпаюсь не только в холодном поту, но и с лязгающими от страха зубами.

11 мая. Итак, вручил письмо директору. Позавчера. Прошу, если война окончится осенью, предоставить мне потом длительный отпуск без сохранения жалования или же, если война не окончится, отменить освобождение от воинской повинности. Все это сплошная ложь. Ложью наполовину было бы, если б я просил о немедленном длительном отпуске, а в случае отказа — об увольнении. Правдой было бы, если б я заявил об уходе со службы. Ни на то, ни на другое я не отважился, отсюда — полная ложь.

Сегодня бесполезный разговор. Директор думает, я добиваюсь трехнедельного обычного отпуска, который мне как освобожденному от воинской повинности не положен, и потому сразу же предлагает мне его, говоря, что еще до письма решил это сделать. О военной службе он вообще не говорит, словно в письме об этом нет и речи. Когда я заговариваю о ней, он пропускает это мимо ушей. Длительный отпуск без сохранения жалования он явно считает причудой, осторожно давая понять это. Настаивает, чтобы я немедленно взял трехнедельный отпуск. Делает попутные замечания, как дилетант-невропатолог, каковым все себя считают. Мне ведь не приходится нести такую ответственность, как ему на его должности, — она, конечно, может довести до болезни. А как много он работал раньше, когда готовился к экзаменам на адвоката и одновременно служил в канцелярии. В течение девяти месяцев работал по одиннадцать часов в день. И затем — главное отличие. Разве мне когда-либо и почему-либо приходилось тревожиться за свою должность? А ему приходилось. У него были в канцелярии враги, готовые сделать все возможное, чтобы обрубить сук, на котором он сидел, выбросить его на свалку.

Как ни странно, о моем сочинительстве он не говорит.

Я слабоволен, хотя понимаю, что речь идет чуть ли не о моей жизни. Но все же твержу, что хочу на военную службу и что трех недель отпуска мне мало. В ответ он

откладывает продолжение разговора. Если б он был не так дружелюбен и участлив!

Буду настаивать на следующем: я хочу на военную службу, хочу уступить этому подавляемому в течение двух лет жаланию; по различным причинам, касающимся не меня, я бы предпочел, получи я его, длительный отпуск. Но это, видимо, невозможно как по служебным, так и по военным соображениям. Под длительным отпуском я подразумеваю — чиновнику стыдно сказать об этом, больному не стыдно — полгода или даже целый год. Я не хочу жалованья, потому что дело идет не о телесном недуге, который можно точно установить.

Все это — продолжение лжи, но, если я буду последователен, это по своему воздействию близко к правде.

2 июня. Что за наваждение с девушками — несмотря на головные боли, бессонницу, седину, отчаяние. Я подсчитал: с прошлого лета их было не меньше шести. Я не могу устоять, не могу удержаться, чтобы не восхищаться достойной восхищения, и не любить, пока восхищение не будет исчерпано. Я виноват перед всеми шестью почти только внутренне, но одна из них передавала мне через кого-то упреки.

19 июня. Все забыть. Открыть окна. Вынести все из комнаты. Ветер продует ее. Будешь видеть лишь пустоту, искать по всем углам и не найдешь себя.

4 июля. Какой я? Жалкий я. Две дощечки привинчены к моим вискам.

5 июля. Пытка совместной жизни. Она держится отчужденностью, состраданием, похотью, трусостью, тщеславием, и только на самом дне, быть может, узенький ручеек, который заслуживает быть названным любовью, который бесполезно искать, — он сверкнул лишь однажды на кратчайший миг.

6 июля. Прими меня в свои объятия, в них — глубина, прими меня в глубину, не хочешь сейчас — пусть позже.

Возьми меня, возьми меня — сплетение глупости и боли.

20 июля. Сжался надо мной, я грешен до самой глубины своего существа. Но у меня были задатки не совсем ничтожные, небольшие хорошие способности — неразумное существо, я расточил их втуне, и теперь, когда, казалось бы, все могло бы обернуться мне во благо, теперь я близок к гибели. Не толкай меня к потерянному. Я знаю, это говорит смешное себялюбие, смешное и со стороны, и даже вблизи, но раз уж я живу, то я имею право и на себялюбие живого, и, если живое не смешно, тогда не смешны и его обычные проявления. Жалкая диалектика!

Если я обречен, то обречен не только на гибель, но обречен и на то, чтобы до самой смерти сопротивляться.

В воскресенье утром, незадолго до моего отъезда, мне показалось, что ты хочешь помочь мне. Я надеялся. Поньше — пустая надежда.

Но на что бы я ни сетовал, в сетованиях моих нет убежденности, в них нет даже истинного страдания, они раскачиваются, как якорь брошенного судна, далеко не достигая той глубины, где можно бы обрести опору.

Дай покой моим ночам — детская жалоба.

22 июля. Странный судебный обычай. Палач закалывает приговоренного в его камере, причем никто не имеет права присутствовать при этом. Приговоренный сидит за столом и заканчивает письмо или последнюю трапезу. Стук в дверь, входит палач. «Ты готов?» — спрашивает он. Вопросы и распоряжения ему строго предписаны, он не имеет права отступать от них. Приговоренный, вначале вскочивший со своего места, снова садится и сидит, уставившись перед собой или уткнувшись лицом в руки. Так как палач не получает ответа, он открывает на нарах свой ящик с инструментами, выбирает кинжалы и пытается еще наточить их. Уже очень темно, он достает небольшой переносной фонарь и зажигает свет. Приговоренный незаметно поворачивает голову в сторону палача, но, увидев, чем тот занят, содрогается, отворачивается и не хочет

больше ничего видеть. «Я готов», — говорит палач спустя некоторое время.

«Готов? — вскрикивает приговоренный, вскакивает и теперь уже открыто смотрит на палача. — Ты не убьешь меня, не положишь на нары и не заколешь, ты же человек, ты можешь казнить на помосте, с помощниками, перед судебными чиновниками, но не здесь, в камере, не просто как человек человека». И так как палач, склонившись над ящиком, молчит, приговоренный добавляет спокойнее: «Это невозможно». Но так как и теперь палач продолжает молчать, приговоренный еще говорит: «Именно потому, что это невозможно, ввели этот странный судебный обычай. Форма еще должна быть соблюдена, но смертную казнь уже не нужно приводить в исполнение. Ты доставишь меня в другую тюрьму, там я, наверное, еще долго пробуду, но меня не казнят». Палач достает еще один кинжал, завернутый в вату, и говорит: «Ты, кажется, веришь в сказки, где слуга получает приказ погубить ребенка, но вместо этого отдает его сапожнику в учение. То сказка, а здесь не сказка».

27 августа. Заключительный вывод после двух ужасных дней и ночей: благодари свой чиновничий порок слабости, скупости, нерешительности, расчетливости, предусмотрительности и так далее за то, что ты не отправил открытку Ф. Возможно, ты не стал бы отречься от написанного, я допускаю, что это возможно. Каков был бы результат? Поступок, подъем? Нет. Этот поступок ты однажды уже совершил, но лучше ничего не стало. Не пытайся объяснить это; конечно, ты сумеешь объяснить все прошлое, ты ведь и даже на будущее не отваживаешься, пока заранее не объяснишь его. А это как раз и невозможно. То, что является чувством ответственности и, как таковое, заслуживает всяческого уважения, в конечном счете — чиновничий дух, ребячество, сломленная отцом воля. Возьми лучшее в себе, над ним работай — это в твоей власти. Это означает: не щади себя (вдобавок за счет все-таки любимой тобой Ф.), ведь щадить невозможно, мнимое желание щадить почти сгубило тебя. Ты щадишь себя, не только когда речь идет об Ф., браке, детях, ответственности и так далее, ты щадишь себя и тогда, когда речь идет

о службе, на которой ты торчишь, о плохой квартире, с которой ты не расстаешься. Все. И хватит об этом. Нельзя себя щадить, нельзя рассчитать все заранее. Ты ничего не знаешь о себе, чтобы предугадать, что для тебя лучше. Сегодня ночью, например, за счет твоего мозга и сердца в тебе происходила борьба между двумя совершенно равноценными и равносильными мотивами, каждый из них имеет свои сложности, это означает, что рассчитать все невозможно. Что же делать? Не унижать себя превращением в поле битвы, где сражаются, не обращая никакого внимания на тебя, и ты не чувствуешь ничего, кроме страшных ударов бойцов. Итак, соберись с силами. Исправляй себя, беги чиновничьего духа, начни же понимать, кто ты есть, вместо того чтобы рассчитывать, кем ты должен стать. Ближайшая задача, безусловно, — стать солдатом. Откажись от безумного заблуждения и не сравнивай себя ни с Флобером, ни с Кьеркегором, ни с Грильпарцером. Это совершеннейшее мальчишество. Как звено в цепи расчетов, примеры, конечно, могут пригодиться или, вернее, они непригодны вместе со всеми расчетами; взятые же по отдельности для сравнения, они уже с самого начала непригодны. Флобер и Кьеркегор очень хорошо знали, как обстоит с ними дело, они имели твердую волю, они не рассчитывали, они действовали. У тебя же бесконечный ряд расчетов, чудовищная смена подъемов и спадов в продолжение четырех лет. Сравнение с Грильпарцером, может быть, и верно, но Грильпарцера ты ведь не считаешь достойным подражания — злосчастный пример, которому потомки должны быть благодарны, ибо он страдал ради них.

8 октября. Воспитание как заговор взрослых. Разными обманами, в которые мы сами, правда в другом смысле, верим, мы завлекаем играющих на свободе детей в наш тесный дом. (Кому неохота быть благородным? Запереть дверь.)

Нелепости в толковании и в одержании победы над Максом и Морицем¹.

Ничем не заменимое значение неистовствующих пороков состоит в том, что они встают во всю свою величину и силу и все их видят, даже если сопричастная возбужденность

позволяет увидеть лишь их слабое мерцание. К матросской жизни не приучишь упражнениями в луже, зато чрезмерной тренировкой в луже можно убить способность сделаться матросом.

16 октября. Одно из четырех условий, предложенных гуситами католикам как основа для объединения, заключалось в том, что все смертные грехи, к числу которых относились «обжорство, пьянство, разврат, ложь, клятвопреступление, ростовщичество, присвоение церковных денег», должны караться смертью. Одна партия требовала даже предоставить право любому совершить казнь, если он обнаружит, что кто-либо запятнал себя одним из названных грехов.

Мы вправе собственной рукой замахнуться кнутом на себя.

18 октября. Из одного письма²:

Не так просто с легкостью отнестись к тому, что ты говоришь о матери, родителях, цветах, Новом годе и обществе за столом. Ты говоришь, что и для тебя «будет не самым большим удовольствием сидеть у тебя за столом вместе со всей твоей семьей». Ты высказываешь, разумеется, только свое мнение, совершенно справедливо не считаясь с тем, обрадует оно меня или нет. Так вот, оно меня не радует. Но конечно, еще меньше обрадовало бы меня, если бы ты написала противоположное. Пожалуйста, скажи ясно насколько возможно, чем тебе это будет неприятно и что тому причиной? Мы ведь уже часто говорили на эту тему, во всяком случае в связи со мною, но очень трудно хотя бы отчасти понять, в чем тут дело.

Коротко — а потому и с не совсем соответствующей истине жестокостью — я могу свою позицию изложить примерно так: я, который чаще всего бывал несамостоятелен, бесконечно стремлюсь к самостоятельности, независимости, всесторонней свободе. Лучше надеть шоры и проделать свой путь до конца, чем дать толпе родных кружить вокруг меня и отвлекать мой взгляд. Поэтому каждое слово, которым мы обмениваемся с родителями, так легко превращается в бревно, брошенное мне под ноги. Любая связь, которую я не сам создал или завоевал, даже если

это связь между частями моего «я», никакой цены не имеет, мешает моему движению, я ненавижу ее или близок к тому, чтобы ее возненавидеть. Дорога длинна, силы невелики, оснований для такой ненависти более чем достаточно. Но я происхожу от моих родителей, связан с ними и с сестрами кровно, в повседневной жизни и из-за неизбежной погруженности в свои мысли я не чувствую этого, но на самом деле считаюсь с этим больше, чем сам осознаю. Иной раз моя ненависть направлена и на это, дома один вид супружеской постели, мятых простынь, заботливо приготовленных ночных сорочек вызывает у меня отвращение, доходящее до рвоты, выворачивающее наружу все мое нутро, мне начинает казаться, будто я еще окончательно не родился, должен снова и снова появляться на свет среди затхлой жизни этой затхлой комнаты, снова и снова подтверждать в ней свое существование, я неразрывно связан с этими отвратительными вещами если не целиком и полностью, то по крайней мере частично, во всяком случае, это пути на моих ногах, которые хотят убежать, но завязли в первозданном бесформенном месиве. Это — иной раз.

А в другой раз я снова вспоминаю, что они все-таки мои родители, неотъемлемая часть моего собственного существа, постоянные источники моей силы, связанные со мной не только как препятствие, но и как сущность. И тогда я представляю их себе, как представляют себе все самое лучшее; при всей злости, дурных привычках, эгоизме, бессердечии я издавна дрожал за них и, собственно говоря, дрожу до сих пор, ведь это не проходит, и если они — мать, с одной стороны, отец — с другой,— опять-таки в силу необходимости, почти сломили мою волю, то я еще и поэтому хочу их почитать. Они меня обманули, но я все же не могу, не впадая в безумие, восстать против закона природы, стало быть, опять ненависть и ничего другого, кроме ненависти. (Оттла временами кажется мне такой, какой должна быть по моему смутному представлению мать,— чистой, искренней, честной, последовательной. Кротость и гордость, впечатлительность и стойкость, самоотверженность и самостоятельность, робость и смелость в равной мере. Я упоминаю Оттлу, ибо и в ней

ведь присутствует моя мать, правда совершенно неузнаваемо.) Итак, я хочу поэтому их почитать.

Ты принадлежишь мне, я сделал тебя своей, и ни в одной сказке нет женщины, за которую сражались бы дольше и отчаяннее, чем я сражался за тебя с самим собой, так было с самого начала, так повторялось снова и снова, и так, видно, будет всегда. Значит, ты принадлежишь мне, поэтому мое отношение к твоим родственникам подобно моему отношению к моим родственникам, хотя, разумеется, оно несравненно спокойнее и в добром и в злом. Они означают еще одну связь, которая мешает мне (мешает, даже если бы мне никогда не пришлось сказать им хоть слово), и я не могу их почитать в упомянутом смысле. Я говорю с тобой столь же открыто, как с самим собой, ты не обидишься за это и не увидишь здесь высокомерия, по крайней мере там, где ты могла бы его увидеть, его нет.

Окажись ты сейчас здесь, за столом моих родителей, тогда все враждебное мне в моих родителях получит гораздо более широкое поле для нападения на меня. Им покажется, что моя связь с семьей как с целым очень упрочится (но это не так и не должно быть так), им покажется, что я уже занял свое место в том ряду, одна из важнейших позиций которого — спальня по соседству со столовой (а я не занимал ее), вопреки моему сопротивлению они думают, что получили в тебе поддержку (они не получили ее), все безобразное и отвратительное в них усилится.

Но если это так, почему же я не радуюсь твоему замечанию? Потому что я стою в кругу и непрерывно размахиваю ножами, чтобы все время и ранить, и защищать мою семью, позволь мне в этом полностью заменить тебя, но по отношению к твоей семье не заменяй меня в этом смысле. Не слишком ли велика для тебя, любимая, эта жертва? Она неслыханна, и облегчается она лишь тем, что, если ты не принесешь ее, мой характер заставит меня вырвать ее у тебя. Но если ты ее принесешь, ты много сделаешь для меня. Я умышленно не буду тебе писать один-два дня, чтобы ты могла без помех с моей стороны обдумать это и ответить. Для ответа достаточно — так велико мое доверие к тебе — одного только слова.

29 июля. Придворный шут. Исследование о придворных шутах.

Великие времена придворных шутов, пожалуй, прошли и больше не вернуться. Все куда-то уходит, этого нельзя отрицать. Тем не менее я еще наслаждался придворным шутовством, хоть оно и исчезло сейчас из обихода человечества.

2 августа. Паскаль наводит большой порядок перед появлением бога, но должен существовать более глубокий робкий скепсис, нежели скепсис [*одно слово неразборчиво*]... человека, который режет себя на части хоть и великолепным ножом, но со спокойствием колбасника. Откуда это спокойствие? Это уверенное владение ножом? Разве бог — театральная колесница триумфатора, которую, даже если не забывать о тяжких и отчаянных усилиях рабочих, вытаскивают на сцену с помощью канатов?

3 августа. Еще раз я во всю силу легких крикнул в мир. Потом мне заткнули рот кляпом, надели кандалы на руки и ноги, завязали платком глаза. Несколько раз меня протащили взад-вперед, посадили и снова положили, тоже несколько раз, дергали за ноги так, что я дыбился от боли, дали немножко полежать спокойно, а потом стали глубоко всаживать в меня что-то острое, неожиданно то тут, то там, как подсказывала прихоть.

4 августа. Пользуясь словом «литература» как синонимом упрека, делают такое сильное языковое сокращение, что это постепенно влечет за собой — возможно, с самого начала так и было задумано — и сокращение мысли, которое искажает истинную перспективу и заставляет самый упрек падать далеко от цели и в стороне от нее.

Громкозвучные трубы Пустоты.

15 сентября. У тебя есть возможность¹ — насколько вообще такая возможность существует — начать сначала. Не упускай ее. Если хочешь взяться всерьез, ты не сможешь

обойти грязь, которая исторгнется из тебя. Но не валяйся в ней. Если, как ты утверждаешь, рана в легких является лишь символом, символом раны, воспалению которой имя Ф., глубине которой имя Оправдание, если это так, тогда и советы врача (свет, воздух, солнце, покой) — символ. Ухватись же за этот символ.

18 сентября. Все порвать.

19 сентября. Рана так болит не потому, что она глубока и обширна, а потому, что она застарелая. Когда старую рану снова и снова вскрывают, снова режут то место, которое уже множество раз оперировали,— вот это ужасно.

Для меня всегда непостижимо, что почти каждый, кто умеет писать, может объективировать в боли боль, что я, к примеру, могу в несчастье, может быть, с еще пылающей от несчастья головой сесть и кому-то письменно сообщить: я несчастен. Более того, я могу даже с различными вывертами в зависимости от дарования, которому словно дела нет до несчастья, фантазировать на эту тему просто, или усложненно, или с целым оркестром ассоциаций. И это вовсе не ложь и не успокаивает боли, это просто благодный избыток сил в момент, когда боль явно истощила до самого дна все силы моей души, которую она использовала. Что же это за избыток?

В мирные дни ты не преуспеваешь, в дни войны ты истекаешь кровью.

21 сентября. Ф. была здесь, она ехала, чтобы повидать меня, тридцать часов, мне следовало бы помешать этому. Насколько я представляю себе, на ее долю выпало, в значительной степени по моей вине, самое большое несчастье. Я сам не могу себя понять, я совершенно бесчувствен, столь же беспомощен, думаю о нарушении некоторых своих удобств и в качестве единственной уступки немножко разыгрываю комедию. В мелочах она не права, не права в защите своих мнимых или даже подлинных прав, в целом же она невинно приговорена к тяжким пыткам; я совершил несправедливость, из-за которой она подвергается

пыткам, и я же подаю орудия пыток. Ее отъездом (какета с нею и Оттлой объезжает пруд, я напрямик пересекаю дорогу и снова приближаюсь к ней) и головной болью (бранные останки комедианта) кончается день.

25 сентября. По дороге в лес. Ты разрушил все, ничем, собственно говоря, еще не овладев. Как ты собираешься теперь восстановить это? Откуда возьмет силы для этой огромной работы твой мятущийся дух?

«Новое поколение» Таггера² убого, болтливо, живо, умело, местами хорошо написано, с легким налетом дилетантизма. Какое он имеет право козырять? В основе своей он столь же убог, как я и как все. Не так уж преступно больному чахоткой иметь детей. Отец Флобера был болен туберкулезом. Выбор: или у ребенка в легких заводится флейта (очень красивое выражение для той музыки, ради которой врач прикладывает ухо к груди), или он становится Флобером. Трепет отца, пока это впустую обсуждается.

Временное удовлетворение я еще могу получать от таких работ, как «Сельский врач», при условии, если мне еще удастся что-нибудь подобное (очень маловероятно). Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости.

Плети, которыми мы стегаем друг друга, за последние пять лет обросли добротными узлами.

28 сентября. Из письма к Ф., возможно, последнего (1 октября)³.

Когда я проверяю себя своей конечной целью, то оказывается, что я, в сущности, стремлюсь не к тому, чтобы стать хорошим человеком и суметь держать ответ пред каким-нибудь высшим судом,— совсем напротив, я стремлюсь обозреть все сообщество людей и животных, познать его главные пристрастия, желания, нравственные идеалы, свести их к простым нормам жизни и в соответствии с ними самому как можно скорее стать таким, чтобы быть непременно приятным, и притом (вот в чем фокус) настолько приятным, чтобы, не теряя всеобщей любви, я, как единст-

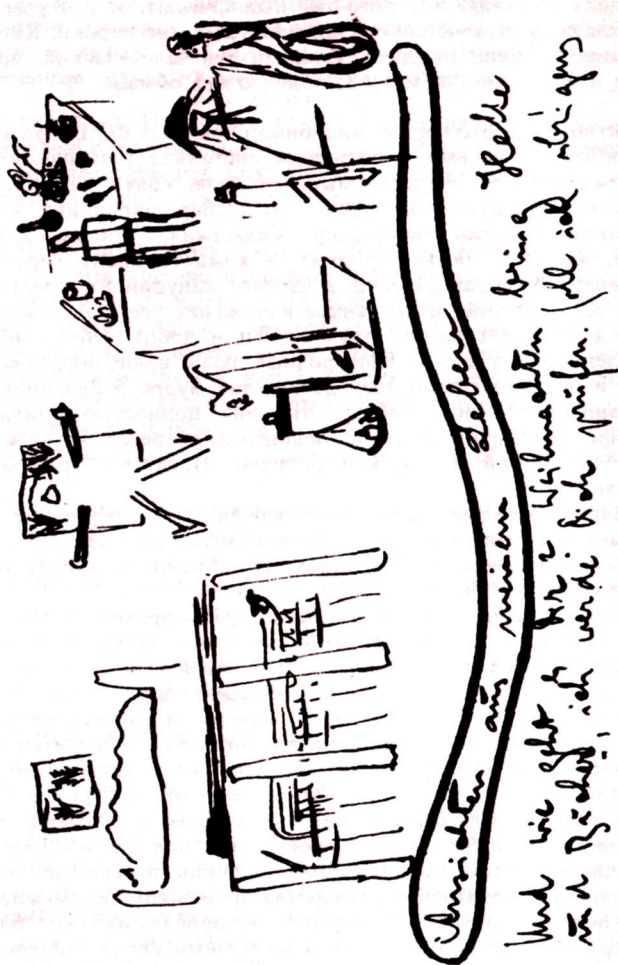
венный грешник, которого не поджаривают, мог открыто, на глазах у всех обнажить все присущие мне пороки. Коротче говоря, меня интересует только суд человеческий, при этом и его я хочу обмануть, конечно без обмана.

8 октября. За это время: жалобные письма от Ф., Б. грозитя прислать письмо. Безотрадное состояние (courbature*). Кормление коз, изрытое мышами поле, копка картофеля («Как ветер дует нам в задницы»), сбор шиповника, крестьянин Ф. (семь девочек, одна маленькая, с милым взглядом, на плече белый кролик), в комнате висит картина «Император Франц Иосиф в часовне капуцинов», крестьянин К. (могучий, продуманное изложение всемирной истории его хозяйства, но дружелюбен и добр). Общее впечатление от крестьян: благородные люди, нашедшие спасение в сельском хозяйстве, где они так мудро и безропотно организовали свою работу, что она полностью слилась с мирозданием и до блаженной кончины оберегает их от всяких колебаний и морской болезни. Истинные граждане земли.

Парни, которые вечером гоняются за разбегающимся, рассыпанным по широким холмистым полям стадом и при этом все время должны тащить стреноженного, упирающегося молодого быка.

«Копперфилд» Диккенса («Кочегар» — прямое подражание Диккенсу; в еще большей степени — задуманный роман). История с чемоданом, осчастливливающий и очаровывающий, грязные работы, возлюбленная в поместье, грязные дома и др., но прежде всего манера. Моим намерением было, как я теперь вижу, написать диккенсовский роман, но обогащенный более резкими осветителями, которые я позаимствовал бы у времени, и более слабыми, которые я извлек бы из себя. Диккенсовское богатство и могучий, неудержимый поток повествования, но при этом — места ужасающе вялые, где он утомленно лишь помешивает уже сделанное. Впечатление варварства производит бессмысленное целое — варварства, которого я, правда, избежал благодаря собственной слабости и наученный своим эпигонством. За манерой, затопляемой чувством, скрыта бессердеч-

* Чрезмерная усталость (*франц.*).



Почтовая открытка Макс Броду с рисунками Кафки и подписью:
 «Картинки из моей жизни» (декабрь 1918 г.)

ность. Эти колоды необработанных характеристик, которые искусственно подгоняются к каждому персонажу и без которых Диккенс был бы не в состоянии хотя бы раз быстро взобраться на свое сооружение. (Общность Вальзера⁴ с ним — в расплывчатом применении абстрактных метафор.)

1919

27 июня. Начал новый дневник, собственно говоря, лишь потому, что читал старый. Некоторых причин и намерений теперь, без четверти двенадцать, уже не восстановить.

30 июня. Был в Ригерпарке. Прогуливался с Ю.¹ среди кустов жасмина. Лживость и правдивость, лживость во вздохах, правдивость в скованности, в доверчивости, в чувстве защищенности. Беспокойное сердце.

6 июля. Все те же — мысль, желание, страх. И все-таки я спокойнее, чем обычно, словно во мне готовится великая перемена, отдаленную дрожь которой я ощущаю. Слишком много сказано.

5 декабря. Снова прорвался сквозь эту страшную, длинную узкую щель, которую можно одолеть, собственно, лишь во сне. Наяву это по собственному желанию, конечно, никогда не удается.

8 декабря. Понедельник, праздник в Баумгартене, в ресторане, в галерее. Страдание и радость, вина и невинность как две неразделимо сплетенные руки, для того чтобы развязать, их надо было бы разрезать — мясо, кровь и кости.

9 декабря. Много Элезеуса². Но куда бы я ни повернулся, навстречу мне бьет черная волна.

11 декабря. Четверг. Холод. Молча бродил с Ю. по Ригерпарку. Соблазн на Грабене. Все это слишком тяжело. Я недостаточно подготовлен. В духовном смысле это похоже на то, что двадцать шесть лет тому назад говорил учитель Бек, не замечая, конечно, пророческой шутки: «Пусть он

еще посидит в пятом классе, он слишком слаб, такая чрезмерная спешка потом отомстит за себя». Действительно, я рос, как слишком быстро вытянувшиеся и забытые саженьцы, с известным артистическим изяществом уклоняясь от сквозняков; если угодно, есть даже что-то трогательное в этих движениях, но не более того. Как у Элезеуса с его веселыми деловыми поездками в города. При этом его совсем не надо недооценивать: Элезеус мог бы стать героем книги, наверное, даже стал бы им во времена молодости Гамсуна.

1920

6 января. Все, что он делает, кажется ему необычайно новым. Если бы оно не обладало свежестью жизни, то само по себе — он хорошо это знает — оно неизбежно было бы порождением старого чертова болота. Но свежесть вводит его в заблуждение, заставляет забыть обо всем, или легко примириться, или даже, все понимая, воспринимать безболезненно. Ведь сегодняшний день, несомненно, и есть именно тот день, когда прогресс собирается в путь, чтобы двигаться дальше.

9 января. Суеверие, и принцип, и осуществление жизни. Через рай порока достигаешь ада добродетели. Столь легко? Столь грязно? Столь невысказанно? Суеверие — оно просто.

В его затылке вырезали сегментобразный кусок. Вместе с солнцем туда заглядывает весь мир. Это нервнует его, отвлекает от работы, кроме того, его злит, что именно он должен быть выключен из спектакля.

Если на следующий день после освобождения чувство несвободы еще остается неизменным, а то и усиливается, и даже если настойчиво уверяют, что оно никогда не кончится, — это нисколько не опровергает предчувствия окончательного освобождения. Все это скорее необходимые предпосылки окончательного освобождения.

15 октября. С неделю назад все дневники дал М.¹. Немного свободнее? Нет. Способен ли я еще вести нечто вроде дневника? Во всяком случае, это будет нечто другое, скорее всего, оно забьется куда-нибудь, вообще ничего не будет, о Хардте, например, который сравнительно сильно занимал меня, я лишь с величайшим трудом мог бы что-нибудь записать. Кажется, будто я все уже давно о нем написал или, что то же самое, будто меня нет больше в живых. О М. я могу, пожалуй, писать, но уже не по свободному решению, да это и было бы слишком сильно направлено против меня, подобные вещи мне уже не нужно, как прежде, подробно объяснять себе, в этом отношении я уже не столь забывчив, как раньше, я стал живой памятью, отсюда и бессонница.

16 октября. Воскресенье. Беда непрерывных начал, отсутствие заблуждения относительно того, что все — лишь начало, и даже еще не начало, глупость окружающих, которым все это неведомо и которые, к примеру, играют в футбол в надежде когда-нибудь наконец «преуспеть», собственная глупость, которую погребаешь в себе самом, как в гробу, глупость окружающих, думающих, что перед ними настоящий гроб, то есть гроб, который можно перевезти с места на место, открыть, разломать, поменять на другой.

Среди молодых женщин в верхнем парке. Зависти нет. У меня достаточно фантазии, чтобы разделять их счастье, достаточно здравого смысла, чтобы знать, что я слишком слаб для такого счастья, достаточно глупости, чтобы верить, будто понимаю свое и их положение. Нет, глупости недостаточно, осталась маленькая щель, ветер дует в нее и мешает тому, чтобы резонанс был полным.

Проникнись я желанием стать легкоатлетом, это было бы, вероятно, то же самое, как если бы я пожелал попасть на небо и там имел возможность пребывать в таком же отчаянии, как здесь.

Какой бы жалкой ни была моя основа, пусть даже «при равных условиях» (в особенности если учесть слабость воли) самый жалкий на земле, я все же должен, хотя бы в моем духе, пытаться достичь наилучшего; говорить же: я в силах достичь лишь одного, и потому это одно и есть наилучшее, а оно есть отчаяние, говорить так — значит прибегать к пустой софистике.

17 октября. То, что я не научился ничему полезному, к тому же зачах и физически — а это взаимосвязано, — могло быть преднамеренным. Я хотел, чтобы меня ничто не отвлекало, не отвлекала жизнерадостность полезного и здорового человека. Как будто бы болезнь и отчаяние не отвлекают по меньшей мере в такой же степени!

Я мог бы эту мысль додумывать по-разному и довести ее до конца в свою пользу, но я не решаюсь и не верю — по крайней мере, сегодня и в течение большинства дней — в какую-либо благоприятную для меня развязку.

Я не завидую отдельным супружеским парам, я завидую только всем супружеским парам, а если я и завидую одной супружеской паре, то я, собственно говоря, завидую всему супружескому счастью во всем его бесконечном многообразии, счастье одного-единственного супружества даже в самом благоприятном случае, наверное, привело бы меня в отчаяние.

Я не думаю, будто есть люди, чье внутреннее состояние подобно моему, тем не менее я могу представить себе таких людей, но чтобы вокруг их головы все время летал, как вокруг моей, незримый ворон, этого я себе даже и представить не могу.

Поразительно это систематическое саморазрушение в течение многих лет, оно было подобно медленно назревающему прорыву плотины — действие, полное умысла. Дух, который осуществил это, должен теперь праздновать победу; почему он не дает мне участвовать в празднике? Но может быть, он еще не довел до конца свой умысел и потому не может ни о чем другом думать.

18 октября. Вечное детство. Снова зов жизни.

Легко вообразить, что каждого окружает уготованное ему великолепие жизни во всей его полноте, но оно скрыто завесой, глубоко спрятано, невидимо, недоступно. Однако оно не злое, не враждебное, не глухое. Позови его заветным словом, оклихни истинным именем, и оно придет к тебе. Вот тайна волшебства — оно не творит, а вызывает.

19 октября. Сущность дороги через пустыню. Человек, сам себе народный предводитель, идет этой дорогой, последними остатками (большого не дано) сознания постигая происходящее. Всю жизнь ему чудится близость Ханаана; мысль о том, что землю эту он увидит лишь перед самой смертью, для него невероятна. Эта последняя надежда может иметь один только смысл — показать, сколь несовершенным мгновением является человеческая жизнь, несовершенным потому, что, длись она и бесконечно, она все равно всего лишь мгновение. Моисей не дошел до Ханаана не потому, что его жизнь была слишком короткой, а потому, что она человеческая жизнь. Конец Моисеева пятикнижия сходен с заключительной сценой «Education sentimentale».

Тому, кто при жизни не в силах справиться с жизнью, одна рука нужна, чтобы отбиваться от отчаяния, порожденного собственной судьбой, — что удастся ему плохо, — другой же рукой он может записывать то, что видит под руинами, ибо видит он иначе и больше, чем окружающие: он ведь мертвый при жизни и все же живой после катастрофы. Если только для борьбы с отчаянием ему нужны не обе руки и не больше, чем он имеет.

20 октября. После обеда Лангер, потом Макс читали вслух «Франци».

Сновидение, ненадолго во время судорожного, недолгого сна судорожно захватившее меня, наполнив безмерным счастьем. Сновидение широко разветвленное, с тысячами совершенно понятных связей — осталось лишь слабое воспоминание о чувстве счастья.

Мой брат совершил преступление, мне кажется — убий-

ство, я и другие замешаны в этом преступлении, наказание, развязка, избавление приближаются издалека, приближение мощно и неудержимо нарастает, это видно по многим признакам, моя сестра, кажется, все время возвещает эти признаки, которые я все время приветствую безумными выкриками, безумие возрастает вместе с приближением. Мне казалось, я никогда не смогу забыть своих отдельных выкриков, коротких фраз благодаря их ясности, теперь же ничего не могу точно вспомнить. Это могли быть только выкрики, ибо говорить мне было очень трудно, для того чтобы произнести слово, я должен был надуть щеки и одновременно скривить рот, как при зубной боли. Счастье заключалось в том, что наказание пришло и я свободно, убежденно и радостно приветствовал его,— картина эта умилила богов, и умиление богов тоже тронуло меня почти до слез.

21 октября. Он не мог позволить себе войти в дом, ибо слышал глас, повелевший ему: «Жди, пока я поведу тебя!» И так лежал он во прахе перед домом, хотя давно уже, наверное, не оставалось никакой надежды...

Всё фантазия — семья, служба, друзья, улица, всё фантазия, далекая или близкая, и жена — фантазия, ближайшая же правда только в том, что ты бьешься головой о стену камеры, в которой нет ни окон, ни дверей.

22 октября. Знаток, специалист, человек, знающий свое дело,— правда, знания эти никому нельзя передать, но, к счастью, они, кажется, никому и не нужны.

23 октября. После обеда. Фильм о Палестине.

25 октября. Вчера Эренштейн².

Родители играли в карты; я сидел один, совершенно чужой; отец сказал, чтобы я играл с ними или хотя бы смотрел, как играют; я нашел какую-то отговорку. Что означал этот многократно повторявшийся с детства отказ? Приглашения открывали мне доступ в общество, в известной мере к общественной жизни, с занятием, которого от меня как от участника требовали, я справился бы если не хорошо, то сносно, игра, наверное, даже и не слишком наводила бы

на меня скуку — и все-таки я отказывался. Если судить по этому, я не прав, жалуясь на то, что жизненный поток никогда не захватывал меня, никогда я не мог оторваться от Праги, никогда меня не заставляли заниматься спортом или каким-нибудь ремеслом и тому подобное, — я бы, наверное, всегда отклонял предложение, так же как приглашение к игре. Лишь бессмысленное было доступно — изучение права, канцелярия, потом бессмысленные добавления, например, работа в саду, столярничество и тому подобное; эти добавления подобны действиям человека, который выкидывает за дверь несчастного нищего и потом сам с собой играет в благодетеля, передавая милостыню из своей правой руки в свою же левую руку.

Но я всегда от всего отказывался, возможно, из-за общей слабости, в особенности же из-за слабости воли, только понял это я поздно. Раньше я считал этот отказ чаще всего хорошим признаком (обольщенный большими надеждами, которые я возлагал на себя), сегодня же от этой приятной точки зрения почти ничего не осталось.

29 октября. В один из ближайших вечеров я все же участвовал в игре, записывая для матери ее очки. Но сближения не получилось, а если и был намек на него, то он развеялся под давлением усталости, скуки, грусти по поводу потерянного времени. И так было бы всегда. Пограничную зону между одиночеством и общением я пересекал лишь крайне редко, в ней я обосновался даже более прочно, чем в самом одиночестве. Каким живым, прекрасным местом был по сравнению с этим остров Робинзона.

30 октября. После обеда в театре, Палленберг.

Мои внутренние возможности для (я не хочу сказать — изображения или написания «Скупого», а именно для) самого скупого. Нужно только быстрое, решительное движение — и весь оркестр зачарованно уставится туда, где над пультом капельмейстера должна подняться дирижерская палочка.

Чувство полной беспомощности.

Что связывает тебя с этими крепко осевшими, говорящи-

ми, остроглазыми телами теснее, чем с какой-нибудь вещью, скажем с ручкой для письма в твоей руке? Уж не то ли, что ты их породы? Но ты не их породы, потому-то ты и задался таким вопросом.

Эта четкая отграниченность человеческого тела ужасна.

Странная, непостижимая сила предотвращает гибель, молча направляет. Сам собой напрашивается абсурдный вывод: «Что касается меня, я давно бы погиб». Что касается меня.

1 ноября. «Козлиная песня» Верфеля.

Свободно повелевать миром, не повинуюсь его законам. Предписывать закон. Счастье быть послушным этому закону.

Однако невозможно предписать миру такой закон, при котором все оставалось бы по-прежнему и лишь новый законодатель был бы свободен. Это был бы не закон, а про-извол, смута, самоосуждение.

2 ноября. Шаткая надежда, шаткая вера.

Бесконечное хмурое воскресенье, поедающее целые годы, годами длящееся послеобеденное время. Попеременно в отчаянии бродил по пустынным улицам и успокоенный лежал на диване. Порой вызывали удивление почти непрерывно тянущиеся бесцветные, бессмысленные облака. «Тебя ждет великий понедельник!» Хорошо сказано, но воскресенье никогда не кончится.

3 ноября. Звонок по телефону.

7 ноября. Непреложная необходимость в самонаблюдении: если за мною кто-то наблюдает, я, естественно, тоже должен наблюдать за собой, если же никто другой не наблюдает за мною, тем внимательнее я должен наблюдать за собой сам.

Можно позавидовать легкости, с какой от меня может избавиться всякий, кто поссорится со мной или кому я стану безразличен или надоем (при условии, что дело не идет

о жизни; когда однажды казалось, что у Ф. дело идет о жизни, избавиться от меня было нелегко,— правда, я был молод и силен, и желания мои тоже были сильными).

1 декабря. После четырех посещений М. уедет, завтра уезжает. Четыре спокойных дня посреди дней мучительных. Как долог путь от мысли, что я не грущу по поводу ее отъезда, не грущу по-настоящему, до понимания, что ее отъезд все-таки вызывает во мне бесконечную грусть. Разумеется, грусть не самое страшное.

2 декабря. Писал письма в комнате родителей. Формы гибели невообразимы. Недавно представил себе, что малым ребенком я был побежден отцом и теперь из честолюбия не могу покинуть поле боя — в течение всех последующих лет, хотя меня побеждают снова и снова. Все время М. или не М., а принцип, свет во мраке.

6 декабря. Из одного письма: «Оно согревает меня в эту грустную зиму». Метафоры — одно из многого, что приводит меня в отчаяние, когда пишу.

Несамостоятельность писания, зависимость от служанки, топящей печь, от кошки, греющейся у печи, даже от бедного греющегося старика. Все это самостоятельные, осуществляющиеся по собственным законам действия, только писание беспомощно, существует не само по себе, оно — забава и отчаяние.

Двое детей, одни в доме, забрались в большой сундук, крышка захлопнулась, они не смогли открыть ее и задохнулись.

20 декабря. Много перестрадал в мыслях.

В испуге вскочил, вырванный из глубокого сна. Посреди комнаты за маленьким столом при свете свечи сидел чужой человек. Он сидел в полумраке, широкий и тяжелый, растегнутое зимнее пальто делало его еще более широким.

Получше продумать:

Умирающий Вильгельм Раабе³, которому жена гладит лоб, говорит: «Как хорошо».

Дедушка, смеющийся беззубым ртом при виде своего внука.

Разумеется, очень хорошо, если можешь спокойно написать: «Задохнуться — это невообразимо страшно». Ну конечно же, невообразимо, следовательно, опять-таки ничего не написано.

25 декабря. Снова сидел над «Náš Skautík»⁴.
«Иван Ильич»⁵.

1922

16 января. Последняя неделя была как катастрофа, катастрофа полная, подобная лишь той, что произошла однажды ночью два года назад, другой такой я больше не переживал. Казалось, всему конец, да и сейчас как будто бы ничего еще не изменилось. Это можно воспринять двояко, пожалуй, только так и можно это воспринимать.

Во-первых, бессилие, не в силах спать, не в силах бодрствовать, не в силах переносить жизнь, вернее, последовательность жизни. Часы идут вразнобой, внутренние мчатся вперед в дьявольском, или сатанинском, или, во всяком случае, нечеловеческом темпе, наружные, запинаясь, идут своим обычным ходом. Можно ли ожидать, чтобы эти два различных мира не разъединились, и они действительно разъединяются или по меньшей мере разрывают друг друга самым ужасающим образом. Стремительность хода внутренних часов может иметь различные причины, самая очевидная из них — самоанализ, который не дает отстояться ни одному представлению, гонит каждое из них наверх, чтобы потом его уже самого как представление гнал дальше новый самоанализ.

Во-вторых, исходная точка этой гонки — человечество. Одиночество, которое издавна частично мне навязали, частично я сам искал, — но и искал разве не по принуждению? — это одиночество теперь непреложно и беспредельно. Куда оно ведет? Оно может привести к безумию — и это, кажется, наиболее вероятно, — об этом нельзя больше говорить, погоня проходит через меня и разрывает на части. Но я могу — могу ли? — пусть в самой малой степе-



Последний портрет Кафки (1923/24)

ни и уцелеть, сделать так, чтобы погоня несла меня. Где я тогда окажусь? «Погоня» — лишь образ, можно также сказать «атака на последнюю земную границу», причем атака снизу, со стороны людей, и, поскольку это тоже лишь образ, можно заменить его образом атаки сверху, на меня.

Вся эта литература — атака на границу, и, не помешай тому сионизм, она легко могла бы превратиться в новое тайное учение, в кабалистику. Предпосылки к этому были. Конечно, здесь требуется что-то вроде непостижимого гения, который заново пустил бы свои корни в древние века или древние века заново сотворил бы, не растратив себя во всем этом, а только сейчас начав тратить себя.

17 января. Все то же.

18 января. Мгновение раздумий. Будь доволен, учись (учись, сорокалетний!) жить мгновением (ведь когда-то ты умел это). Да, мгновением, ужасным мгновением. Оно не

ужасно, только страх перед будущим делает его ужасным. И конечно, взгляд в прошлое. Что сделал ты с дарованным тебе полом? Не получилось, скажут в конце концов, и это все. Но ведь легко могло бы получиться. Конечно, исход решила мелочь, и притом незначительная. Что в этом особенного? Так бывало во время величайших битв мировой истории. Мелочи решали исход мелочей.

М. права: страх — это несчастье, но из этого не следует, что мужество — счастье, счастье — это бесстрашие, а не мужество, которое, возможно, требует больше, нежели силы (в моем классе, пожалуй, было только два еврея, обладавших мужеством, и оба еще в гимназии или вскоре после ее окончания застрелились), итак, не мужество, а бесстрашие, спокойное, с открытым взглядом, способное все вынести. Не принуждай себя ни к чему, но не будь несчастен из-за того, что ты не принуждаешь себя, или из-за того, что тебе приходится принуждать себя, когда нужно это делать. И если ты не принуждаешь себя, не избегай блудливо возможностей принуждения. Разумеется, так ясно это не бывает никогда, или нет — это всегда так ясно, например: мой пол гнетет меня, мучает днем и ночью, я должен преодолеть страх, и стыд, и даже грусть, чтобы удовлетворить его, с другой же стороны — несомненно, что я без страха, и стыда, и грусти сразу же воспользуюсь мимолетным и благосклонным случаем; тогда, значит, придется не преодолевать закон, страх и т. д. (но и не играть мыслями о преодолении), а пользоваться случаем (но не жаловаться, если он не предоставляется). Конечно, существует нечто среднее между «действием» и «случаем», а именно привлечение, подманивание «случая», к этой практике я прибегал, к сожалению, не только в таких делах, но и вообще. Исходя из «закона», против этого вряд ли что-нибудь возразишь, тем не менее «подманивание», в особенности если оно делается негодными средствами, подозрительно смахивает на «игру с мыслью о преодолении», и спокойного, открыто глядящего бесстрашия здесь нет и в помине. Как раз вопреки «буквальному» совпадению с «законом» в этом есть нечто отвратительное, нечто такое, чего непременно следует избегать. Но чтобы избегать этого, требуется усилие, а мне с собой не справиться.

19 января. Что означают вчерашние констатации сегодня? Они означают то же самое, что и вчера, они верны — вот только кровь сочится между большими камнями закона.

Бесконечное, глубокое, теплое, спасительное счастье — сидеть возле колыбели своего ребенка, напротив матери.

Здесь есть что-то и от чувства: теперь дело не в тебе, а ты только того и хочешь. Другое чувство у бездетного: все время дело в тебе, хочешь ты того или нет, в каждое мгновение, до самого конца, в каждое разрывающее нервы мгновение, все время дело в тебе, и все безрезультатно. Сизиф был холостяком.

Ничего дурного; раз ты переступил порог, все хорошо. Другой мир, и ты не обязан говорить.

Два вопроса¹:

По некоторым мелочам, называть которые мне стыдно, у меня сложилось впечатление, что последние посещения были хотя и, как всегда, милыми и беспечными, все же несколько утомленными, несколько натянутыми, как посещения больного. Правильно ли это впечатление?

Может быть, ты нашла в дневниках что-то, что решающим образом говорит против меня?

20 января. Немного спокойнее. Как необходимо это было. Но едва стало чуть спокойнее, как уже слишком спокойно. Словно я по-настоящему чувствую самого себя только тогда, когда невыносимо несчастен. Это, пожалуй, верно.

Схватили за воротник, протащили по улицам, бросили в дверь. Схематически это так и есть, в действительности существуют противодействующие силы, лишь на самую малость — малость, достаточную лишь для поддержания жизни и муки, — менее разнузданные, чем те, каким они противостоят. Я жертва тех и других.

Уж это «слишком спокойно». Словно для меня закрыты — прямо-таки физически, физически как следствие многолетних страданий (надежды! надежды!) — возможности спокойной творческой жизни, то есть творческой жизни

вообще, ибо состояние страдания для меня не что иное, как полное, закрытое в самом себе, закрытое по отношению ко всему на свете страдание, и ничто другое.

Торс: если смотреть сбоку, скользя взглядом вверх от края чулка, по колену, ляжке, бедру,— он принадлежит темнокожей женщине.

Тоска по земле? Не уверен. Земля порождает тоску, тоску беспредельную.

М. права в отношении меня: «Все прекрасно, но не для меня, и это справедливо». Справедливо, соглашаюсь я и делаю вид, что верю по крайней мере в это. А может быть, я и в это не верю? Я ведь, собственно говоря, не думаю о «справедливости», у жизни столько бесконечно сильных доводов, что в ней не остается места для справедливости и несправедливости. Как не сможешь ты рассуждать о справедливости и несправедливости в преисполненный отчаяния смертный час, так не сможешь ты рассуждать о них и в преисполненной отчаяния жизни. Достаточно уже и того, что стрелы точно подходят к ранам, нанесенным ими.

Напротив, у меня и в помине нет желания осудить все поколение в целом.

21 января. Еще не слишком спокойно. В театре при виде тюрьмы Флорестана внезапно раскрылась бездна. Всё: певцы, музыка, публика, соседи,— всё более отдаленно, чем бездна.

Насколько мне известно, такой тяжелой задачи не было ни у кого. Мне могут сказать: это вовсе не задача, это даже и не неразрешимая задача, это даже и не сама неразрешимость, это ничто, это даже меньше, чем надежда бесплодной женщины родить ребенка. И все-таки это тот воздух, которым я дышу, покуда мне суждено дышать.

Уснул после полуночи, проснулся в пять. Невероятное достижение, невероятное счастье, к тому же я еще полусонный. Но счастье было моим несчастьем, ибо тут же

пришла неотвратимая мысль: такого счастья ты не заслуживаешь, все боги мести обрушились на меня, я увидел их расшвырявшего Главенствующего, его пальцы страшно растопырены и грозят мне или с ужасающей силой бьют в цимбалы. Возбуждение этих двух часов, до семи утра, не только уничтожило результаты того, что дал сон, но и весь день заставило меня дрожать и беспокоиться.

Без предков, без супружества, без потомков, с неистовой жадной предков, супружества, потомков. Все протягивают мне руки: предки, супружество, потомки,— но слишком далеко от меня.

Для всего существует искусственный, жалкий заменитель: для предков, супружества, потомков. Его создают в судорогах и, если не погибают от этих судорог, гибнут из-за безотрадности заменителя.

22 января. Решение, принятое ночью.

Заметка относительно «Несчастья холостяка»² была пророческой, правда, пророческой при очень благоприятных предпосылках. Но сходство с дядей Р.³ поразительно еще и сверх того: оба тихие (я — менее), оба зависимы от родителей (я — больше), во вражде с отцом, любимы матерью (он к тому же обречен на страшную совместную жизнь с отцом; конечно, и отец обречен), оба застенчивы, сверхскромны (он — более), оба считаются благородными, хорошими людьми, что совсем неверно в отношении меня и, насколько мне известно, мало соответствует истине в отношении его (застенчивость, скромность, робость считаются благородными и хорошими качествами, потому что они слабо противодействуют собственным экспансивным порывам), оба вначале ипохондрики, а потом действительно больные, обоих, хотя они и бездельники, мир неплохо содержит (его, как меньшего бездельника, содержат гораздо хуже, насколько можно пока сравнивать), оба чиновники (он — лучший), у обоих наиоднообразнейшая жизнь, оба неразвивающиеся, до конца пребывают молодыми,— точнее, чем слово «молодыми», слово «законсервированными»,— оба близки к безумию, он, далекий от евреев, с неслыханным мужеством, с неслыханной отчаянностью (по которой можно судить, насколько велика угроза безумия) спасся в церкви,

до конца, насколько можно судить, его будут держать на длинной привязи, сам же он, кажется, уже многие годы ни на чем не держится. К его счастью или несчастью, разница в том, что он обладал меньшими, чем я, художественными способностями, следовательно, мог бы в юности выбрать лучшую дорогу, его не так разрывало на части, в том числе и тщеславие. Боролся ли он за женщин (с собою), я не знаю, в одном его рассказе, который я читал, можно найти подтверждение этому, кроме того, когда я был ребенком, о нем рассказывали что-то в этом духе. Я слишком мало знаю о нем, спрашивать же об этом я не решался. Впрочем, до сих пор я легкомысленно писал о нем как о живом. Неправда также, что он не был добрым, я никогда не замечал в нем и следа скупости, зависти, ненависти, жадности; для того же, чтобы самому помогать другим, он был слишком слаб. Он был бесконечно более невинным, чем я, здесь нельзя и сравнивать. В деталях он был карикатурой на меня, в главном же я карикатура на него.

23 января. Снова нахлынуло беспокойство. Откуда? От привычных мыслей, их быстро забываешь, а беспокойство они оставляют незабываемое. Мне легче вспомнить не мысли, а место, где они возникли, одна из них, например, пришла мне в голову на маленькой обсаженной дерном дорожке, идущей вдоль здания Старо-Новой синагоги. Беспокойство возникает также и в предчувствии хорошего состояния, которое время от времени приближается — робко и на почтительное расстояние. Беспокойство и из-за того, что ночное решение остается лишь решением. Беспокойство оттого, что жизнь моя до сих пор была маршем на месте, в лучшем случае развивалась подобно тому, как развивается дырявый, обреченный зуб. С моей стороны не было ни малейшей, хоть как-то оправдавшей себя попытки направить свою жизнь. Как и всякому другому человеку, мне как будто был дан центр окружности, и я, как всякий другой человек, должен был взять направление от центра и описать прекрасную окружность. Вместо этого я постоянно брал разбег к центру окружности и все время сразу же останавливался. (Примеры: рояль, скрипка, языки, германистика, антисионизм, сионизм, древнееврейский, садоводство, столярничанье, литература, попытки жениться, собственная кварта-

ра.) Середина воображаемого круга вся покрыта начинающимися радиусами, там нет больше места для новой попытки, «нет места» означает: возраст, слабость нервов, никакой попытки больше, означает: конец. Если же я когда-нибудь проходил по радиусу немножко дальше, чем обычно, например при изучении права или при помолвках, все оказывалось ровно на столько хуже, а не лучше, чем обычно.

Рассказал М. о ночи, неудовлетворительно. Симптомы отметить про себя, не жалуясь на симптомы, окупись в страдание.

Беспокойство сердца.

24 января. Счастье молодых и пожилых женатых мужчин — коллег по канцелярии. Мне оно недоступно, а будь и доступно мне, оно было бы невыносимо для меня, и тем не менее это единственное, чем я склонен был бы насытиться.

Медленье перед рождением. Если существует перемещение душ, то я еще не на самой нижней ступени. Моя жизнь — это медленье перед рождением.

Стойкость. Я не хочу развиваться определенным образом, я хочу в другое место, в действительности это то самое «стремление-к-другой-звезде», но мне было бы достаточно стоять вплотную около самого себя, мне было бы достаточно, если бы место, на котором я стою, я мог воспринимать как другое место.

Все развивалось просто. Когда я был еще доволен, я хотел быть недовольным и всеми средствами, которые предоставлялись мне временем и традициями, загонял себя в недовольство, но хотел иметь возможность возврата. Итак, я всегда был недоволен, в том числе и своим довольством. Характерно, что при достаточной последовательности комедию всегда можно претворить в действительность. Мой духовный упадок начался с детской, правда по-детски сознательной, игры. Например, я заставлял лицевые мускулы искусственно подергиваться, шел со скрещенными на затылке руками по Грабену. Детская отвратительная, но успешная игра. (Нечто

подобное было и с развитием сочинительства, но развитие это, к сожалению, потом застопорилось.) Раз возможно таким способом насильно навлечь на себя несчастье, значит, все можно насильственно привлечь. Как бы ни казалось, что весь ход моего развития опровергает мое рассуждение, и как бы такая мысль вообще ни противоречила моему существу, я никак не могу признать, что первые начала моего несчастья были внутренне необходимы, а если даже и была в них необходимость, то не внутренняя, они налетали, как мухи, и, как мух, их легко было прогнать.

Окажись я на другом берегу, несчастье было бы столь же большим, а возможно, и бóльшим (вследствие моей слабости), я ведь уже знаю это по опыту, рычаг еще слегка вибрирует с тех пор, как я в последний раз переставил его, но зачем же я увеличиваю несчастье, стремясь попасть на другой берег, когда нахожусь на этом берегу.

Грустен по определенной причине. Зависим от нее. Вечно в опасности. Безысходность. Как легко было в первый раз, как трудно сейчас. Как беспомощно глядит на меня деспот: «Так вот куда ты меня ведешь?» И так, несмотря на все, покоя нет; пополудни хороню утреннюю надежду. При такой жизни невозможно удовлетвориться любовью, еще не было, наверное, человека, которому удалось бы это. Когда другие люди достигали этого предела — а тот, кто дошел до него, уже достаточно жалок,— они поворачивали обратно, я же не могу этого сделать. Мне даже кажется, будто я и не шел к нему, а уже малым ребенком меня притащили туда и привязали цепями, лишь сознание несчастья пробуждалось постепенно, само же несчастье уже существовало, нужен был только пронизательный, даже не пророческий, взгляд, чтобы увидеть его.

Утром я думал: «Таким образом ты, наверное, сможешь жить, только оберегай теперь эту жизнь от женщин». Оберегай ее от женщин, но в этом «таким образом» они уже заключены.

Сказать, что ты покинула меня, было бы очень несправедливо, но то, что я покинут, порой страшно покинут,— это правда.

«Решение» тоже дает право безгранично отчаиваться в связи с моим положением.

27 января. Шпидлермюле. Надо не зависеть от помноженных на собственную неловкость злоключений вроде парных саней, поломанного чемодана, шаткого стола, скверного освещения, невозможности послеобеденного отдыха в гостинице и тому подобного. Независимости не добьешься, если не обращать на это внимания, но не обращать на это внимания нельзя, независимости можно добиться только привлечением новых сил. Правда, здесь случаются неожиданности, с этим должен согласиться самый отчаявшийся человек; бывает, из ничто появляется нечто, из заброшенного свиарника вылезает кучер с лошадьми⁴.

Пока катались на санях, у меня все время убывали силы. Жизнь не сделаешь так, как гимнаст стойку на руках.

Странное, таинственное, может быть, опасное, может быть, спасительное утешение, которое дает писание: оно позволяет вырваться из рядов убийц, постоянно наблюдать за действием. Это наблюдение за действием должно породить наблюдение более высокого свойства, более высокого, но не более острого, и, чем выше оно, тем недоступней для «рядов», тем независимей, тем неуклоннее следует оно собственным законам движения и тем неожиданней, радостней и успешней его путь.

Несмотря на то что я четко написал свое имя в гостинице, несмотря на то что и они уже дважды правильно написали его, внизу на доске все-таки написано «Иосиф К.». Просветить мне их или самому у них просветиться?

28 января. Немного оглушен, устал от катания с гор на санках, есть еще на свете приспособления, ими редко пользуются, я с трудом обращаюсь с ними, потому что мне неведома радость, доставляемая ими, в детстве я не учился ей. Я не учился ей не только «по вине отца», но и потому, что хотел разрушить «покой», нарушить равновесие, и поэтому незачем позволять кому-то родиться, чтобы

затем пытаться его угробить. Правда, к «вине» мне все равно надо обратиться, ибо почему я хотел уйти из мира? Потому что «он» не позволял мне жить в мире, в его мире. Конечно, теперь мне не следует так определенно судить об этом, ибо теперь я уже гражданин другого мира, который так же относится к обычному миру, как пустыня к плодородному краю (я сорок лет назад покинул Ханаан), я смотрю назад, как иноземец, правда, я и в том, другом мире самый маленький и самый робкий — это свойство я принес с собой как отцовское наследство,— я и в нем жизнеспособен только благодаря особому тамошнему порядку, допускающему молниеносные взлеты даже маленьких людей, но, правда, и тысячеletние штормовые разрушения. Разве я не должен, несмотря ни на что, быть благодарен? Разве я не должен был искать пути сюда? Если бы я был «изгнан» оттуда, а сюда бы меня не пустили, разве не был бы я раздавлен на границе? Разве не властью отца изгнание стало таким неотвратимым, что ничто не могло противостоять ему (не мне?)? Правда, это подобно возвращению в пустыню с беспрепятственными приближениями к ней и детскими надеждами (особенно в отношении женщин): «Я все же, может быть, останусь в Ханаане», а тем временем я уже давно в пустыне, и все это лишь видения, порожденные отчаянием, в особенности тогда, когда я и там был самым жалким из всех и Ханаан должен был представляться единственной страной надежд, ибо третьей страны людям не дано.

29 января. Вечером на заснеженной дороге приступы. Все представления смешиваются — примерно так: мое положение в этом мире ужасно, здесь, в Шпидлермюле, я один, на заброшенной дороге, где в темноте на снегу то и дело поскользывается, да и дорога эта бессмысленна, не ведет ни к какой земной цели (к мосту)? Почему именно туда? К тому же я и не дошел до него), и в местечке я покинут (рассчитывать на личную человеческую помощь врача не могу, я ничем ее не заслужил, в сущности, у меня только гонорарные отношения с ним), не способен с кем-нибудь познакомиться, не способен вынести знакомства, бесконечное удивление вызывает у меня и какое-нибудь веселое общество (правда, здесь, в гостини-

це, не много веселого, я не хочу заходить так далеко и утверждать, будто причиной тому являюсь я, скажем как «человек со слишком большой тенью», но тень, которую я отбрасываю в этом мире, действительно слишком велика, и я снова и снова удивляюсь, когда вижу упорство иных людей, желающих тем не менее, «несмотря ни на что», жить даже в этой тени, именно в ней; но здесь добавляется еще кое-что, о чем еще следует поговорить), и даже родители с их детьми,— не только здесь я так покинут, я покинут вообще, также и в Праге, на моей «родине», и покинули меня не люди, это было бы еще не самое ужасное, я мог бы, пока жив, бежать вслед за ними, но я сам покинул себя, оборвав связь с людьми, мои силы поддерживать связь с людьми покинули меня, я расположен к любящим, но я не могу любить, я слишком далек от всех, я изгнан, у меня есть — поскольку я человек, а корни требуют питания — также и там «внизу» (или наверху) мои ходатаи, жалкие бездарные комедианты, которые лишь потому могут удовлетворить меня (конечно, они меня совсем не удовлетворяют, и потому я так покинут), что главное питание мне дают другие корни, другой воздух, эти корни тоже жалкие, но все же более жизнеспособные.

Так смешиваются представления. Будь все именно так, как то может показаться на заснеженной дороге, это было бы ужасно, тогда я погиб бы — это надо понимать не как надвигающуюся угрозу, а как немедленную казнь. Но я совсем в другом мире, однако притягательная сила мира человеческого столь огромна, что в одно мгновение она может заставить обо всем забыть. Но притягательная сила и моего мира тоже велика, те, что любят меня, любят меня потому, что я «покинутый», но все же, может быть, не как вакуум Вайсса, а потому, что они чувствуют, что в счастливые времена я в этом своем мире обретаю свободу движения, которой здесь начисто лишен.

Было бы ужасно, если б, например, сюда неожиданно приехала М. Правда, внешне мое положение сразу же стало бы сравнительно блестящим. Меня стали бы почитать как человека среди людей, я услышал бы не одни только официальные слова, я сидел бы (конечно, менее прямо,

чем сейчас, поскольку я сижу один, да и сейчас я сижу изнеможенно) за столом среди общества актеров, социально я внешне стал бы почти равен доктору Х., — но я был бы низвержен в мир, в котором не могу жить. Остается лишь разрешить загадку, почему в Мариенбаде я был счастлив четырнадцать дней кряду и почему я, может быть, и здесь был бы с М. счастлив, правда, после мучительнейшего прорыва границы. Но это, пожалуй, было бы еще труднее, чем в Мариенбаде, образ мыслей стал прочнее, опыт — бóльшим. То, что раньше было разделяющей полосой, теперь стало стеной, или горой, или, вернее: могилой.

30 января. Жду воспаления легких. Страх не столько перед болезнью, сколько за мать и перед матерью, перед отцом, перед директором и всеми другими. Вот где становится очевидным, что существуют два мира и что перед лицом болезни я так же невежествен, так же беспомощен, так же робок, как перед обер-кельнером. В остальном разделение кажется мне чересчур определенным, в своей определенности опасным, грустным и чрезмерно властным. Разве я живу в другом мире? Как могу я осмелиться сказать это?

Иногда говорят: «На что мне жизнь? Я не хочу умирать только ради семьи», но ведь семья и есть представительница жизни, стало быть, жить хотят все-таки ради жизни. Ну, что касается матери, это, кажется, относится и ко мне, но лишь в последнее время. Но не благодарность ли и растроганность привели меня к этому? Благодарность и растроганность, потому что я вижу, с какой беспредельной для ее возраста силой она старается восстановить мои порванные связи с жизнью. Но благодарность тоже есть жизнь.

31 января. Это означало бы, что я живу ради матери. Но это не может быть верным, ибо, даже если бы я был чем-то бесконечно бóльшим, чем я есть, я был бы все равно лишь посланцем жизни, пусть и ничем иным не связанным с нею, кроме как этим предначертанием.

Одного лишь негативного, каким бы сильным оно ни было, не может быть достаточно, как я думал в свои самые несчастливые времена. Ибо, как только я взбирался

на самую маленькую ступень, оказывался в какой-нибудь, пусть даже самой сомнительной, безопасности, я ложился и ждал, пока негативное не то что взберется за мной, а сорвет меня с малой ступени. Это своего рода оборонительный инстинкт, который не терпит во мне ни малейшего чувства длительной успокоенности и, например, разрушает супружеское ложе, прежде чем оно построено.

1 февраля. Ничего, только усталость. Счастье ломового извозчика, который каждым вечером наслаждается так, как я сегодняшним, или еще больше. Например, вечером, лежа на печи. Человек чище, чем утром, время перед усталым засыпанием — это время настоящей свободы от призраков, все они изгнаны, лишь с продолжением ночи они возвращаются, к утру они уже все снова здесь, хотя и незримы, и вот здоровый человек снова принимается за их ежедневное изгнание.

С примитивной точки зрения настоящая, неопровержимая, решительно ничем (мученичеством, самопожертвованием ради другого человека) не искажаемая извне истина — только физическая боль. Странно, что главным богом в первых религиях не был бог боли (возможно, он стал им лишь в более поздних). Каждому больному — своего домашнего бога, легочному больному — бога удушья. Как можно вынести его приближение, если не быть с ним связанным еще до страшного соединения?

2 февраля. Борьба утром по дороге в Танненштейн, борьба при наблюдении за состязаниями по прыжкам на лыжах с трамплина. На маленького веселого Б. при всей его безобидности все же как бы отбрасывают тень мои призраки, по крайней мере так я вижу его, в особенности эту выставленную вперед ногу в сером скатанном чулке, бессмысленно блуждающий взгляд, бессмысленные слова. Мне приходит в голову — но это уже натяжка, — что он хочет вечером проводить меня домой.

«Борьба» при изучении ремесла, наверное, была бы ужасной.

Достигнутый «борьбой» возможный предел негативного приближает разрешение вопроса: сохранить себя или погибнуть в безумии.

Какое счастье быть вместе с людьми!

3 февраля. Бессонница, почти сплошная; измучен сновидениями, словно их выцарапывают на мне, как на неподдающемся материале.

Слабость, бессилие очевидны, но описать эту смесь робости, сдержанности, болтливости, безразличия трудно, я хочу описать нечто определенное, ряд слабостей, которые в известном смысле представляют собой одну, поддающуюся точному определению слабость (она ничего общего не имеет с большими пороками, с такими, как лживость, тщеславие и т. д.). Эта слабость удерживает меня как от безумия, так и от любого взлета. За то, что она удерживает меня от безумия, я лелею ее; из страха перед безумием я жертвую взлетом, и, конечно же, в этой сделке, заключенной в области, никаких сделок не допускающей, я останусь в проигрыше. Если только не вмешается сонливость и своей отнимающей дни и ночи работой не разрушит все препятствия и не расчистит дорогу. Но тогда я опять отдамся во власть безумия, потому что я подавил в себе желание взлета, а взлет возможен только при желании взлететь.

4 февраля. Объят отчаянным холодом, измененное лицо, загадочные люди.

М. сказала, сама не вполне понимая (существует ведь и обоснованное печальное высокомерие) правду этих слов, о счастье, которое доставляет беседа с людьми. Но кого еще может так, как меня, порадовать беседа с людьми! Возвращаюсь к людям, вероятно, слишком поздно и странными обходными путями.

5 февраля. Спаситесь от них. Каким-нибудь ловким прыжком. Сидеть дома, в тихой комнате, при свете лампы. Говорить об этом — неосторожно. Это вызовет их из лесов —

все равно что зажечь лампу, чтобы помочь напасть на след.

6 февраля. С утешением слушал рассказ о том, как кто-то служил в Париже, Брюсселе, Лондоне, Ливерпуле, на бразильском пароходе, дошедшем по Амазонке до границы Перу, во время войны сравнительно легко перенес страшные страдания зимней кампании в семи общинах, потому что он с детства привык к лишениям. Утешительна не только демонстрация таких возможностей, но и чувство наслаждения, что при успехах на первом уровне жизни одновременно завоевываешь многое, многое вырываешь из судорожно сжатых кулаков и на втором уровне. Значит, это возможно.

7 февраля. Защищен и истощен усилиями К. и Х.

8 февраля. В высшей степени издерган, но все-таки жить так я действительно не смог бы, и это не жизнь, это подобно перетягиванию каната; другой при этом беспрерывно работает и побеждает и все же никогда не перетягивает меня к себе, но все-таки это спокойное отупение, подобно тому как было с В.

9 февраля. Потерял два дня, но те же два дня использовал для того, чтобы укорениться.

10 февраля. Без сна, лишенный малейшей связи с людьми, кроме той, которую они устанавливают сами и в возможность которой я на миг начинаю верить, как и во все, что они делают.

Новая атака со стороны Г. Совершенно ясно, яснее чем что бы то ни было, что когда меня слева и справа атакуют могущественные враги, я не могу уклониться ни вправо, ни влево — только вперед, голодное животное, там дорога к годной для тебя пище, к чистому воздуху, к свободной жизни, будь то даже по ту сторону жизни. Ты ведешь за собой толпы, огромный, великий полководец, поведи же отчаявшихся через покрытые снегом, никому

другому не видные горные перевалы. Но кто даст тебе силы?

Полководец стоял у окна разрушенной хибары и широко раскрытыми немигающими глазами смотрел на ряды шагавших мимо в снегу и тусклом лунном свете войск. Время от времени ему казалось, что какой-нибудь солдат выходил из колонны, останавливался у окна, прижимал лицо к стеклу, бросал беглый взгляд на него и шел дальше. Хотя каждый раз это был другой солдат, ему казалось, что это один и тот же, одно и то же скуластое лицо с толстыми щеками, круглыми глазами, обветренной желтоватой кожей и что каждый раз, проходя, он поправлял амуницию, передергивал плечами и перебирал ногами, чтобы снова попасть в такт с шагавшей на заднем плане колонной. Раздраженный этой игрой, полководец подкараулил очередного солдата, распахнул перед ним окно и схватил его за грудь. «А ну-ка, влезай сюда,— велел он ему забраться через окно. В комнате он загнал его в угол, встал перед ним и спросил: — Кто ты такой?» — «Я никто»,— испуганно ответил солдат. «Так я и думал,— сказал полководец.— Зачем ты заглядывал в окно?» — «Хотел посмотреть, здесь ли ты еще».

12 февраля. Меня всегда отталкивала не та женщина, что говорила: «Я не люблю тебя», а та, что говорила: «Ты не можешь меня любить, как бы ты того ни хотел, ты, на свою беду, любишь любовь ко мне, любовь ко мне не любит тебя». Поэтому неправильно говорить, будто я познал слова «я люблю тебя», я познал лишь тишину ожидания, которую должны были нарушить мои слова «я люблю тебя», только это я познал, ничего другого.

Страх при катании на санках с гор, испуг, когда надо было пройти по скользкому снегу, короткий рассказ, прочитанный мною сегодня, снова вызвали мысль — она давно не приходила в голову, но всегда лежала на поверхности,— не является ли безумное своекорыстие, страх за себя, причем страх не за высокое «я», а страх за самое обыденное благополучие, причиной моей гибели,— так, словно я сам вызвал из глубины моего существа мстителя (своеобразное:

«правая-рука-не-ведает-что-делает-левая»). В канцелярии все еще надеются, что моя жизнь начнется лишь завтра, между тем я у последней черты.

13 февраля. Возможность служить во всю силу.

14 февраля. Власть удобства надо мной, мое бессилие, когда я лишен его. Я не знаю никого, у кого и то и другое было бы столь сильно развито. Вследствие этого все, что я строю, ненадежно, непрочное, служанка, забывшая принести мне утром теплую воду, опрокидывает весь мой мир. При этом стремление к удобствам преследует меня с давних пор и не только отняло у меня силы переносить что-либо иное, но и силы создавать удобства, они сами создаются вокруг меня, или же я добиваюсь их мольбами, слезами, отказом от более важного.

15 февраля. Немножко пеняя внизу, немножко хлопанья дверью в коридоре — и все потеряно.

16 февраля. История о трещине в леднике.

18 февраля. Театральный директор, которому приходится создавать все самому, даже актеров. К нему не допускают посетителя — директор занят важными театральными делами. Какими? Меняет пеленки будущему артисту.

19 февраля. Надежды?

20 февраля. Незаметная жизнь. Заметная неудача.

25 февраля. Письмо.

26 февраля. Я согласен,— с кем согласен? с письмом? — что во мне есть возможности, явные возможности, которых я еще не знаю; но как найти дорогу к ним и, найдя ее, отважиться! То, что возможности существуют, значит очень многое, это значит даже, что подлец может стать честным человеком, счастливым своей честностью человеком.

Фантазии твоего полусна последнего времени.

27 февраля. Плохо спал после обеда, все изменилось, беда снова навалилась на меня.

28 февраля. Вид на башню и синее небо. Умиротворяет.

1 марта. «Ричард III». Обморок.

5 марта. Три дня в постели. Небольшое общество у постели. Поворот. Бегство. Полное поражение. Вечно запертая в комнатах мировая история.

6 марта. Снова серьезен и снова устал.

7 марта. Вчера был ужаснейший вечер, казалось, пришел конец.

9 марта. То была лишь усталость, но сегодня новый приступ, вызвавший испарину на лбу. Что, если сам собой задохнешься? Если из-за настойчивого самонаблюдения отверстие, через которое ты впадаешь в мир, станет слишком маленьким или совсем закроется? Временами я совсем недалеко от этого. Текущая вслять река. В основном это происходит уже давно.

Отнять коня у атакующего и самому на нем поскакать. Единственная возможность. Но сколько сил и ловкости это требует! И как уже поздно!

Жизнь кустарника. Завидую счастливой, неистощимой и все же явно по необходимости (совсем как я) работающей, но всегда выполняющей все требования противника природе. И так легко, так музыкально.

Раньше, если у меня что-то болело и боль проходила, я был счастлив, теперь я испытываю лишь облегчение и горькое чувство: «Опять всего лишь здоров, не более того».

Где-то ждет помощь, и погонщики направляют меня туда.

13 марта. Чистое чувство и ясное понимание его источника. Вид детей, особенно одной девочки (прямая походка, короткие черные волосы) и другой (светловолосая, неопределенные черты, неопределенная улыбка), бодрящая музыка, маршевый шаг. Чувство человека в беде, который, когда приходит помощь, радуется не тому, что спасен — он вовсе не спасен, — а тому, что пришли новые молодые люди, надежные, готовые вступить в бой, правда не ведающие, что им предстоит, но их неведение вызывает у того, кто смотрит на них, не чувство безнадежности, а восхищение, радость, слезы. К этому примешивается и ненависть к тем, с кем предстоит бой...

15 марта. Возражения, взятые из книги: популяризация, причем сделанная с увлечением и — волшебством. Как он обходит опасности (Блюер).

Спастись бегством в завоеванную страну и вскоре счесть ее невыносимой, ибо спастись бегством нельзя нигде.

Еще не родиться — и уже быть обреченным ходить по улицам и разговаривать с людьми.

20 марта. Разговор за ужином об убийце и казни. Никакой страх неведом спокойно дышащей груди. Неведома разница между совершенным и задуманным убийством.

22 марта. После обеда. Сон про опухоль на щеке. Постоянно вибрирующая граница между обычной жизнью и кажущимся более истинным ужасом.

24 марта. Как он подстерегает меня! Например, по дороге к врачу, часто именно там.

29 марта. В потоке.

4 апреля. Как длинна дорога от внутренней беды до сцены, подобной той, что разыгралась во дворе, и как короток обратный путь. И поскольку находишься на родине, уже никуда не денешься.



Портрет Милены

6 апреля. Уже два дня предчувствие, вчера приступ, дальнейшее преследование, великая сила врага. Один из поводов: разговор с матерью, шутки по поводу будущего. Запланированное письмо к Милене.

Три эринии. Бегство в рощу. Милена.

7 апреля. Две картины и две терракоты на выставке.

Сказочная принцесса (Кубин⁵), обнаженная, на диване, смотрит в открытое окно, пейзаж словно входит в комнату в манере пленэра, как на картине Швинда.

Обнаженная девушка (Брудер) немецко-богемского типа, в своей, только ей присущей грации покоящаяся в объятиях возлюбленного, — благородно, убедительно, обольстительно.

Пич: крестьянская девушка сидит свесив ногу, ступня чуть повернута, наслаждается отдыхом; стоящая девушка, ее правая рука лежит на животе, обхватив тело, левая рука подпирает подбородок, плосконосое, простодушно-глубокомысленное, неповторимое лицо.

Письмо от Шторма.

10 апреля. Пять лозунгов для ада (в генетической последовательности):

1. «За окном самое страшное». Все остальное — ангело-подобно, с этим прямо или, при несогласии (что случается чаще), молчаливо соглашаются.

2. «Ты должен обладать каждой девушкой!» — не по-донжуански, а, по слову черта, согласно «сексуальному этикету».

3. «Этой девушкой ты не смеешь обладать!» — и потому и не можешь. Небесная *Fata Morgana* в аду.

4. «Все это — лишь естественная потребность»; так как у тебя она есть, будь доволен.

5. «Естественная потребность — это все». Как можешь ты иметь все? Потому у тебя нет даже естественной потребности.

Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном отношении (и очень долго оставался бы таким, если бы меня насильно не толкнули в область сексуального), как сегодня, скажем, в отношении теории относительности. Меня удивляли только мелочи (и то лишь после должного обучения), например, что именно те женщины, которые на улице казались мне самыми красивыми и самыми нарядными, непременно должны быть дурными.

Вечная молодость невозможна; не будь даже другого препятствия, самонаблюдение сделало бы ее невозможной.

13 апреля. Страдание Макса. Перед полуднем в его конторе.

Пополудни перед церковью (пасхальное воскресенье).

Невысокая девушка — восемнадцати лет, нос, форма головы, светловолосая, мельком видел профиль — выходила из церкви.

16 апреля. Страдание Макса. Прогулка с ним. Во вторник он уезжает.

27 апреля. Вчера девушка из «Маккаби»⁶ в редакции «Самозащиты» говорит по телефону: «*Přišla jsem ti rotnost*»*. Чистые, нежные голос и речь.

* Я пришла тебе помочь (*чешск.*).

Вскоре после этого открыл дверь М.

8 мая. Работа с плугом. Он глубоко врезается в землю и тем не менее идет легко. Или он только царапает землю. Или идет вхолостую с поднятым никчемным лемехом, с ним или без него — все равно.

Работа закрывается, как может закрыться нелеченая рана.

Разве это значит вести разговор, если один молчит, и, чтобы поддержать видимость разговора, его пытаются заменить, то есть подражают ему, то есть пародируют его, то есть пародируют сами себя.

М. была здесь, больше не придет, вероятно, это умно и правильно, и все же, наверное, есть еще возможность, запертую дверь которой мы оба охраняем, чтобы она не открылась, или, вернее, чтобы мы не открыли ее, ибо сама она не откроется.

12 мая. «Проповедник»⁷. Бесперывное разнообразие и вдруг среди него на миг ослабевшее умение создавать вариации — это трогательно.

Из «Паломника Каманиты»⁸: «О дорогой, подобно тому, как человек, которого привезли с завязанными глазами из страны гандхаров и затем отпустили в пустыне, и его заносило на восток, или север, или юг, ибо он был привезен с завязанными глазами и с завязанными глазами был отпущен; но после того, как кто-то снял с его глаз повязку и сказал ему: «Вон там живут гандхары, туда иди», и он, идя от селения к селению и спрашивая дорогу, наученный и вразумленный, добрался до родных гандхаров,— это тоже человек, который нашел на земле сей учителя и понял: к этой мирской суете я лишь до тех пор буду причастен, пока не найду спасения, и тогда я вернусь домой».

Оттуда же: «Пока он во плоти, его видят люди и боги, но когда плоть его разрушает смерть, его не видят больше ни люди, ни боги. И даже природа, за всем следящая при-

рода не видит его больше: ослепил он глаз природы, бежал от нее, от злой».

19 мая. Вдвоем он чувствует себя более покинутым, чем один. Если он с кем-нибудь вдвоем, этот второй хватает и крепко держит его, беспомощного, в своих руках. Если он один, его хватает, правда, все человечество, но бесчисленные вытянутые руки запутываются одна в другой, и никто его не настигает.

20 мая. Масоны на Альтштедтер-ринг. Возможно, что всякая речь и учение истинны.

Маленькая, грязная, босоногая девочка бежит в коротком платьице, с развевающимися волосами.

23 мая. Неправильно, когда говорят о ком-нибудь: ему хорошо, он мало страдал; правильное было бы: он был таким, что с ним ничего не могло случиться; самое правильное: он все перенес, но все в один-единственный момент; как могло с ним что-нибудь еще случиться, если вариации страдания в действительности или благодаря его могущественному слову полностью были исчерпаны.

5 июня. Похороны Мыслбека⁹.

Талант к «штопке».

[...]

23 июня. Планá¹⁰.

27 июля. Приступы. Вчера вечером прогулка с собакой. Tvrz Sedlec*. Вишневая аллея у опушки леса, своей укромностью подобная комнате. Мужчина и женщина возвращаются с поля. Девушка в дверях конюшни в заброшенном дворе, словно борющаяся со своими большими грудями, невинно-внимательный звериный взгляд. Мужчина в очках везет тяжело нагруженную тележку с кормом, пожилой, немного горбатый, тем не менее держащийся

* Крепость Седлец (чешск.).

из-за напряжения очень прямо, высокие сапоги, женщина с серпом, рядом с ним и позади него.

26 сентября. Два месяца ничего не записывал. С перерывами хорошее время, которым я обязан Оттле. В последние дни снова крушение. В первый его день сделал в лесу своего рода открытие.

14 ноября. Вечером все время t° 37,6—37,7. Сижу за письменным столом, ничего не получается, почти не выхожу на улицу. Тем не менее это тартюфство — жаловаться на болезнь.

18 декабря. Все время в постели. Вчера «Или — или»¹¹.

1923

12 июня. Ужасы последнего времени, неисчислимы, почти непрерывные. Прогулки, ночи, дни, не способен ни на что, кроме боли.

И все-таки. Никакого «и все-таки», как бы испуганно и напряженно ты ни смотрела на меня, Крижановская, с открытки, стоящей предо мной.

Все более боязлив при писании. Это понятно. Каждое слово, повернутое рукою духов — этот взмах руки является их характерным движением, — становится копьем, обращенным против говорящего. Особенно такого рода замечания. И так до бесконечности. Одно только утешение: это случится, хочешь ты или нет. А если ты и хочешь, это поможет лишь совсем немного. Но вот что больше чем утешение: ты тоже имеешь оружие.

Письмо отцу

Дорогой отец,

Ты недавно спросил меня, почему я утверждаю, что боюсь Тебя. Как обычно, я ничего не смог Тебе ответить, отчасти именно из страха перед Тобой, отчасти потому, что для объяснения этого страха требуется слишком много подробностей, чтобы можно было привести их в разговоре. И если я сейчас пытаюсь ответить Тебе письменно, то ответ все равно будет лишь очень неполным, потому что и тогда, когда я пишу, мне мешает страх перед Тобой и его последствия и потому что объем материала намного превосходит возможности моей памяти и моего рассудка.

Тебе дело всегда представлялось очень простым, по крайней мере так Ты говорил об этом мне и — без разбора — многим другим. Тебе все представлялось примерно так: всю свою жизнь Ты тяжело трудился, все жертвовал детям, и прежде всего мне, благодаря чему я «жил припеваючи», располагал полной свободой изучать что хотел, не имел никаких забот о пропитании, а значит, и вообще забот; Ты требовал за это не благодарности — Ты хорошо знаешь цену «благодарности детей», — но по крайней мере хоть признака понимания и сочувствия; вместо этого я с давних пор прятался от Тебя — в свою комнату, в книги, в сумасбродные идеи, у полоумных друзей; я никогда не говорил с Тобой откровенно, в храм к Тебе не ходил, в Франценсбаде никогда Тебя не навещал и вообще никогда не проявлял родственных чувств, не интересовался магазином и остальными Твоими делами, навязал Тебе фабрику и потом покинул Тебя, поддерживал Оттлу в ее упрямстве, и в то время как для Тебя я и пальцем не пошевелил (даже ни разу не принес Тебе билета в театр), я для друзей делаю все. Если Ты подытожишь свои суждения обо мне, то окажется, что Ты упрекаешь меня не в прямой непорядочности или зле (за исключением, может быть,

моего последнего плана женитьбы¹), но в холодности, отчужденности, неблагодарности. Причем упрекаешь Ты меня таким образом, словно во всем этом виноват я, словно одним поворотом руля я мог бы все направить по другому пути, в то время как за Тобой нет ни малейшей вины, разве только та, что Ты был слишком добр ко мне.

Это Твое обычное изображение я считаю верным лишь постольку, поскольку тоже думаю, что Ты совершенно неповинен в нашем отчуждении. Но так же совершенно неповинен в нем и я. Сумей я убедить Тебя в этом, тогда возникла бы возможность — нет, не новой жизни, для этого мы оба слишком стары — хоть какого-то мира, и пусть Твои беспрестанные упреки не прекратились бы, но стали бы мягче.

Как ни странно, Ты в какой-то мере предчувствуешь, что я хочу тебе сказать. Так, например, Ты недавно сказал мне: «Я всегда любил тебя, хотя внешне не обращался с тобой так, как другие отцы, но это потому, что я не умею притворяться, как другие». Ну, в общем-то, отец, я никогда не сомневался в Твоем добром ко мне отношении, но эти Твои слова я считаю неверными. Ты не умеешь притворяться, это верно, но лишь на этом основании утверждать, что другие отцы притворяются, значит или проявить не вменяющую никаким доводам нетерпимость, или — что, по моему мнению, соответствует действительности — косвенно признать, что между нами что-то не в порядке и повинен в этом не только я, но и Ты, хотя и невольно. Если Ты действительно так считаешь, тогда мы единодушны.

Я, разумеется, не говорю, что стал таким, какой я есть, только из-за Твоего воздействия. Это было бы сильным преувеличением (и у меня даже есть склонность к такому преувеличению). Вполне возможно, что вырасти я совершенно свободным от Твоего влияния, я тем не менее не смог бы стать человеком, который был бы Тебе по нраву. Я, наверное, все равно был бы слабым, робким, нерешительным, беспокойным человеком, не похожим ни на Роберта Кафку, ни на Карла Германа², но все же другим, не таким, какой я есть, и мы могли бы отлично ладить друг с другом. Я был бы счастлив, если бы Ты был моим другом, шефом, дядей, дедушкой, даже (но тут уже у несколько колеблюсь) тестем. Но именно как отец Ты был

слишком сильным для меня, в особенности потому, что мои братья умерли маленькими, сестры родились намного позже меня, и, таким образом, мне пришлось выдержать первый натиск одному, а для этого я был слишком слабым.

Сравни нас обоих: я, говоря очень кратко, — Лёви³ с определенной кафковской закваской, но подвижный не кафковской волей к жизни, деятельности, завоеванию, а присущими всем Лёви побуждениями, проявляющимися украдкой, робко, в другом направлении и часто вообще пропадающими. Ты же, напротив, истинный Кафка по силе, здоровью, аппетиту, громкоголосию, красноречию, самодовольству, чувству превосходства над всеми, выносливости, присутствию духа, знанию людей, известной широте натуры — разумеется, со всеми свойственными этим достоинствам ошибками и слабостями, к которым Тебя приводит Твой темперамент и иной раз яростная вспышечивость. Может быть, Ты не совсем Кафка в своем общем миропонимании, насколько я могу сравнить тебя с дядей Филиппом, Людвигом, Генрихом⁴. Это странно, и мне не совсем ясно, в чем тут дело. Ведь все они были более жизнерадостными, бодрыми, непринужденными, беззаботными, менее строгими, чем Ты. (Между прочим, тут я многое унаследовал от Тебя и слишком уж хорошо распорядился этим наследством, тем более что в моем характере не было тех необходимых противовесов, какими обладаешь Ты.) Но, с другой стороны, Ты в этом смысле тоже прошел через разные стадии, был, наверное, жизнерадостнее до того, как Твои дети, в особенности я, разочаровали Тебя и стали тяготить дома (когда приходили чужие, Ты становился другим), Ты и теперь, наверное, стал снова более жизнерадостным — ведь внуки и зять дали Тебе немного того тепла, которого не смогли дать дети, за исключением, может быть, Валли⁵. Во всяком случае, мы были столь разными и из-за этого различия столь опасными друг для друга, что, если б можно было заранее рассчитать, как я, медленно развивающийся ребенок, и Ты, сложившийся человек, станем относиться друг к другу, можно было бы предположить, что Ты меня просто раздавишь, что от меня ничего не останется. Ну, этого-то не случилось, живое нельзя рассчитать наперед, зато произошло, может быть, худшее. Но я снова и снова прошу Тебя не забывать,

что я никогда не числил за Тобой никакой вины. Ты воздействовал на меня так, как Ты и должен был воздействовать, только перестань считать моей особой злонамеренностью то, что я поддался этому воздействию.

Я был робким ребенком, тем не менее я, конечно, был и упрямым, как всякий ребенок; конечно, мать меня баловала, но я не могу поверить, что был особенно неподатливым, не могу поверить, что приветливым словом, ласковым прикосновением, добрым взглядом нельзя было бы добиться от меня чего угодно. По сути своей Ты добрый и мягкий человек (последующее этому не противоречит, я ведь говорю лишь о форме, в какой Ты воздействовал на ребенка), но не каждый ребенок способен терпеливо и бесстрашно доискиваться скрытой доброты. Ты воспитываешь ребенка только в соответствии с Твоим собственным характером — силой, криком, вспыльчивостью, а в данном случае все это представлялось Тебе еще и потому как нельзя более подходящим, что Ты стремился воспитать во мне сильного и смелого юношу.

Твои средства воспитания в самые первые годы я сейчас, разумеется, не могу точно описать, но я могу их себе приблизительно представить, судя по дальнейшим годам и по Твоему обращению с Феликсом⁶. Причем тогда все было значительно острее, Ты был моложе и потому энергичнее, необузданнее, непосредственнее, беспечнее, чем теперь, и, кроме того, целиком занят своим магазином, так что я едва мог видеть Тебя один раз в день, и поэтому Ты производил на меня тем более сильное впечатление, которое вряд ли когда-нибудь могло стать обыденным и привычным.

Непосредственно мне вспоминается лишь одно происшествие из ранних лет. Может быть, Ты тоже помнишь его. Однажды ночью я все время скулил, прося воды, наверняка не потому, что хотел пить, а, вероятно, отчасти чтобы позлить вас, а отчасти чтобы развлечься. После того как сильные угрозы не помогли, Ты вынул меня из постели, вынес на балкон и оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью. Я не хочу сказать, что это было неправильно, возможно, другим путем тогда среди ночи нельзя было добиться покоя — я только хочу этим охарактеризовать Твои средства вос-

питания и их действие на меня. Тогда я, конечно, сразу стал послушным, но мне был нанесен внутренний ущерб. По своему складу я никогда не мог установить правильной связи между совершенно понятной для меня бессмысленной просьбой о воде и неопишуемым ужасом, испытанным при выдворении из комнаты. Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, что огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, может почти без всякой причины ночью подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон,— вот, значит, каким ничтожеством я был для него.

Тогда это было только незаметным началом, но это часто овладевающее мною сознание собственного ничтожества (сознание, в другом отношении благородное и плодотворное) в значительной мере является результатом Твоего влияния. Мне бы немножко ободрения, немножко дружелюбия, немножко возможности идти своим путем; а Ты вместо этого загородил мне его — разумеется, с самыми добрыми намерениями, полагая, что я должен пойти другим путем. Но для этого я не годился. Ты, например, подбадривал меня, когда я хорошо салютовал и маршировал, но я не был будущим солдатом; или же Ты подбадривал меня, когда я был в состоянии плотно поесть, а то и пива выпить, или когда я подпевал за другими непонятные мне песни, или бессмысленно повторял Твои излюбленные выражения,— но ничто из этого не имело отношения к моему будущему. И характерно, что даже и теперь Ты, в сущности, подбадриваешь меня лишь в том случае, когда дело затрагивает и Тебя, касается Твоего самолюбия, задетого мною (например, моим намерением жениться) или из-за меня (например, когда Пепу⁷ ругает меня). Тогда Ты подбадриваешь меня или напоминаешь о моей значительности, указываешь на партии, на которые я впряме рассчитывать, и безоговорочно осуждаешь Пепу. Не говоря уж о том, что в мои годы я почти уже глух к подбадриваниям, какой может быть толк от них, если они раздаются только в том случае, когда речь идет не обо мне в первую очередь.

А ведь тогда, именно тогда мне во всем необходимо было подбадривание. Меня подавляла сама Твоя телесность. Я вспоминаю, например, как мы иногда раздевались

в одной кабине. Я — худой, слабый, узкогрудый, Ты — сильный, большой, широкоплечий. Уже в кабине я казался себе жалким, причем не только в сравнении с Тобой, но в сравнении со всем миром, ибо Ты был для меня мерой всех вещей. Когда же мы выходили из кабины к людям, я — держась за Твою руку, маленький скелет, неуверенный, стоял босиком на досках, боясь воды, неспособный перенять Твои приемы плавания, которые Ты с добрым намерением, но на самом деле к моему глубокому посрамлению все время показывал мне,— тогда я впадал в полное отчаяние и весь мой горький опыт во всех областях великолепно подтверждался этими минутами. Более сносно я чувствовал себя, когда Ты иной раз раздевался первым и мне удавалось остаться одному в кабине и до тех пор оттянуть позор публичного появления, пока Ты не возвращался наконец взглянуть, в чем дело, и не выгонял меня из кабины. Я был благодарен Тебе за то, что Ты, казалось, не замечал моих мучений, к тому же я был горд, что у моего отца такое тело. Кстати, это различие между нами и сейчас примерно такое же.

Этому соответствовало и Твое духовное превосходство. Ты сам, собственными силами достиг так много, что испытывал безграничное доверие к собственным суждениям. В детстве меня это даже не так поражало, как впоследствии, в юности. Сидя в своем кресле, Ты управлял миром. Твои суждения были верными, суждения всякого другого — безумными, сумасбродными, *meschugge**, ненормальными. При этом Твоя самоуверенность была столь велика, что для Тебя необязательно было быть последовательным,— Ты все равно не переставал считать себя правым. Случалось, что Ты не имел мнения по какому-нибудь вопросу, но это значило, что все возможные мнения касательно этого вопроса должны быть — все без исключения — неверными. Ты мог, например, ругать чехов, немцев, затем евреев, причем не только за что-нибудь одно, но за все, и в конце концов никого больше не оставалось, кроме Тебя. Ты приобретал в моих глазах ту загадочность, которой обладают все тираны, чье право основано на их личности, а не на разуме. По крайней мере, мне так казалось.

* сумасшедшими (евр.).

Однако Ты и в самом деле поразительно часто оказывался правым по отношению ко мне — в разговоре это было само собою разумеющимся, ибо разговоров между нами почти не происходило, но и в действительности. Однако и в этом не было ничего особенно непостижимого: во всем своем мышлении я находился под Твоим тяжелым гнетом, в том числе и в мыслях, не совпадающих с Твоими, и в первую очередь именно в них. На всех этих мнимо независимых от Тебя мыслях с самого начала тяготело Твое неодобрение; выдержать его до полного и последовательного осуществления замысла было почти невозможно. Я говорю здесь не о каких-то высоких мыслях, а о любой маленькой детской затее. Стоило только увлечься каким-нибудь делом, загореться им, прийти домой и сказать о нем — и ответом были иронический вздох, покачивание головой, постукивание пальцами по столу: «А получше ты ничего не мог придумать?», «Мне бы твои заботы», «Не до того мне», «Ломаного гроша не стоит», «Тоже мне событие!» Конечно, нельзя было от Тебя требовать восторга по поводу каждой детской выдумки, когда Ты жил в хлопотах и заботах. Но не в этом дело. Дело скорее в том, что из-за противоположности наших характеров и исходя из своих принципов Ты постоянно должен был доставлять такие разочарования ребенку, что эта противоположность по мере накопления материала непрерывно усиливалась, так что в конце концов она по привычке давала себя знать даже тогда, когда Ты бывал одинакового со мною мнения, и в конечном счете эти разочарования ребенка не оставались обычными разочарованиями, а поскольку дело было связано с Твоей всеопределяющей личностью, они задевали самую основу его души. Я не мог сохранить смелость, решительность, уверенность, радость по тому или иному поводу, если Ты был против или если можно было просто предположить Твое неодобрение; а предположить его можно было по отношению, пожалуй, почти ко всему, что бы я ни делал.

Это касалось как мыслей, так и людей. Достаточно было мне проявить хоть сколько-нибудь интереса к человеку — а из-за моего характера это случалось не очень-то часто, — как Ты, нисколько не щадя моих чувств и не уважая моих суждений, тотчас вмешивался и начинал поносить,

чернить, унижать этого человека. Невинные, по-детски чистые люди, как, например, еврейский актер Лёви, должны были платиться за это. Не зная его, Ты сравнил его с каким-то отвратительным паразитом, не помню уже с каким; а как часто Ты без всякого стеснения пускал в ход поговорку о собаках и блохах⁸ по адресу дорогих мне людей. Об актере я вспомнил здесь потому, что по поводу Твоих высказываний о нем я тогда записал: «Так говорит отец о моем друге (которого он совсем не знает) только потому, что он мой друг. Это я всегда смогу припомнить ему, когда он будет попрекать меня недостатком сыновней любви и благодарности». Мне всегда была непонятна Твоя полнейшая бесчувственность к тому, какую боль и стыд Ты был способен вызвать у меня своими словами и суждениями, — казалось, Ты не имел представления о своей власти надо мной. Конечно, мои слова тоже нередко Тебя оскорбляли, но в таких случаях я всегда сознавал это, страдал, однако не мог совладать с собой, сдержаться и, едва выговорив слово, уже сожалел о сказанном. Ты же беспощадно бил своими словами, Ты никого не жалел ни тогда, ни потом, я был перед Тобой беззащитным.

И таким было все Твое воспитание. Мне кажется, у Тебя есть талант воспитателя; человеку Твоего склада Твое воспитание наверняка пошло бы на пользу; он понимал бы разумность того, что Ты говорил бы ему, ни о чем больше не беспокоился бы и поступал бы в соответствии с этим. Для меня же в детстве все, что Ты выкрикивал мне, было прямо-таки небесной заповедью, я никогда не забывал этого, это оставалось для меня важнейшим мерилом оценки мира, прежде всего оценки Тебя самого, и вот тут Ты оказывался совершенно несостоятельным. Так как в детстве я встречался с Тобой главным образом во время еды, Твои уроки были большей частью уроками хороших манер за столом. Все, что ставится на стол, должно быть съедено, о качестве еды говорить не полагается, однако Ты сам часто находил ее несъедобной, называл ее «жратвой», говорил, что «скотина» (кухарка) испоганила ее. Поскольку у Тебя был прекрасный аппетит и Ты любил все есть быстро, горячим, большими кусками, то и ребенок должен был торопиться, за столом была угрюмая тишина, прерываемая наставлениями: «Сначала съешь, потом говори»,

«Быстрей, быстрей, быстрей», «Видишь, я давно уже съел». Кости грызть нельзя, а Тебе — можно. Чавкать нельзя, Тебе — можно. Главное, чтобы хлеб отрезали, а не отламывали; а то, что Ты отрезал его измазанным в соусе ножом, было неважно. Надо следить, чтобы на пол не падали крошки,— под Тобой же их оказывалось больше всего. За столом следует заниматься только едой — Ты же чистил и обрезал ногти, точил карандаши, ковырял зубочисткой в ушах. Отец, пойми меня, пожалуйста, правильно, само по себе все это совершенно незначительные мелочи, угнетающими для меня они стали лишь потому, что Ты, человек для меня необычайно авторитетный, сам не придерживался заповедей, исполнения которых требовал от меня. Тем самым мир делился для меня на три части: один мир, где я, раб, жил, подчиняясь законам, которые придуманы только для меня и которые я, неведомо почему, никогда не сумею полностью соблюсти; в другом мире, бесконечно далеком от меня, жил Ты, повелевая, приказывая, негодую по поводу того, что Твои приказы не выполняются; и, наконец, третий мир, где жили остальные люди, счастливые и свободные от приказов и повиновения. Я все время испытывал стыд: мне было стыдно и тогда, когда я выполнял Твои приказы, ибо они касались только меня; мне было стыдно и тогда, когда я упрямился, ибо как смел я упрячиться по отношению к Тебе, или был не в состоянии выполнить их, потому что не обладал, например, ни Твоей силой, ни Твоим аппетитом, ни Твоей ловкостью, а Ты требовал всего этого от меня как чего-то само собою разумеющегося,— это, конечно, вызывало у меня наибольший стыд. Так складывались не мысли, но чувства ребенка.

Мое тогдашнее положение станет, может быть, понятнее, если я сравню его с положением Феликса. К нему Ты тоже относишься так же, более того, Ты даже применяешь к нему особенно ужасное средство воспитания: если во время еды он, по Твоему мнению, делает что-то неоправданно, Ты не довольствуешься тем, что говоришь, как мне: «Ну и свинья же ты», а еще добавляешь: «Сразу видно, что из Германнов» или: «Точь-в-точь как твой отец». Ну, возможно — более определенного слова, чем «возможно», тут сказать нельзя,— это в самом деле не причинит Феликсу большого вреда, ибо хоть Ты для него как дедуш-

ка и особенно много значишь, все же не все на свете, как для меня, кроме того, у Феликса спокойный, в известной мере уже мужской характер,— громовым голосом его, вероятно, можно смутить, но не подчинить на длительное время; кроме того, он бывает с Тобой сравнительно редко, да и находится он под другими влияниями, Ты для него скорее соединение неких милых и забавных черт, из которых можно выбирать те, что хочется. Для меня Ты не был забавным, я не мог выбирать из Твоих особенностей, я должен был принимать все.

Притом я не имел возможности высказаться, так как Ты с самого начала не можешь спокойно говорить о чем-нибудь, с чем Ты не согласен или что просто исходит не от Тебя,— Твой властный темперамент не терпит этого. В последние годы Ты объясняешь это неврозом сердца, я не знаю, был ли Ты когда-либо иным, невроз сердца у Тебя лишь средство для более строгого осуществления своего господства, так как мысль о нем должна подавить в окружающих последние возражения. Это, разумеется, не упрек, а только констатация факта. Возьмем, к примеру, Оттлу. «С ней невозможно разговаривать, она сразу сбивает тебя с толку»,— говоришь Ты обычно, но в действительности она вовсе не хочет сбить Тебя с толку; Ты путаешь дело и человека: дело сбивает Тебя с толку, и Ты немедленно решаешь его, не выслушав человека; все, что удается потом сказать, лишь еще больше раздражает, но никогда не переубеждает Тебя. Затем от Тебя можно лишь услышать: «Поступай как знаешь; по мне, ты вольна делать что хочешь; ты совершеннолетняя; разве я могу тебе советовать»,— и все это с ужасной хриплой нотой гнева и полнейшего осуждения, от которой я теперь только потому дрожу меньше, чем в детстве, что безграничное чувство детской вины частично заменилось пониманием нашей обоюдно беспомощности.

Невозможность спокойного общения имела еще и другое, в сущности совершенно естественное, последствие: я разучился разговаривать. Я бы, конечно, и без того не стал великим оратором, однако обычным беглым человеческим разговором я все же овладел бы. Но Ты очень рано запретил мне слово. Твоя угроза: «Не возражать!» — и поднятая при этом рука сопровождают меня с незапамятных вре-

мен. Когда речь идет о Твоих собственных делах, Ты отличный оратор, а меня Ты наделил запинаящейся, заикающейся манерой разговаривать, но и это было для Тебя слишком, в конце концов я замолчал, сперва, возможно, из упрямства, а затем потому, что при Тебе я не мог ни думать, ни говорить. И так как Ты был моим главным воспитателем, это сказывалось в дальнейшем на всей моей жизни. Вообще же Ты странным образом заблуждаешься, если думаешь, что я никогда не подчинялся Тебе. «Вечно все *contra*» — на самом деле не было моим жизненным принципом по отношению к Тебе, как Ты думаешь и в чем упрекаешь меня. Напротив, если бы я меньше слушался Тебя, Ты наверняка был бы мною более доволен. Но все Твои воспитательные меры точно достигли цели, мне ни на миг не удалось уклониться от Твоей хватки. И я — такой, каков я есть (отвлекаясь, конечно, от основ и влияния жизни), — я результат Твоего воспитания и моей покорности. То, что результат этот тем не менее Тебя оскорбляет, что произвольно Ты даже отказываешься признать его результатом Твоего воспитания, объясняется именно тем, что Твоя рука и мой материал так чужды друг другу. Ты говорил: «Не возражать!» — и хотел этим заставить замолчать во мне неприятные Тебе силы сопротивления, но Твое воздействие было для меня слишком сильным, я был слишком послушным, я полностью умолкал, прятался от Тебя и отваживался пошевелиться лишь тогда, когда оказывался так далеко от Тебя, что Твое могущество не могло меня достичь, во всяком случае непосредственно. Но вот Ты снова стоял передо мною, и Тебе все опять казалось «*contra*», в то время как то было лишь естественным следствием Твоей силы и моей слабости.

Твоими самыми действенными, во всяком случае для меня, неотразимыми ораторскими средствами воспитания были: брань, угрозы, ирония, злой смех и — как ни странно — самооплакивание.

Я не помню, чтобы Ты ругал меня прямо и явно ругательными словами. Да в этом не было и надобности, у Тебя было столько других средств, к тому же в разговорах дома и особенно в магазине ругательства в моем присутствии сыпались и на других в таких количествах, что подростком я бывал иногда почти оглушен ими и не

имел никакого основания не относить их к себе, так как люди, которых Ты ругал, были, конечно, не хуже меня и Ты, конечно, был ими не более недоволен, чем мною. И здесь тоже опять выступала на свет Твоя загадочная невинность и непогрешимость, Ты ругался без всякого стеснения, других же Ты порицал за ругань и запрещал ее.

Ругань Ты подкреплял угрозами, и они относились уже непосредственно ко мне. Мне было страшно, например, когда Ты кричал: «Я разорву тебя на части», хотя я и знал, что ничего ужасного после слов не последует (ребенком я, правда, не знал этого), но моим представлениям о Твоем могуществе почти соответствовала вера в то, что Ты в силах сделать и это. Страшно было и тогда, когда Ты с криком бегал вокруг стола, чтобы схватить кого-нибудь, было ясно, что Ты не собирался никого хватать, но притворялся, что хочешь, и мать в конце концов для виду спасала кого-нибудь. И ребенку казалось, что благодаря Твоей милости ему сохранена жизнь, и он считал ее незаслуженным подарком от Тебя. Сюда же относятся и пререкания последствий непослушания. Когда я начинал делать что-то, что Тебе не нравилось, и Ты грозил мне неудачей, благоговение перед Твоим мнением было столь велико, что неудача, пусть даже впоследствии, была неизбежной. Я терял уверенность в собственных действиях. Мною овладевали колебания, сомнения. Чем старше я становился, тем больше накапливалось материала, который Ты мог предъявить мне как доказательство моей ничтожности; постепенно Ты действительно оказывался в известном смысле правым. Я опять-таки остерегаюсь утверждать, что стал таким только из-за Тебя; Ты лишь усилил то, что было во мне заложено, но усилил в очень большой степени, потому что власть Твоя надо мною была очень велика и всю свою власть Ты пускал в ход.

Особенно Ты полагался на воспитание иронией, она и соответствовала больше всего Твоему превосходству надо мною. Наставление носило у Тебя обычно такую форму: «Иначе ты, конечно, не можешь это сделать? Тебе это, конечно, не под силу? На это у тебя, конечно, нет времени?» — и тому подобное. Причем каждый такой вопрос сопровождался злой усмешкой на злом лице. В известной мере я чувствовал себя наказанным еще до того, как

узнавал, что сделал что-то нехорошее. Задевали и выговоры, обращенные ко мне как к третьему лицу, когда я не удостоивался даже злого обращения; например, по виду Ты говорил матери, но по сути — мне, сидящему тут же: «От господина сына этого, конечно, не дождешься», и тому подобное. (Это потом привело к своего рода контригре, заключавшейся в том, что я, например, не осмеливался, а потом уже по привычке и не пытался даже обращаться непосредственно к Тебе с каким-либо вопросом в присутствии матери. Гораздо безопаснее для ребенка было спросить о Тебе сидящую возле Тебя мать; так, предохраняя себя от неожиданностей, я спрашивал мать: «Как себя чувствует отец?») Конечно, случалось, что я полностью разделял злейшую иронию, а именно когда она касалась кого-нибудь другого, например Элли, с которой я годами был в ссоре. Я торжествовал от злобы и злорадства, когда почти за каждой едой Ты говорил о ней: «Она обязательно должна сидеть за десять метров от стола, эта толстая девка» — и пытался вслед за этим зло, без малейшего следа дружелюбия или добродушия, а как ожесточенный враг подчеркнуто передразнивать ее, показывая, как отвратительно, на Твой взгляд, она сидит. Как часто Тебе приходилось повторять такие и похожие сцены, и как мало Ты достигал ими. Я думаю, причина в том, что гнев и злость уж очень не соответствовали поводу, их вызвавшему, не верилось, что такой гнев мог быть вызван таким пустяком, как неправильное сидение за столом, казалось, что весь этот гнев уже раньше накопился в Тебе и что лишь случайно именно этот повод вызвал вспышку. Поскольку все были уверены, что повод так или иначе найдется, то незачем особенно следить за собой, а постоянные угрозы притупляли восприимчивость; в том, что бить не будут, мы почти уже не сомневались. Вот так я становился угрюмым, невнимательным, непослушным ребенком, все время готовым к бегству, чаще всего внутреннему. Страдал Ты, страдали мы. По-своему Ты был совершенно прав, когда со стиснутыми зубами и прерывистым смехом, впервые вызвавшим у ребенка представление об аде, Ты горько говорил (как недавно в связи с одним письмом из Константинополя): «Хороша компания!»

Когда Ты начинал во всеуслышание жалеть самого

себя,— что случалось так часто!— это приходило в полное противоречие с Твоим отношением к собственным детям. Признаюсь, что ребенком Твои жалобы оставляли меня совершенно безучастным, и я не понимал (став старше, начал понимать), как можешь Ты вообще рассчитывать на сочувствие. Ты был таким гигантом во всех отношениях; зачем Тебе наше сочувствие, тем более помощь? Ее Ты должен был, в сущности, презирать, как часто презирал нас. Потому я не верил жалобам и гадал, какое тайное намерение скрывается за ними. Лишь позднее я понял, что Ты действительно очень страдал из-за детей, но в ту пору, когда самооплакивание при других обстоятельствах могло бы еще вызвать детское, открытое, доверчивое чувство, готовность прийти на помощь, оно неизбежно казалось мне лишь новым и очень явным средством воспитания и унижения,— само по себе оно не было очень сильным, но его побочное действие состояло в том, что ребенок привыкал не очень серьезно относиться как раз к тому, к чему должен был относиться серьезно.

К счастью, здесь бывали и исключения, чаще всего тогда, когда Ты страдал молча, и любовь и доброта силой своей преодолевали во мне все препятствия и захватывали все существо. Редко это случалось, правда, но зато это было чудесно. В прежнее время, например, когда я заставлял Тебя жарким летом после обеда в магазине усталым, вздремнувшим у конторки; или когда Ты в воскресенье приезжал измотанный к нам на дачу; или когда Ты во время тяжелой болезни матери, сотрясаясь от рыданий, держался за книжный шкаф; или когда Ты во время моей последней болезни зашел ко мне в комнату Оттлы, остановился на пороге, вытянул шею, чтобы увидеть меня в кровати, и, не желая меня тревожить, только помахал мне рукой. В таких случаях я ложился и плакал от счастья, плачу и теперь, когда пишу об этом.

У Тебя особенно красивая, редкая улыбка — тихая, спокойная, доброжелательная, она может совершенно ослепить того, к кому она относится. Я не помню, чтобы когда-нибудь в детстве она явственно была обращена ко мне, но, наверное, так бывало, ибо зачем бы Ты тогда стал отказывать мне в ней, я ведь казался Тебе еще невинным и был Твоей великой надеждой. Впрочем, такие приятные

впечатления с течением времени тоже только усилили мое чувство вины и сделали мир еще более непонятным для меня.

Лучше уж держаться действительного и постоянного. Чтобы хоть сколько-нибудь самоутвердиться по отношению к Тебе, отчасти и из своего рода мести, я скоро начал следить за смешными мелочами в Тебе, собирать, преувеличивать их. Например, как легко Тебя ослеплял блеск имен большей частью лишь мнимо высокопоставленных особ, Ты мог все время рассказывать о них, скажем, о каком-то кайзеровском советнике или о ком-то в этом роде (с другой стороны, мне причиняло боль, что Тебе, моему отцу, кажется, будто Тебе нужны подобного рода ничтожные подтверждения Твоей значительности, и Ты хвастаешься ими). Или — я замечал Твое пристрастие к непристойностям, которые Ты произносил очень громко и по поводу которых смеялся так, словно сказал что-то удивительно меткое, в то время как на самом деле то была просто плоская, мелкая непристойность (правда, вместе с тем это было опять-таки посрамляющее меня выражение Твоей жизненной силы). Разумеется, различных наблюдений такого рода было множество; я радовался им, они давали мне повод для шушукания и шуток, иногда Ты замечал это, сердился, считал это злостью, непочтительностью, но, поверь мне, это было для меня не чем иным, как средством самосохранения, впрочем, непригодным, то были шутки, какие позволяют себе по отношению к богам и королям, — шутки, не только совместимые с глубочайшей почтительностью, но даже составляющие часть ее.

Между прочим, Ты тоже, находясь по отношению ко мне в сходном положении, прибегал к своего рода самообороне. Ты имел обыкновение напоминать, как чрезмерно хорошо мне жилось и как хорошо ко мне, в сущности, отнеслись. Это верно, но я не думаю, что при сложившихся условиях это существенно помогало мне.

Верно, мать была безгранично добра ко мне, но все это для меня находилось в связи с Тобой — следовательно, в недоброй связи. Мать невольно играла роль загонщика на охоте. Если упрямство, неприязнь и даже ненависть, вызванные во мне Твоим воспитанием, каким-то невероят-

ным образом и могли бы помочь мне стать на собственные ноги, то мать сглаживала все снова добротой, разумными речами (в сумятице детства она представлялась мне воплощением разума), своим заступничеством, и снова я оказывался загнанным в Твой круг, из которого иначе, возможно, и вырвался бы, к Твоей и моей пользе. Бывало, что дело не заканчивалось настоящим примирением, мать просто втайне от Тебя защищала меня, втайне что-то давала, что-то разрешала — тогда я снова оказывался перед Тобой преступником, сознающим свою вину, обманщиком, который по своему ничтожеству лишь окольными путями может добиться и того, на что имеет право. Естественно, потом я привык добиваться таким путем уже и того, на что я, даже по собственному мнению, права не имел. А это тоже усиливало чувство вины.

Правда и то, что Ты вряд ли хоть раз по-настоящему побил меня. Но то, как Ты кричал, как наливалось кровью Твое лицо, как торопливо Ты отстегивал подтяжки и вешал их наготове на спинку стула,— все это было для меня даже хуже. Вероятно, такое чувство у того, кого должны повесить. Если его действительно повесят, он умрет и все кончится. А если ему придется пережить все приготовления к казни, и только тогда, когда перед его лицом уже будет висеть петля, он узнает, что помилован, это может заставить его страдать всю жизнь. Кроме того, из множества случаев, когда я, по Твоему мнению, явно заслуживал порки, но по Твоей милости был пощажен, снова рождалось чувство большой вины. В любом случае я оказывался кругом виноват перед Тобой.

С давних пор Ты упрекал меня (причем с глазу на глаз или при посторонних — унижительность последнего обстоятельства Ты никогда не принимал во внимание, дела Твоих детей всегда обсуждались при всех), что благодаря Твоему труду я жил, не испытывая никаких лишений, в покое, тепле, изобилии. Я вспоминаю по этому поводу замечания, которые оставили в моем мозгу настоящие борозды: «А я семи лет от роду ходил с тележкой по деревням», «Мы все спали в одной комнате», «Мы были счастливы, когда имели картошку», «Из-за нехватки зимней одежды у меня годами были на ногах открытые раны», «Я был мальчиком, когда меня отдали в Пизек в лавку», «Из

дома я ничего не получал, даже во время военной службы, я сам посылал деньги домой», «И все-таки, и все-таки отец для меня всегда был отцом. Кто теперь так относится к отцам? Что знают дети? Они же ничего не испытали! Разве теперешний ребенок это поймет?» При других условиях такие рассказы могли бы стать отличным средством воспитания, могли бы придать бодрости и сил, чтобы выдержать такие же беды и лишения, которые перенес отец. Но Ты вовсе не хотел этого, благодаря Твоим усилиям положение семьи изменилось, возможности отличиться таким же образом, как Ты, отпали. Такую возможность можно было бы создать лишь насильственно, переворотом, нужно было бы вырваться из дома (при условии, что нашлось бы достаточно решимости и силы для этого и мать, со своей стороны, не противодействовала бы своими средствами). Но этого Ты вовсе не хотел, Ты назвал бы это неблагодарностью, сумасбродством, непослушанием, предательством, сумасшествием. В то время как, с одной стороны, Ты, приводя примеры, рассказывая, стыдя, поубждал к этому, Ты, с другой стороны, строжайшим образом это запрещал. Иначе Тебя ведь должна была бы восхитить затея Оттлы в Цюрау⁹, если отвлечешься от сопутствующих обстоятельств. Она стремилась в деревню, из которой Ты родом, она хотела работы и лишений — того же, что Ты перенес, она не хотела пользоваться плодами Твоих трудов, хотела быть, как и Ты, независимой от своего отца. Разве это такие уж страшные намерения? Такие далекие от твоих примеров и поучений? Пусть намерения Оттлы в конечном счете не увенчались успехом, она пыталась осуществить их, может быть, немножко нелепо, слишком шумно, она не в достаточной мере посчиталась со своими родителями. Но разве в том была исключительно ее только вина, не повинны ли также и обстоятельства, прежде всего то, что Ты был так отчужден от нее? Разве в магазине она была Тебе менее чуждой (как Ты потом сам хотел себя уговорить), чем позднее в Цюрау? И разве не в Твоей власти было (при условии, если б Ты мог побороть себя) подбодрить ее, дать совет, присмотреть за ней, а может, даже просто проявить терпение, чтобы эта затея обернулась благом?

После таких уроков Ты обычно горько шутил, что нам

слишком хорошо живется. Но эта шутка в известном смысле не шутка. То, за что Ты должен был бороться, мы получили из Твоих рук, но борьбу за жизнь во внешнем мире, которая Тебе давалась легко и которой, разумеется, не миновали и мы, эту борьбу мы должны были вести позднее, в зрелом возрасте, но детскими силами. Я не утверждаю, что из-за этого мы оказались в безусловно более тяжком, чем Ты, положении — мы были, вероятно, в равном положении (при этом я, конечно, не сравниваю исходные позиции), — мы в невыгодном положении лишь в том смысле, что не можем хвастаться своими бедами и никого не можем унижить ими, как это делал Ты. Я не отрицаю, что я действительно мог бы по-настоящему воспользоваться плодами Твоих больших и успешных трудов, употребить их во благо и приумножить, к Твоей радости, но этому помешало наше отчуждение. Я мог пользоваться тем, что Ты давал, но лишь испытывая чувство стыда, усталость, слабость, чувство вины. Потому я могу благодарить Тебя за все только как нищий, но не делом.

Другой внешний результат такого воспитания — я стал избегать всего, что хотя бы отдаленно напоминало о Тебе. Прежде всего магазина. Сам по себе, в особенности в детстве, до тех пор, пока это был просто магазин в переулке, он должен был бы меня очень радовать: ведь он был таким бойким местом, светился по вечерам огнями, там можно было многое увидеть и услышать, в чем-то помочь, отличиться, но главное — восхищаться Тобою, Твоим великолепным коммерческим талантом, тем, как Ты торговал, обращался с людьми, шутил, был неутомим, тотчас же находил решение в сложных случаях, и так далее; и еще: то, как Ты упаковывал покупки или открывал ящик, было достопримечательным зрелищем и все вместе в целом — совсем неплохой школой для ребенка. Но так как Ты постепенно все больше и больше начинал пугать меня, а магазин и Ты для меня сливались воедино, то и в магазине мне становилось не по себе. Вещи, казавшиеся мне там сперва само собою разумеющимися, мучили, смущали меня, в особенности Твое обращение с персоналом. Не знаю, может быть, в большинстве мест оно было таким же (в *Assicurazioni Generali*, например, оно в мое время действительно было схожим, свой уход я объяснил

директору — не совсем согласно с истиной, но и не совсем лживо,— тем, что не могу выносить ругань, которая, впрочем, непосредственно ко мне и не относилась; я был к таким вещам болезненно чувствительным еще с детства), но другие места во времена детства меня не заботили. В нашем же магазине я слышал и видел, что Ты кричишь, ругаешься и неистовствуешь, как, по тогдашним моим представлениям, никто больше в мире не делает. И дело не только в ругани, но и во всем тиранстве. Когда Ты, например, одним движением сбрасывал с прилавка товары, которые на следовало мешать с другими — только безрассудство Твоего гнева немножко извиняло Тебя,— а приказчик должен был их поднимать. Или Твое постоянное выражение по адресу одного приказчика с больными легкими: «Пусть он сдохнет, этот хворый пес». Ты называл служащих «оплаченными врагами», они и были ими, но еще до того, как они ими стали, Ты уже казался мне их «платящим врагом». Там я получил и великий урок того, что Ты можешь быть неправым; если бы дело касалось одного меня, я бы не так скоро это заметил, ибо во мне слишком сильно было чувство собственной вины, которое оправдывало Тебя; но там, по моему детскому разумению — позднее, правда, несколько, но не слишком сильно подправленному,— были чужие люди, которые все-таки работали на нас и за это, оказывается, должны жить в постоянном страхе перед Тобой. Конечно, я преувеличивал, ибо был уверен, что Ты внушаешь им такой же ужас, как и мне. Если бы было так, они действительно не могли бы жить, но поскольку они были взрослыми людьми с превосходными, как правило, нервами, ругань легко от них отскакивала, и в конечном счете это причиняло гораздо больший вред Тебе, чем им. Для меня же она делала магазин невыносимым, так как слишком напоминала мое отношение к Тебе: не говоря уж о Твоих хозяйских интересах и властолюбии, Ты как коммерсант настолько превосходил всех, кто когда-либо учился у Тебя, что никакие результаты их работы не могли Тебя удовлетворить, примерно так же и я должен был вызывать Твое недовольство. Поэтому я, естественно, принимал сторону персонала, кстати, еще и потому, что по своей робости я не понимал, как можно так ругать чу-

жого человека, и по робости же я пытался как-то примирить страшно возмущенный, как мне казалось, персонал с Тобой, с нашей семьей, хотя бы ради моей собственной безопасности. Для этого мне было недостаточно вести себя просто вежливо, скромно — следовало быть смиренным, приветствовать не только первым, но и по возможности не допускать, чтобы приветствовали меня; даже если бы внизу я, лицо незначительное, стал лизать им ноги, это не искупило бы того, что наверху на них набрасывался Ты, хозяин. Отношения, в которые я здесь вступал с окружающими, оказывали свое воздействие за пределами магазина и в будущем (нечто подобное, но не столь опасное и глубокое, как у меня, заключено, например, в пристрастии Отглы к общению с бедными, в раздражающих Тебя добрых отношениях с прислугой). В конце концов я начал почти бояться магазина, и, во всяком случае, он давно уже перестал быть моим делом, еще до того, как я поступил в гимназию и тем самым еще больше отдалился от него. К тому же заниматься им казалось мне совершенно непосильным, раз уж он, как Ты говорил, истощил даже Твои силы. В моем отвращении к магазину, к Твоему делу — отвращении, причиняющем Тебе такую боль, — Ты все же пытался (теперь это трогает меня и вызывает чувство стыда) найти немножко улады для себя, утверждая, что я лишен коммерческих способностей, что у меня в голове более высокие идеи, и тому подобное. Мать, конечно, радовалась этому объяснению, которое Ты против воли выдавливал из себя, и я в своем тщеславии и безысходности тоже поддавался ему. Но если бы действительно или преимущественно «высокие идеи» отвлекали меня от магазина (который я теперь, только теперь, на самом деле и честно ненавижу), они должны были бы найти свое выражение в чем-то ином, а не в том, чтобы позволить мне спокойно и смиренно проплыть через гимназию и изучение права и прибиться в конце концов к чиновничьему письменному столу.

Бежать от Тебя — это значило бы бежать и от семьи, даже от матери. Правда, у нее всегда можно было найти защиту, но и на защите этой лежал Твой отпечаток. Слишком сильно она любила Тебя, слишком была предана Тебе, чтобы более или менее долго играть самостоятельную

роль в борьбе ребенка. Кстати, это детское инстинктивное ощущение было верным, ибо с течением лет мать становилась все более тесно связанной с Тобой; деликатно и мягко, никогда не нанося Тебе серьезной обиды, она в том, что касалось ее самой, тщательно оберегала свою независимость, но вместе с тем с годами она все более полно, скорее чувством, нежели разумом, слепо перенимала Твои суждения и осуждения в отношении детей, в особенности в трудном, правда, случае с Оттлой. Конечно, всегда надо помнить, каким мучительным и крайне изнуряющим было положение матери в семье. Ее изматывали магазин, домашнее хозяйство, все хвори в семье она переносила вдвойне, но венцом всего были страдания, причиняемые ей тем промежуточным положением, которое она занимала между нами и Тобой. Ты всегда относился к ней любовно и внимательно, но в этом отношении Ты щадил ее столь же мало, как и мы. Беспощадно накидывались мы на нее, Ты — с Твоей стороны, мы — со своей. Это было своего рода отвлечением, никто ни о чем плохом не помышлял, думали только о борьбе, которую Ты вел с нами, которую мы вели с Тобой, а отгрывались мы на матери. То, как Ты из-за нас мучил ее — разумеется, без всякого злого умысла с Твоей стороны, — вовсе не было хорошим вкладом в воспитание детей. Это даже как бы оправдывало наше к ней отношение, другого оправдания не имевшее. Чего только не приходилось ей терпеть от нас из-за Тебя и от Тебя из-за нас, не говоря уже о тех случаях, когда ты был прав, потому что она баловала нас, хотя даже и это «баловство», быть может, иной раз являлось лишь тихим, невольным протестом против Твоей системы. Конечно, мать не могла бы вынести всего этого, если бы не черпала силы в любви ко всем нам и в счастье, даруемом этой любовью.

Сестры лишь отчасти стояли на моей стороне. Больше всего посчастливилось в отношении с Тобой Валли. Она была ближе всех к матери и, подобно ей, приспособлялась к Тебе без особого труда и вреда. И сам Ты тоже, именно памятуя о матери, относился к ней дружелюбнее, хотя кафковской закваски в ней было мало. Но может быть, как раз это и устраивало Тебя; где не было ничего кафковского, там даже Ты не мог этого требовать; у Тебя

не было чувства, будто здесь, в отличие от нас, теряется нечто такое, что следует непременно спасти. Впрочем, Ты, кажется, никогда особенно не любил кафковское в женщинах. Отношение Валли к Тебе, возможно, стало бы даже еще более дружелюбным, если бы мы, остальные, не препятствовали немножко этому.

Элли — единственный пример почти полного успеха попытки вырваться из круга Твоего влияния. В детстве я меньше всего мог ожидать этого. Ведь она была таким неуклюжим, вялым, боязливым, угрюмым, пришибленным сознанием своей вины, безропотным, злым, ленивым, охочим до лакомств, жадным ребенком — я не мог видеть ее, не то что говорить с ней, настолько она напоминала мне меня самого, настолько сильно она находилась под воздействием того же воспитания. Особенно отвратительной для меня была ее жадность, потому что сам я был, кажется, еще более жадным. Жадность — один из вернейших признаков того, что человек глубоко несчастен; я настолько был не уверен во всех вещах, что в действительности владел только тем, что держал в руках или во рту или что собирался отправить туда, и именно это она охотнее всего отбирала у меня — она, находившаяся в подобном же положении. Но все это изменилось, когда она совсем юной — и в этом главное — покинула дом, вышла замуж, родила детей, — она стала жизнерадостной, беззаботной, смелой, щедрой, бескорыстной, полной надежд. Почти невероятно, как Ты мог совершенно не заметить этого изменения и, во всяком случае, не оценить его по достоинству, — в такой степени Ты был ослеплен злобой, которую издавна питал к Элли и которая, по сути, осталась неизменной, с той лишь разницей, что злоба потеряла в значительной мере актуальность, так как Элли не живет больше у нас, и, кроме того, Твоя любовь к Феликсу и симпатии к Карлу отодвинули эту злобу на задний план. Лишь Герти¹⁰ должна еще иногда расплачиваться за нее.

Об Оттле я едва решаюсь писать; я знаю — этим самым я ставлю на карту все действие письма, на которое надеялся. При обычных обстоятельствах, то есть когда она не находилась бы, скажем, в беде или опасности, Ты испытывал к ней только ненависть; Ты ведь сам



Кафка со своей любимой сестрой Оттлой (примерно 1914 г.)

признавался мне, что, по Твоему мнению, она намеренно причиняет Тебе постоянно страдание и неприятности и, когда Ты из-за нее страдаешь, она довольна и весела. В общем, своего рода дьявол. Какое же чудовищное отчуждение, еще большее, нежели между Тобой и мной, должно было возникнуть между Тобой и ею, чтобы стало возможным такое чудовищное заблуждение. Она так далека от Тебя, что Ты видишь уже не ее, а призрак, который ставишь на то место, где предполагаешь ее присутствие. Я признаю, что она доставляла Тебе особенно много забот. Я не вполне понимаю, в чем тут дело, — случай трудный, но тут, безусловно, разновидность Лёви, оснащенная лучшим кафковским оружием. Между мной и Тобой не было настоящей борьбы: Ты быстро справился со мной, и мне оставались лишь бегство, горечь, грусть, внутренняя борьба. Вы же оба всегда находились в боевой позиции, всегда свежие, полные сил. Столь же внушительная, сколь и безотрадная картина. Прежде всего вы, конечно, были очень близки друг другу — ведь и сегодня из всех нас четверых Оттла, пожалуй, самое полное воплощение союза между Тобой и матерью и сочетавшихся в нем сил. Я не знаю, что лишило вас счастья единения, которое должно существовать между отцом и ребенком, я могу только думать, что дело развивалось здесь подобно тому, как у меня. С Твоей стороны — деспотия, свойственная Твоей натуре, с ее стороны — присущие Лёви упрямство, впечатлительность, чувство справедливости, возбудимость, и все это — опирающееся на сознание кафковской силы. Возможно, и я оказывал на нее влияние, но вряд ли сознательно, скорее самим фактом своего существования. Впрочем, она последней вошла в круг уже сложившихся взаимоотношений и могла вынести им свой приговор на основании уже существующего широкого материала. Я даже могу себе представить, что по натуре своей она могла некоторое время колебаться, решая, броситься ли ей в объятия к Тебе или к противникам; очевидно, Ты тогда упустил что-то и оттолкнул ее, но будь то возможно, вы стали бы великопной парой единомышленников. Я, правда, при этом лишился бы союзника, но вид вас обоих щедро вознаградил бы меня, к тому же, найди Ты хоть в одном своем ребенке полное удовлетворение, Ты в беспредельном

счастье своим очень изменился бы и мне на пользу. Сегодня все это, конечно, лишь мечта. У Отты нет никакой связи с отцом, она, как и я, должна искать свою дорогу в одиночестве, а из-за того избытка надежд, уверенности в своих силах, здоровья, решительности, которым она обладает по сравнению со мной, она кажется Тебе более злой, более способной на предательство. Я это понимаю; с Твоей точки зрения, она и не может быть другой. Да она и сама в состоянии смотреть на себя Твоими глазами, сочувствовать Твоим страданиям и при этом не отчаиваться (отчаяние — мой удел), а очень грустить. Это, казалось бы, не вяжется со всем остальным, но Ты часто видишь нас вместе, мы шепчемся, смеемся, порой Ты слышишь свое имя. У Тебя создается впечатление, будто перед Тобой дерзкие заговорщики. Странные заговорщики! Ты, конечно, с давних пор — главная тема наших разговоров, как и наших размышлений, но встречаемся мы вовсе не для того, чтобы плести заговор против Тебя, а для того, чтобы по-всякому — шутя, всерьез, с любовью, упрямо, гневно, с неприязнью, покорностью, сознанием вины, напрягая все силы ума и сердца, во всех подробностях, со всех сторон, по всякому поводу, с далекого и близкого расстояния — обсуждать ту страшную тяжбу, которая ведется между нами и Тобой, — тяжбу, в которой Ты упорно продолжаешь считать себя судьей, в то время как Ты, по крайней мере в большинстве случаев (здесь я оставляю открытым вопрос о всех ошибках, которые я, конечно, могу совершить), столь же слабая и ослепленная сторона, как и мы.

Поучительный пример Твоего воспитательного воздействия — Ирма¹¹. С одной стороны, она все же чужая, поступила в Твой магазин уже взрослой, имела дело с Тобой главным образом как с шефом, то есть подверглась Твоему влиянию лишь частично и уже в том возрасте, когда сила сопротивления достаточно велика; с другой стороны, она, все же близкая родственница, почитала в Тебе брата своего отца, и Ты обладал властью над нею большей, нежели власть шефа. И тем не менее она — при всей своей физической слабости такая дельная, умная, прилежная, скромная, достойная доверия, бескорыстная, преданная, любящая Тебя как дядю и вос-

хищающаяся Тобой как шефом, хорошо справлявшаяся и прежде и позже с другой работой — оказалась для Тебя недостаточно хорошей служащей. Она относилась к Тебе — разумеется, не без нашей помощи — примерно так же, как Твои дети, и столь велика была над нею сокрушающая власть Твоей природы, что в ней начали развиваться (правда, только по отношению к Тебе и, надо надеяться, не причиняя глубоких страданий этому ребенку) забывчивость, нерадивость, юмор висельника, может быть, даже некоторое упрямство, насколько она вообще была способна к этому; не говоря уже о ее болезненности, она и вообще-то была не очень счастлива, и безотрадная домашняя обстановка лежала на ней тяжким бременем. Свое порожденное разными взаимосвязями отношение к ней Ты выразил в одной фразе, ставшей для нас классической, почти богохульной, но очень показательной для того, сколь невинен Ты был в своем отношении к людям: «Хорошенькое свинство оставила мне в наследство наша святоша».

Я мог бы коснуться еще многих сфер Твоего влияния и борьбы против него, но здесь я чувствую себя уже менее уверенным и мне пришлось бы что-то додумывать, кроме того, чем больше Ты отдаляешься от магазина и семьи, тем дружелюбнее, мягче, предупредительней, внимательней, участливей (я имею в виду также и внешне) Ты становишься, так же как, например, самодержец, находящийся за пределами своей страны, не имеет возможности тиранствовать и потому напускает на себя добродушие в обращении даже с самыми ничтожными людьми. На групповых снимках во Франценсбаде Ты, например, в самом деле всегда стоишь среди маленьких угрюмых людей большой, приветливый, точно путешествующий король. Конечно, дети тоже могли бы извлечь из этого пользу, если бы только сумели — что было невозможно — еще в детстве понять это и если бы я, к примеру, не вынужден был постоянно жить в теснейшем, жестком, сдавливающем кольце Твоего влияния, как я действительно и жил.

Я не только утратил из-за этого чувство семьи, как Ты говоришь, более того, у меня скорее возникло чувство к семье — правда, главным образом отрицательное, стремле-

ние (которое обречено на постоянство) внутренне отделиться от Тебя. Мои отношения с людьми за пределами семейного круга пострадали от Твоего влияния еще больше, если это только возможно, Ты совершенно заблуждаешься, считая, что для других людей я из любви и преданности делаю все, а для Тебя и семьи из-за равнодушия и измены не делаю ничего. В десятый раз повторяю: я бы, наверное, все равно стал нелюдимым и робким, но отсюда еще долгий, туманный путь туда, где я оказался в действительности. (До сих пор я в письме намеренно умалчивал сравнительно о немногом, теперь же и далее мне придется умалчивать кое о чем, чего — признаюсь перед Тобой и собой — мне еще слишком тяжело касаться. Я говорю это для того, чтобы Ты, если общая картина местами станет неотчетливой, не подумал, будто виной тому недостаток доказательств, — напротив, у меня есть такие доказательства, которые могли бы сделать картину невыносимо резкой. Очень нелегко держаться здесь середины.) Впрочем, достаточно напомнить о прошлом: я потерял веру в себя, зато приобрел безграничное чувство вины. (Памятуя об этой безграничности, я однажды правильно о ком-то написал: «Он боится, что позор переживет его».¹²) Я не мог внезапно меняться, когда встречался с другими людьми, скорее я перед ними испытывал еще более глубокое чувство вины, ибо я ведь должен был, как уже говорил, исправлять то зло, которое Ты причинял им в своем магазине при моем соучастии. Кроме того, каждого, с кем я общался, Ты открыто или втайне в чем-нибудь упрекал, — также и за это мне нужно было добиваться прощения. Недоверие к большинству людей, которое Ты пытался внушить мне в магазине и дома (назови мне хоть одного человека, имевшего какое-то значение для меня в детстве, которого Ты не уничтожал бы своей критикой) и которое странным образом не особенно тяготило Тебя (у Тебя было достаточно сил, чтобы выносить такое недоверие, кроме того, оно было, возможно, всего лишь символом властителя), — это недоверие, которое в моих детских глазах ни в чем не получало подтверждения, так как вокруг я видел лишь недосыгаемо прекрасных людей, превращалось для меня в недоверие к самому себе

и постоянный страх перед всеми остальными. Тут уж я наверняка не мог спастись от Тебя. Твои заблуждения в этом вопросе основаны, возможно, на том, что, в сущности, Ты ведь ничего и не знал о моих связях с людьми и недоверчиво и ревниво (разве я отрицаю, что Ты любил меня?) считал, что я где-то восполняю то, чего лишен дома, так как невозможно ведь и вне дома жить таким же образом. Впрочем, в этом отношении как раз в детстве именно недоверие к собственному мнению давало мне известное утешение; я говорил себе: «Ты, конечно, преувеличиваешь, раздуваешь мелочи, как всегда бывает в юности, принимая их за великие исключения». Но позже, с расширением кругозора, я почти утратил это утешение.

Не нашел я спасения от Тебя и в иудаизме. Здесь, собственно говоря, спасение было бы возможно, даже более того — в иудаизме мы оба могли бы найти себя или нашли бы в нем друг друга. Но что за иудаизм Ты внедрил в меня! С течением лет у меня трижды менялось отношение к нему.

Ребенком я, в согласии с Тобой, упрекал себя за то, что недостаточно часто ходил в храм, не постился и т. д. Я считал, что тем самым поступаю плохо по отношению не к себе, а к Тебе, и меня охватывало чувство вины, благо оно всегда подстерегало меня.

Позже, молодым человеком, я не понимал, как можешь Ты, отдавая иудаизму такую малость, упрекать меня за то, что я (хотя бы из одного только пиетета, как Ты выражался) не пытаюсь соблюдать такую же малость. Насколько я мог видеть, это действительно была лишь малость, развлечение, да и не развлечение даже. Ты посещал храм четыре раза в году, был там, безусловно, ближе к равнодушным, чем к тем, кто принимал это всерьез, терпеливо разделялся, как с формальностью, с молитвами, приводил меня иной раз в изумление тем, что мог показать в молитвеннике место, которое как раз читалось, все остальное время Ты позволял мне, если уж я пришел в храм (это было главное), шататься где угодно. Долгие часы я зевал и дремал там (так скучно мне позже бывало, кажется, только на уроках танцев), силился по возможности развлечься тем небольшим раз-

нообразиям, которое там можно было углядеть, к примеру, когда открывали Ковчег завета, что всегда напоминало мне тир, где тоже открывалась дверца ящика, когда попадали «в яблочко», но только там всегда появлялось что-нибудь интересное, а здесь все время лишь старые куклы без головы¹³. Впрочем, я пережил там и немало страха не только из-за множества людей, с которыми приходилось соприкасаться — это само собой, — но и потому, что однажды Ты мимоходом упомянул, будто и меня могут вызвать читать тору. Годами я дрожал от страха при мысли об этом. В остальном же мою скуку почти ничто не нарушало, разве только бармицве*, но она требовала лишь нелепого заучивания наизусть, то есть сводилась лишь к нелепому экзамену; и, кроме того — это уже связано с Тобой, — маленькие незначительные происшествия, например, когда Тебя вызывали читать тору и Ты хорошо справлялся с этим исключительно мирским — в моем восприятии — делом или когда Ты во время поминовения усопших оставался в храме, а меня отсылали оттуда, что на протяжении долгих лет вызывало у меня едва осознанное чувство — вызванное, возможно, отсылкой и недостатком сколько-нибудь глубокого участия, — будто там происходит что-то непристойное. Так было в храме, дома же все это было, пожалуй, еще более убого и сводилось к первому пасхальному вечеру, который все больше превращался под влиянием подрастающих детей в комедию, сопровождаемую судорожным смехом. (Почему Ты поддавался этому влиянию? Потому что Ты его вызывал.) Вот каков был материал, который должен был питать веру; к этому добавлялась разве что простертая рука, указующая на «сыновей миллионера Фукса», которые в дни больших праздников бывали со своим отцом в храме. Я не знал, что еще можно сделать с этим материалом, кроме как пытаться побыстрее избавиться от него; именно это избавление и казалось мне наиболее благочестивым актом.

Однако спустя еще некоторое время я увидел это снова, другими глазами и понял, почему Ты вправе был думать, что я и в этом отношении злонамеренно предал

* Бармицве — конфирмация (*древнеевр.*).

Тебя. Из маленькой, подобной гетто, деревенской общины Ты действительно вынес небольшой налет иудаизма, его тонкий слой в городе, а затем на военной службе еще больше истончился, но все-таки впечатлений и воспоминаний юности еще кое-как хватало для некоего подобия еврейской жизни, в особенности если учесть, что Ты не очень-то нуждался в такого рода подспорье, поскольку был очень крепкого корня и религиозные соображения, если они не слишком скрещивались с соображениями общественными, вряд ли могли повлиять на Тебя. Сущность определяющей Твою жизнь веры состояла в том, что Ты верил в безусловную правильность взглядов евреев, принадлежащих к определенному классу общества, и, так как взгляды эти были сродни Тебе, Ты, таким образом, верил, собственно говоря, самому себе. Здесь тоже было еще достаточно иудаизма, но для дальнейшей передачи ребенку его было мало, в процессе передачи оно по капле вытекало и полностью иссякало. Отчасти это были непередаваемые юношеские впечатления, отчасти — Твоя вселяющая страх натура. Да и невозможно было толковать ребенку, из чистого страха необычайно остро за всем наблюдающему, что те пустяки, которые Ты с соответствующим их пустячности равнодушием выполняешь во имя иудаизма, могут иметь более высокий смысл. Для Тебя они имели смысл как маленькая память о прежних временах, и Ты хотел передать ее мне, но поскольку и для Тебя они не имели самостоятельного значения, Ты мог делать это лишь уговорами или угрозами; с одной стороны, таким путем нельзя было добиться успеха, с другой — моя кажущаяся черствость вызывала в Тебе ярость, поскольку Ты ведь не считал собственную позицию слабой.

Все это в целом отнюдь не единичное явление, примерно так же обстояло дело у большей части того переходного поколения евреев, которое переселилось из относительно еще набожных деревень в города; так получалось само собой, но только нашим отношениям, и без того достаточно острым, это придавало еще одну весьма болезненную грань. Конечно, и в этом пункте Ты, как и я, можешь верить в свою невиновность, но объяснить эту невиновность Ты должен сущностью своей природы и ус-

ловиями времени, а не просто внешними обстоятельствами, то есть не говорить, к примеру, что у Тебя было слишком много других дел и забот, чтобы иметь возможность заниматься еще и такими вещами. Так Ты обычно оборачиваешь свою несомненную невинность в несправедливый упрек другим. Это очень легко опровергнуть вообще, а также и в данном случае. Ведь никто не говорит о каких-то, скажем, уроках, которые Тебе следовало давать своим детям, речь идет о достойной подражания жизни; будь Твой иудаизм сильнее, Твой пример был бы более обязывающим — само собой разумеется, это опять-таки вовсе не упрек, а только защита от Твоих упреков. Ты недавно читал юношеские воспоминания Франклина¹⁴. Я и в самом деле нарочно дал их тебе прочитать, но не ради краткого рассуждения о вегетарианстве, как Ты иронически заметил, а ради того, как описаны в книге отношения между автором и его отцом, и ради того, что в этих написанных для сына воспоминаниях невольно проступают и отношения между автором и его сыном. Я не хочу здесь останавливаться на деталях.

То, что моя оценка Твоего иудаизма верна, мне, так сказать задним числом, подтвердило Твое поведение в последние годы, когда Тебе показалось, что я стал больше заниматься еврейскими вещами. Поскольку Ты всегда уже заранее отрицательно настроен против любых моих занятий, и особенно против того, что вызывает у меня интерес, то же самое было и здесь. Хотя можно было бы ожидать, что здесь Ты допустишь маленькое исключение. То ведь давал о себе знать иудаизм, порожденный Твоим иудаизмом, а значит, возникала возможность установления новых отношений между нами. Я не отрицаю, что, прояви Ты интерес к этим вещам, они именно потому могли бы показаться мне подозрительными. Я не собираюсь утверждать, что в этом отношении я хоть сколько-нибудь лучше Тебя. Но до испытания дело и не дошло. Из-за меня иудаизм стал Тебе отвратителен, еврейские сочинения — нечитабельны, Тебя «тошнило от них». Это могло означать, что Ты настаиваешь на том, что только тот иудаизм, который Ты раскрыл мне в детстве, и есть единственно правильный, иного быть не может.

Но вряд ли возможно, чтобы Ты настаивал на этом. В таком случае «тошнота» могла означать лишь (помимо того, что в первую очередь она относилась не к иудаизму, а к моей персоне), что Ты невольно признавал слабость Твоего иудаизма и моего еврейского воспитания, не хотел никаких напоминаний об этом и отвечал на все напоминания открытой ненавистью. Впрочем, в своем отрицательном отношении Ты очень преувеличивал мое увлечение иудаизмом; во-первых, он ведь носил в себе Твое проклятие, во-вторых, решающим фактором для его развития было отношение к ближним, то есть в моем случае этот фактор был убийственным.

Более прав Ты был в своей антипатии к моему сочинительству и ко всему, что — неведомо Тебе — было связано с ним. Здесь я действительно в чем-то стал самостоятельным и отдалился от Тебя, хотя это немного и напоминает червя, который, если наступить на него ногой и раздавить хвост, оторвется передней частью и уползет в сторону. Я обрел некоторую безопасность, получил передышку; антипатия, которая, естественно, сразу же возникла у Тебя к моему сочинительству, на сей раз в виде исключения была мне приятна. Правда, мое тщеславие, мое честолюбие страдали от Твоих ставших для нас знаменитыми слов, которыми Ты приветствовал мои книги: «Положи ее на ночной столик!» (чаще всего, когда приносили книгу, Ты играл в карты), но в основном мне все-таки было хорошо при этом не только потому, что во мне поднималась протестующая злость, радость по поводу того, что мое восприятие наших отношений получило новое подтверждение, но и совершенно независимо, ибо слова те звучали для меня примерно так: «Теперь ты свободен!» Разумеется, это был самообман, я не был свободен, или — в лучшем случае — еще не был свободен. В моих писаниях речь шла о Тебе, я изливал в них свои жалобы, которые не мог излить на Твоей груди. Это было намеренно оттягиваемое прощание с Тобой, которое хотя и было предопределено Тобой, но происходило так, как мне того хотелось. Но как ничтожно все это было! Вообще это заслуживает упоминания лишь потому, что происходило в моей жизни, в другом месте это попросту не заметили бы, и еще потому, что оно

владело моей жизнью, в детстве — как предчувствие, позже — как надежда, еще позже — зачастую как отчаяние, и оно же — если угодно, опять-таки в Твоем образе — продиктовало мои немногие жалкие решения.

Например, выбор профессии. Конечно, Ты великодушно и в данном случае даже терпеливо предоставил мне здесь полную свободу. Правда, Ты тут следовал общепринятому среди еврейского среднего сословия — авторитетному также и для Тебя — принципу обращения с сыновьями или по крайней мере взглядам этого сословия. В конце концов здесь сказалось также и одно из Твоих заблуждений относительно меня. Отцовская гордость, незнание моей истинной жизни, выводы, основанные на моей болезненности, внушили Тебе издавна, что я отличаюсь особенным прилежанием. Ребенком я, по Твоему мнению, все время учился и позже все время писал. Это абсолютно неверно. Гораздо меньшим преувеличением было бы сказать, что я мало учился и ничему не научился; не так уж странно, что после многих лет при средней памяти и не наихудших способностях в голове что-то осталось — во всяком случае, количество знаний и особенно прочность этих знаний весьма ничтожны в сравнении с количеством затраченных денег и времени в условиях внешне беззаботной, спокойной жизни, особенно в сравнении почти со всеми людьми, которых я знаю. Это прискорбно, но мне понятно. С тех пор как я помню себя, у меня было столько глубочайших забот, чтобы утвердить свое духовное «я», что все остальное было мне безразлично. Еврейские гимназисты у нас вообще со странностями, даже самыми невероятными, но я больше никогда не встречал такого холодного, едва прикрытого, несокрушимого, подетски беспомощного, доходящего до нелепости, по-звериному самодовольного безразличия, как у меня — совсем уж странного ребенка,— правда, оно было единственной защитой от разрушающих нервную систему страха и сознания вины. Меня занимали лишь заботы о себе, заботы самого разнообразного свойства. Скажем, беспокойство о собственном здоровье; возникало оно легко, то и дело рождались маленькие опасения в связи с пищеварением, выпадением волос, искривлением позвоночника и так далее, они имели бесчисленные градации и в конце концов за-

вершались действительным заболеванием. Но так как я ни в чем не чувствовал уверенности, каждую минуту нуждался в новом подтверждении своего существования, ничто по-настоящему, бесспорно не принадлежало мне, одному только мне, чем распорядиться мог бы только я сам — поистине сын, лишенный наследства, — то, разумеется, я стал не уверен также и в том, что было ближе всего, — в собственном теле; я вытягивался в длину, но не знал, что с этим поделать, тяжесть была слишком большой, я стал сутулиться; я едва решался двигаться, тем более заниматься гимнастикой, оставался слабым; всему, чем я еще обладал, я удивлялся как чуду, например хорошему пищеварению; и этого было достаточно, чтобы потерять его, открыв тем самым дорогу всякого рода ипохондрии, пока затем сверхчеловеческое напряжение в связи с намерением жениться (об этом еще будет речь) не привело к легочному кровотечению, в чем, наверное, немалую роль сыграла квартира в Шёнборнском дворце¹⁵, — она мне нужна была только потому, что я думал, будто она нужна для моего писания, стало быть, и это можно включить в счет. Значит, все это следствие не чрезвычайной работы, как Ты всегда представляешь себе. Бывали годы, когда я, совершенно здоровый, провалился на диване больше времени, чем Ты за всю жизнь, включая все болезни. Если я с крайне занятым видом убежал от Тебя, то чаще всего для того, чтобы прилечь в своей комнате. Вся производительность моего труда как в канцелярии (где лень, правда, не очень бросается в глаза, и, кроме того, она сдерживалась моей боязливостью), так и дома была ничтожной; имей Ты об этом представление, Ты пришел бы в ужас. Вероятно, от природы я вовсе не предрасположен к лени, но мне нечего было делать. Там, где я жил, я был отвергнут, осужден, уничтожен, и хотя попытка бежать куда-нибудь мне стоила огромного напряжения, но это была не работа, ибо речь шла о невозможном, недостижимом — за малым исключением — для моих сил.

И вот в таком состоянии я получил свободу выбора профессии. Но был ли я вообще в силах воспользоваться такой свободой? Мог ли я еще ожидать от себя, что овладею настоящей профессией? Моя самооценка больше зависела от Тебя, чем от чего бы то ни было другого,

например от внешнего успеха. Последний мог подбодрить меня на миг, не более, Ты же всегда перетягивал чашу весов. Никогда, казалось, мне не закончить первый класс народной школы, однако это удалось, я даже получил премию; но вступительные экзамены в гимназию мне, конечно, не выдержать, однако и это удалось; ну, уж теперь я непременно провалюсь в первом классе гимназии,— однако нет, я не провалился, и дальше все удавалось и удавалось. Но это не порождало уверенности, напротив, я всегда был убежден — и недовольное выражение Твоего лица служило мне прямым подтверждением,— что, чем больше мне удастся сейчас, тем хуже все кончится. Часто я мысленно видел страшное собрание учителей (гимназия лишь пример, но и все остальное, связанное со мной, было подобно ему), видел, как они собираются — во втором ли классе, если я справлюсь с первым, в третьем ли, если я справлюсь со вторым классом, и т. д.,— собираются, чтобы расследовать этот единственный в своем роде, вопиющий к небесам случай, каким образом мне, самому неспособному и, во всяком случае, самому невежественному ученику, удалось пробраться в этот класс, откуда меня теперь, когда ко мне привлечено всеобщее внимание, конечно, сразу же вышвырнут — к общему восторгу праведников, стряхнувших с себя наконец этот кошмар. Ребенку нелегко жить с подобными представлениями. Какое дело мне было при таких обстоятельствах до уроков? Кто смог бы выбить из меня хоть искру заинтересованности? Уроки — и не только уроки, но и все вокруг в этом решающем возрасте — интересовали меня примерно так же, как еще находящегося на службе и в страхе ожидающего разоблачения растратчика в банке интересуют мелкие текущие банковские дела, которые он еще должен выполнить как служащий. Столь мелким, столь далеким казалось все рядом с главным. Так все и шло до экзаменов на аттестат зрелости, их я действительно выдержал, отчасти обманном путем, а потом все прекратилось, теперь я был свободен. Если даже раньше, несмотря на гнет гимназии, я интересовался только собой, то теперь, когда я освободился, и подавно. Итак, настоящей свободы в выборе профессии для меня не существовало, я знал: по сравнению с главным мне все

будет столь же безразлично, как все предметы гимназического курса, речь, стало быть, идет о том, чтобы найти такую профессию, которая с наибольшей легкостью позволила бы мне, не слишком ущемляя тщеславие, проявлять подобное же безразличие. Значит, самое подходящее — юриспруденция. Маленькие, противодействующие этому решению порывы тщеславия, бессмысленной надежды, как, например, двухнедельное изучение химии, полугодовое изучение немецкого языка, лишь укрепляли первоначальное убеждение. Итак, я приступил к изучению юриспруденции. Это означало, что в течение нескольких предэкзаменационных месяцев, расходуя изрядное количество нервной энергии, я духовно питался буквально древесной мукой, к тому же пережеванной до меня уже тысячами ртов. Но в известном смысле это и пришлось мне по вкусу, как в известном смысле была мне по вкусу прежде гимназия, а потом профессия чиновника, ибо все это полностью соответствовало моему положению. Во всяком случае, я проявил поразительное предвидение, уже малым ребенком я достаточно отчетливо предчувствовал, какими будут потом учеба и профессия. От них я не ждал спасения, в этом смысле я уж давно махнул на все рукой.

Я совсем не предвидел, возможен ли и что будет означать для меня брак; этот самый большой кошмар всей моей жизни обрушился на меня почти совсем неожиданно. Ребенок развивался так медленно, казалось, подобные вещи никак его не касались; порой он ощущал потребность подумать о них, но то, что тут ему предстоит долгое решающее и даже жесточайшее испытание, он не предполагал. На самом же деле попытки женитьбы превратились в грандиознейшую и самую обнадеживающую попытку спасения, соответственно грандиозными были и неудачи.

Поскольку в этой области мне ничто не удастся, я боюсь, мне не удастся и объяснить Тебе мои попытки женитьбы. А ведь от этого зависит успех всего письма, ибо, с одной стороны, в этих попытках сосредоточилось все то положительное, чем я располагаю, с другой — здесь с какой-то яростью так же сосредоточилось все то дурное, что я считаю побочным следствием Твоего воспитания, — слабость, отсутствие уверенности в своих силах, чувство

вины, они буквально воздвигли преграду между мною и женьбой. Мне трудно объяснить это еще и потому, что в течение многих дней и ночей я снова и снова все продумывал и взвешивал, так что теперь я сам сбит с толку. Но Твое полное, как я думаю, непонимание дела облегчит мне объяснение: хотя бы немножко уменьшить это полное непонимание будет не так уж невероятно трудно.

Прежде всего мои неудачные попытки жениться Ты ставишь в ряд остальных моих неудач; я не стал бы возражать против этого при условии, что Ты принимаешь мое прежнее объяснение неудач. Они действительно стоят в том же ряду, но Ты недооцениваешь их значение, и недооцениваешь настолько, что, говоря об этом друг с другом, мы, собственно, говорим о совершенно разном. Я осмелюсь утверждать, что во всей Твоей жизни не случилось ничего, что имело бы для Тебя такое же значение, какое имели для меня попытки жениться. Этим я не хочу сказать, будто Ты не пережил ничего само по себе значительного, напротив, Твоя жизнь была куда богаче, полнее заботами и трудностями, чем моя, но именно потому с Тобой и не случилось ничего подобного. Представь себе, что кому-то нужно взойти на пять низких ступеней, а другому всего на одну, но эта одна, по крайней мере для него, так же высока, как все те пять ступеней вместе; первый одолеет не только эти пять, но и еще сотни и тысячи других, он проживет большую и очень напряженную жизнь, но ни одна из ступеней, на которые он всходил, не будет иметь для него такого значения, какое для другого — та единственная, первая, высокая, для него неодолимая ступень, на которую ему не взобраться и через которую ему, конечно, и не переступить.

Жениться, создать семью, принять всех рождающихся детей, сохранить их в этом неустойчивом мире и даже повести вперед — это, по моему убеждению, самое большое благо, которое дано человеку. То, что, казалось бы, многим это удается легко, не может служить возражением, ибо, во-первых, на самом деле удается немногим, во-вторых, эти немногие большей частью не «добиваются», а просто это «случается» с ними; правда, оно не то «самое большее», но все же очень важное и очень почетное (в особенности потому, что здесь нельзя полностью от-

делить «добиваться» от «случаться»). И в конце концов речь идет совсем не о «самом большем», а лишь о некотором отдаленном, но достаточно пристойном приближении к нему; ведь необязательно взлететь на солнце, достаточно вскарабкаться на чистое местечко на земле, куда временами заглядывает солнце и где можно немножко погреться.

Как же я был подготовлен к этому? Хуже некуда. Это ясно уже из предыдущего. Если и существует возможность непосредственно подготовить отдельную личность и непосредственно создать общие предпосылки, то внешне Ты в это не очень много вмешивался. Иначе и быть не могло, здесь все решают общепринятые обычаи сословия, народа, времени. Тем не менее Ты и тут вмешивался, не много, правда, ибо условием такого вмешательства может служить лишь полное взаимное доверие, а оно у нас отсутствовало уже задолго до решающего момента, — и вмешивался Ты не очень удачно, ибо наши потребности были совсем разными; то, что волнует меня, Тебя едва трогает, и наоборот; то, что Ты считаешь невиновностью, мне может показаться виной, и наоборот; то, что для Тебя не имеет последствий, меня может уложить в гроб.

Я помню, как однажды вечером, гуляя вместе с Тобой и матерью на площади Йозефа, поблизости от нынешнего Земельного банка, я начал глупо, хвастливо, высокомерно, гордо, хладнокровно (это было неискренне), холодно (это было искренне) и запинаясь, как почти всегда при разговоре с Тобой, говорить об «интересных» вещах, упрекая вас в том, что вы меня не просветили, что об этом пришлось позаботиться школьным товарищам, что мне угрожали большие опасности (тут я, по своему обыкновению, бесстыдно лгал, дабы показаться храбрым, ибо вследствие моей робости не имел ясного представления о «больших опасностях»), но в заключение дал понять, что теперь я, к счастью, все знаю, не нуждаюсь больше в совете и все уже в порядке. Я начал тот разговор главным образом потому, что мне доставляло удовольствие хотя бы поговорить об этом, потом и из любопытства и, в конце концов, еще и для того, чтобы как-то за что-то отомстить вам. Ты в соответствии со своей натурой отнесся к этому

очень просто, сказал лишь, что можешь посоветовать, как, не подвергаясь опасности, заниматься этими делами. Возможно, я хотел вытянуть из Тебя именно такой ответ, именно его и жаждала похоть ребенка, перекормленного мясом и всякими вкусными вещами, физически бездеятельного, вечно занятого самим собой, но моя внешняя стыдливость была настолько задета — или я считал, что она должна быть задета, — что вопреки собственной воле я не мог больше говорить с Тобой об этом и с дерзким высокомерием оборвал разговор.

Твой тогдашний ответ оценить нелегко; с одной стороны, в нем есть что-то убийственно откровенное, в какой-то степени первозданное, с другой же стороны, в том, что касается самой сути урока, он очень по-современному беззаботен. Не помню, сколько лет мне было тогда, во всяком случае, немногим более шестнадцати. Для такого юноши это был очень странный ответ, и дистанция между нами проявилась и в том, что, в сущности, это был первый прямой жизненный урок, полученный мною от Тебя. Однако истинный смысл его, который тогда еще не полностью был для меня понятен и по-настоящему дошел до сознания лишь много позже, заключался в следующем: то, что Ты посоветовал мне, было ведь, по Твоему и тем более по моему тогдашнему мнению, самым грязным, что только могло быть. Твоя забота о том, чтобы я не принес домой телесной грязи, была чем-то второстепенным, Ты охранял лишь себя, свой дом. Главное же — Ты сам оставался вне своего совета, супругом, чистым человеком, стоящим выше таких вещей; тогда это еще больше усилилось для меня тем, что и брак казался мне тогда бесстыдством, и потому я не мог перенести на родителей то, что вообще слышал о браке. Тем самым Ты становился еще чище, еще возвышеннее. Мысль, что до женилбы Ты мог прислушаться к подобному совету, казалась мне совершенно недопустимой. Таким образом, на Тебе не было почти ни малейшего следа земной грязи. И именно Ты несколькими откровенными словами столкнул меня в грязь, словно я был предназначен для этого. Если бы мир состоял только из Тебя и меня — а такое представление мне было очень близко, — тогда чистота мира закончилась бы на Тебе, а с меня по Твоему совету на-

чалась бы грязь. Само по себе непонятно, почему Ты обрел меня на такое, лишь старая вина и глубочайшее презрение с Твоей стороны могли служить объяснением. Тем самым я опять был задет до самых глубин моего существа, и задет очень жестоко.

Здесь, возможно, отчетливее всего проявилась и наша взаимная невинность. А дает Б откровенный, соответствующий его взглядам, не очень красивый, но в городе теперь вполне принятый, может быть предотвращающий заболевания, совет. Совет этот в моральном смысле для Б не очень благотворен, но с течением времени он ведь сумеет избавиться от причиненного вреда, к тому же он не обязан воспользоваться советом, и, во всяком случае, в самом совете не содержится повода к тому, чтобы весь его будущий мир рухнул. И все-таки нечто подобное происходит, но происходит именно потому, что А — это Ты, а Б — это я.

Эта обоюдная невинность мне особенно ясна еще и потому, что подобное столкновение снова произошло между нами при совершенно других обстоятельствах лет двадцать спустя, — столкновение ужасное, но само по себе более безвредное, ибо что уж мне, тридцатишестилетнему, могло еще причинить вред. Я имею в виду небольшое объяснение, произошедшее между нами в один из беспокойных дней после заявления о моем последнем намерении жениться. Ты сказал мне примерно так: «Она, наверное, надела какую-нибудь модную кофточку, как это умеют пражские еврейки, и ты, конечно, сразу же решил на ней жениться. И жениться как можно скорее, через неделю, завтра, сегодня. Я тебя не понимаю, ты живешь в городе и не знаешь другого выхода, кроме как немедленно жениться на первой встречной. Разве нет других возможностей? Если ты боишься, я сам пойду туда с тобой». Ты говорил обстоятельнее и яснее, но подробностей я не помню, кажется, у меня поплыл туман перед глазами, меня даже больше интересовала мать, которая, хотя и полностью была согласна с тобой, взяла все же что-то со стола и вышла из комнаты.

Вряд ли Ты когда-нибудь глубже унижал меня словами, и никогда столь отчетливо Ты не показывал мне своего презрения. Когда Ты двадцать лет тому назад говорил

со мною подобным образом, в этом можно было, став на Твою точку зрения, усмотреть даже некоторое уважение к рано созревшему городскому юнцу, которого, по Твоему мнению, уже можно без всяких околичностей прямо ввести в жизнь. Сегодня подобное отношение лишь увеличивает презрение, ибо юноша, который тогда брал разбег, на том и застрял, и он кажется Тебе теперь не более обогащенным опытом, а лишь на двадцать лет более жалким. Мое решение, связанное с определенной девушкой, для Тебя ничего не значит. Мою решительность Ты всегда (бессознательно) низко ставил и теперь (бессознательно) считаешь, будто знаешь, чего она стоит. Ты ничего не знал о попытках спасения, которые я предпринимал в других направлениях, поэтому не можешь ничего знать о ходе мыслей, приведшем меня к этой попытке жениться, Тебе приходится разгадывать его, и Ты разгадываешь — соответственно своему общему мнению обо мне — на самый отвратительный, самый грубый, самый нелепый лад. И без малейших колебаний таким же манером высказываешь мне это. Позор, который Ты тем самым навлекаешь на меня, для Тебя ничто в сравнении с позором, который я, по Твоему мнению, навлеку на Твое имя своей женитьбой.

По поводу моих намерений жениться Тебе есть что возразить мне, что Ты и сделал: Ты-де не можешь питать теперь большое уважение к моему решению, поскольку я дважды расторгал помолвку с Ф. и дважды снова заключал ее, понапрасну тасил Тебя и мать в Берлин на помолвку и тому подобное. Все это правда, но как дошло до этого?

Основной замысел обеих попыток жениться был совершенно правильным: создать домашний очаг, стать самостоятельным. Замысел, симпатичный и Тебе, но в действительности он уподобился детской игре, когда один держит руку другого и даже крепко сжимает ее, а сам кричит: «Уходи, да уходи же, почему не уходишь?» В нашем случае это усложнялось тем, что Ты с давних пор честно говорил свое «уходи же», что с тех же давних пор, сам того не ведая, Ты удерживал, вернее, подавлял меня уже самой своей натурой. Обе девушки были выбраны — правда, случайно — исключительно удачно. Еще одно свидетельство Твоего полного непонимания: как можешь Ты

думать, что я — робкий, нерешительный, мнительный — мигом решусь на женитьбу, очарованный, скажем, кофточкой. Оба брака были бы скорее браками по расчету, если понимать под этим, что все мои мысли днем и ночью — в первый раз несколько лет, во второй несколько месяцев — были заняты этими планами.

Ни одна из девушек не разочаровала меня — разочаровал обеих только я. Сейчас я сужу о них так же, как было и тогда, когда хотел жениться на них.

И при второй попытке жениться я не пренебрег опытом первой, не был легкомысленным, как может показаться. Оба случая совершенно разные, во втором случае, который вообще сулил гораздо больше, именно прежний опыт мог меня обнадежить, говорить о подробностях я сейчас не хочу.

Так почему же я все-таки не женился? Конечно, я встретился с некоторыми препятствиями, как и во всем, но ведь жизнь и состоит из преодоления таких препятствий. Однако главное препятствие, к сожалению не зависящее от частного случая, заключается в моей очевидной духовной неспособности к женитьбе. Это выражается в том, что с момента, когда я решаю жениться, я перестаю спать, голова пылает днем и ночью, жизнь становится невыносимой, я мечусь в отчаянии из стороны в сторону. Вызвано это, в сущности, не заботами, хотя мои нерешительность и педантизм соответственно порождают бесчисленные заботы, но не в них главное, они лишь, как черви на трупе, довершают дело, — убивает меня другое. А именно — гнет постоянного страха, слабости, презрения к самому себе.

Хочу попробовать объяснить подробнее: когда я предпринимаю попытку жениться, две противоположности в моем отношении к Тебе проявляются столь сильно, как никогда прежде. Женитьба, несомненно, залог решительного самосвобождения и независимости. У меня появилась бы семья, то есть, по моему представлению, самое большее, чего только можно достигнуть, значит, и самое большее из того, чего достиг Ты, я стал бы Тебе равен, весь мой прежний и вечно новый позор, вся Твоя тирания ушли бы просто в прошлое. Это было бы волшебно, но потому-то и сомнительно. Слишком уж это много — так много достигнуть нельзя. Вообразим, что человек попал в тюрьму

и решил бежать, что само по себе, вероятно, осуществимо, но он намеревается одновременно перестроить тюрьму в увеселительный замок. Однако, сбежав, он не сможет перестраивать, а перестраивая, не сможет бежать. Если при существующих между нами злосчастных отношениях я хочу стать самостоятельным, то должен сделать что-то, по возможности не имеющее никакой связи с Тобой; женитьба хотя и есть самое большое в этом смысле и дает почетнейшую самостоятельность, вместе с тем теснейшим образом связана с Тобой. Поэтому желание найти здесь выход смахивает на безумие, и всякая попытка почти безумием же и наказывается.

Но отчасти именно этой тесной связью и привлекает меня женитьба. Я представляю себе равенство, которое после того установилось бы между нами и которое Ты мог бы понять как никакое другое, именно потому столь прекрасным, что я смог бы тогда стать свободным, благодарным, избавленным от чувства вины прямодушным сыном, а Ты — ничем не омрачаемым, недеспотичным, полным сочувствия, довольным отцом. Но чтобы достигнуть этой цели, надо сделать все случившееся неслучившимся, то есть вычеркнуть нас обоих.

Но раз мы такие, какие есть, женитьба закрыта для меня как раз потому, что эта область целиком принадлежит Тебе. Иногда я представляю себе разостланную карту мира и Тебя, распростертого поперек нее. И тогда мне кажется, будто для меня речь может идти только о тех областях, которые либо не покоятся под Тобой, либо лежат за пределами Твоей досягаемости. А их — в соответствии с моим представлением о Твоей величине — совсем немного, и области эти не очень отрадные, и брак отнюдь не принадлежит к их числу.

Само это сравнение показывает, что я вовсе не хочу сказать, будто Ты своим примером изгнал меня из области брака, словно из магазина. Напротив, несмотря на все отдаленное сходство. Ваш брак в моих глазах — брак во многом образцовый, образцовый тем, как вы верны и помогаете друг другу, и тем, сколько у вас детей, и даже тогда, когда дети выросли и все больше нарушали мир в семье, брак, как таковой, остался незатронутым. Именно на этом примере, возможно, и сложилось мое высокое представление о бра-

ке; то, что мое стремление к браку ни к чему не привело, объясняется другими причинами. Они заключаются в Твоем отношении к детям, которому посвящено все письмо.

Существует мнение, будто страх перед браком иной раз проистекает от боязни, как бы дети потом не отплатили нам за то, в чем мы сами согрешили перед собственными родителями. Я думаю, в моем случае это не имеет слишком большого значения, ибо мое чувство вины, собственно говоря, порождено Тобой и оно к тому же слишком проникнуто сознанием своей исключительности, более того, это сознание исключительности — неотъемлемая часть его мучительной сущности, повторение немислимо. И все же я должен сказать, что для меня был бы невыносим такой безмолвный, глухой, черствый, слабосильный сын, я, пожалуй, бежал бы от него, не будь иной возможности, уехал бы, как Ты хотел это сделать лишь в связи с моей женитьбой. И это тоже, возможно, повлияло на мою неспособность к женитьбе.

Но гораздо важнее при этом страх за себя самого. Это следует понимать таким образом: я уже упоминал, что сочинительство и все с ним связанное — это мои маленькие попытки стать самостоятельным, попытки бегства, они предпринимались с ничтожнейшим успехом и вряд ли приведут к большему, многое подтверждает это. Тем не менее мой долг или, вернее, весь смысл моей жизни состоит в том, чтобы охранять их, сделать все, что только в моих силах, чтобы предотвратить всякую угрожающую им опасность, даже возможность такой опасности. Брак таит в себе возможность такой опасности, правда, он же может стать и величайшим вдохновителем, но для меня достаточно того, что он таит такую опасность. Что я стану делать, если он действительно окажется опасностью! Как смогу я жить в браке с ощущением этой опасности, ощущением, может быть, и необъяснимым, но тем не менее неопровержимым! Перед такой перспективой я, правда, могу колебаться, но конечный исход предопределен, я должен отказаться. Поговорка о журавле в небе и синице в руках очень мало подходит здесь. В руках у меня пусто, в небе же все, и тем не менее я должен выбрать эту пустоту — так решают условия борьбы и бремя жизни. Подобным образом я вынужден был выбирать и профессию.

Но самое главное препятствие к женитьбе состоит в неистребимом убеждении, что для сохранения семьи, а тем более для руководства ею необходимо все, чему я научился у Тебя, а именно все вместе, хорошее и плохое, органически соединенное в Тебе, то есть сила и презрение к другим, здоровье и известная неумеренность, дар речи и заторможенность, уверенность в себе и недовольство всеми остальными, чувство превосходства и деспотизм, знание людей и недоверие к большинству из них, затем достоинства безо всяких недостатков, как, например, усердие, терпение, присутствие духа, бесстрашие. По сравнению с Тобой я почти лишен всего этого или обладаю им лишь в малой степени — хотел ли я тем не менее отважиться на брак? — я ведь видел, что даже Тебе в браке приходится вести тяжкую борьбу, а в отношении детей — даже терпеть поражения. Этот вопрос я, разумеется, не задаю себе четко и не отвечаю на него четко, иначе потянулись бы обычные мысли и напомнили бы мне о других мужчинах, иного, нежели Ты, склада (незачем далеко ходить — укажу на очень отличающегося от Тебя дядю Рихарда) и тем не менее женившихся и, во всяком случае, не погибших, что само по себе уже очень много, а для меня было бы совершенно достаточным. Я не ставлю этот вопрос, я живу с ним с самого детства. Я ведь проверял себя не только в отношении брака, но и в отношении любой мелочи; в отношении любой мелочи Ты Твоим примером и Твоей системой воспитания, как я пытался описать, убеждал меня в моей неспособности, и то, что оказывалось правильным и подтверждало Твою правоту в отношении любой мелочи, должно было, разумеется, быть правильным и в отношении самого большого, то есть — брака. До того времени, как я предпринял попытку женитьбы, я рос примерно как коммерсант, который живет изо дня в день, правда, с заботами и дурными предчувствиями, но без точного бухгалтерского учета. Несколько раз он получал небольшие прибыли, с которыми из-за их редкости он мысленно все время носится и которые преувеличивает, в остальном же у него ежедневные убытки. Все заносится в книги, однако баланс никогда не подводится. Но вот наступает необходимость подведения итога, то есть попытка женитьбы. При больших суммах, с которыми здесь приходится считаться, получается так, будто никогда не было

и малейшей прибыли, все сплошная огромная задолженность. Попробуй тут женись, не сойдя с ума!

Так заканчивается моя прежняя жизнь с Тобой, и такие перспективы на будущее она несет.

Окинув взглядом обоснования моего страха перед Тобой, Ты можешь ответить: «Ты утверждаешь, что я облегчаю себе жизнь, объясняя свое отношение к тебе просто твоей виной, я же считаю, что ты, несмотря на все свои усилия, не только снимаешь с себя тяжесть, но и хочешь представить все в более выгодном для тебя свете. Сперва ты тоже отрицаешь всякую свою вину и ответственность — в этом смысле наше поведение одинаково. Но если я откровенно приписываю всю вину одному тебе, ты хочешь быть одновременно «сверхрассудительным» и «сверхчутким» и тоже снимаешь с меня всякую вину. Разумеется, последнее удастся тебе лишь по видимости (а большего ты и не хочешь), и между строк, несмотря на «красивые слова» о сущности и характере и антагонизме и беспомощности, проступает обвинение, будто нападающей стороной был я, в то время как все, что ты делал, было лишь самозащитой. Так ты самой своей неискренностью мог бы уже достаточно достичь, ты доказал три вещи: во-первых, что ты не виноват, во-вторых, что виноват я и, в-третьих, что ты из чистого великодушия не только готов простить меня, но и — ни мало ни много — доказать и самому захотеть поверить, будто я, вопреки истине, тоже не виноват. Это могло бы быть достаточным, но тебе и этого недостаточно. Дело в том, что ты вбил себе в голову желание жить только за мой счет. Я признаю, что мы с тобой воюем, но война бывает двух родов. Бывает война рыцарская, когда силами меряются два равных противника, каждый действует сам по себе, проигрывает за себя, выигрывает для себя. И есть война паразита, который не только жалит, но тут же и высасывает кровь для сохранения собственной жизни. Таков настоящий профессиональный солдат, таков и ты. Ты нежизнеспособен; но чтобы жить удобно, без забот и упреков самому себе, ты доказываешь, что всю твою жизнеспособность отнял у тебя и упрятал в свой карман я. Теперь тебя не касается, что ты нежизнеспособен, — ведь ответственность за это несу я, а ты спокойно ложишься и предоставляешь мне тащить тебя — физически и духовно — через жизнь.

Пример: когда ты недавно захотел жениться, ты в то же время хотел, как признаешься в этом письме, и не жениться, но при этом не хотел сам затрачивать усилия, а хотел, чтобы я помог тебе не жениться, запретив женитьбу из-за «позора», который навлечет на меня этот союз. Но я и не подумал сделать это. Во-первых, я не хотел в этом случае, как и всегда, «быть помехой твоему счастью», во-вторых, я не хочу услышать когда-нибудь подобного рода упрек от моего ребенка. Но разве мне помогло то, что я, преодолев самого себя, предоставил тебе свободу решения относительно брака? Ни в малейшей мере. Ты не отказался бы от женитьбы из-за моего отрицательного отношения к ней, напротив, оно бы тебя лишь подстегнуло жениться на этой девушке, ибо таким путем «попытка бегства», говоря твоими словами, получила бы наиболее полное выражение. А мое разрешение на женитьбу не сняло бы упреков, ведь ты все равно доказываешь, что я в любом случае виноват в том, что ты не женился. Но, в сущности, ты и здесь, и во всем остальном доказал мне только то, что все мои упреки были справедливыми и что среди них отсутствовал еще один, особенно справедливый упрек, а именно упрек в неискренности, в угодливости, в паразитизме. Если я не ошибаюсь, ты паразитируешь на мне и самим этим письмом».

На это я отвечаю, что прежде всего это возражение, которое отчасти можно повернуть и против Тебя, исходит не от Тебя, а именно от меня. Ведь даже Твое недоверие к другим меньше, чем мое недоверие к самому себе, которое Ты воспитал во мне. Я не отрицаю известной справедливости возражения, которое само по себе вносит нечто новое в характеристику наших взаимоотношений. Разумеется, в действительности вещи не могут так последовательно вытекать одна из другой, как доказательства в моем письме, жизнь сложнее пасьянса; но с теми поправками, которые вытекают из этого возражения — поправками, которые я не могу и не хочу вносить каждую в отдельности, — в этом письме все же, по моему мнению, достигнуто нечто столь близкое к истине, что оно в состоянии немного успокоить нас обоих и облегчить нам жизнь и смерть.

Франц

Ноябрь 1919.

Завещание

Дорогой Макс, возможно, на этот раз я больше уже не поднимусь, после легочной лихорадки в течение месяца воспаление легких достаточно вероятно, и даже то, что я пишу об этом, не предотвратит его, хотя известную силу это имеет.

На этот случай вот моя последняя воля относительно всего написанного мною:

Из всего, что я написал, действительны только книги: «Приговор», «Кочегар», «Превращение», «В исправительной колонии», «Сельский врач» и новелла «Голодарь». (Существующие несколько экземпляров «Созерцания» пускай остаются, я никому не хочу доставлять хлопот по уничтожению, но заново ничего оттуда печататься не должно.) Когда я говорю, что те пять книг и новелла действительны, я не имею этим в виду, что желаю, чтобы они переиздавались и сохранялись на будущие времена, напротив, если они полностью потеряются, это будет соответствовать моему истинному желанию. Я только никому не препятствую, раз они уж имеются, сохранить их, если хочется.

Все же остальное из написанного мною (опубликованное в газетах, рукописи или письма) без исключения, насколько это возможно достать или выпросить у адресатов (большинство адресатов ты ведь знаешь, речь идет главным образом о...¹, в особенности не забудь о нескольких тетрадях, которые имеются у...²), — все это без исключения, лучше всего нечитаное (я не запрещаю Тебе заглянуть туда, но мне, конечно, было бы приятнее, если бы Ты не делал этого, во всяком случае, никто другой не должен заглядывать туда), — все это без исключения должно быть сожжено, и сделать это я прошу тебя как можно скорее.

Франц

Примечания

1910

¹ Запись от 19 июля приведена в «Дневниках» в трех вариантах (здесь публикуется третий). Из разночтений наиболее существенна имеющаяся только во втором варианте фраза: «Короче говоря, этот упрек всажен, как кинжал, во все общество, и никто — повторяю: к сожалению, никто — не уверен, что острое кинжала не вылезет вдруг спереди, или сзади, или сбоку».

² *«Бишофсбергские девы»* (“Die Jungfern von Bischofsberg”) — комедия немецкого драматурга Герхардта Гауптмана (1862—1946).

³ *Брод Макс* (1884—1968) — австрийский писатель и критик; ближайший друг и душеприказчик Кафки, автор книги о его жизни и творчестве: “Franz Kafka. Eine Biographie” (первое издание книги вышло в 1937 году в Праге, третье, дополненное новыми материалами, — в 1954 году во Франкфурте-на-Майне, в издательстве Фишера).

⁴ *Кузмин Михаил Алексеевич* (1875—1936) — русский писатель; «Подвиги Великого Александра» опубликованы в 1910 году («Вторая книга рассказов», «Скорпион», М.). Интересно отметить, что сборник М. Кузмина впервые вышел на немецком языке в 1912 году. Можно было бы предположить, что выписки — в очень точном переводе — из «Подвигов Великого Александра», занесенные в дневник 21 декабря 1910 года, даны Кафкой в собственном переводе, но подтверждений того, что Кафка знал русский язык, не имеется.

⁵ *Баум Оскар* (1883—1940) — австрийский писатель, один из близких друзей Кафки.

1911

¹ *Берадт Мартин* (1881—1949) — один из сотрудников берлинского еженедельника “Action” (1911—1914).

² *«Как достичь познания высших миров»* (“Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten”) — название книги немецкого теософа Рудольфа Штайнера (1861—1925).

³ Существует гипотеза, согласно которой легендарный материк Лемурия, бывший колыбелью человеческой цивилизации, погиб в Индийском океане.

⁴ *Тухольский Курт* (1890—1935) — немецкий писатель-публицист.

⁵ *Чиссик и Лёви* — актеры странствующей еврейской труппы, выступавшей в то время в пражском кафе «Савой». С Исааком Лёви Кафка особенно подружился, его имя часто встречается в «Дневниках».

⁶ *Эльза Тауссиг*, будущая жена Макса Брода.

⁷ «*Рихард и Самуэль*» — название (Кафка ошибочно пишет здесь «Роберт и Самуэль») романа, который Кафка и Брод собирались писать вместе. Замысел этот не был осуществлен; фрагменты, написанные Кафкой, Брод опубликовал в первом томе собрания сочинений Кафки («*Erzählungen und kleine Prosa*», 1935); один отрывок напечатан при жизни Кафки (в 1912 году) в издававшихся Вилли Хаасом “*Herderblätter*”.

⁸ «*Неудачники*» (“*Missgeschickten*”) — роман немецкого писателя Вильгельма Шефера (1868—1952).

⁹ Этот отрывок с небольшими сокращениями и изменениями опубликован затем под названием «Несчастье холостяка» (“*Das Unglück des Junggesellen*”) в сборнике «Созерцание» (“*Betrachtung*”, январь, 1913).

¹⁰ *Шницлер Артур* (1862—1931) — австрийский драматург, прозаик и поэт.

Утиц Эмиль — гимназический соученик Кафки, впоследствии философ.

¹¹ Соученик Кафки *Пауль Киш*, брат чешско-немецкого писателя-публициста Эгона Эрвина Киша (1885—1948).

¹² «*Бобровая шуба*» (1893) — сатирическая пьеса Герхардта Гауптмана.

¹³ *Верхан* — один из главных персонажей «Бобровой шубы».

¹⁴ «*Гипподамия*» (1890—1891) — пьеса чешского поэта и драматурга Ярослава Врхлицкого (1853—1912).

¹⁵ *Латайнер Йозеф* (1853—1935) — чешско-немецкий драматург, автор пьес о жизни евреев.

¹⁶ *Альфред Лёви*, старший дядя Кафки со стороны матери, добившийся высокого положения (он стал генеральным директором железных дорог в Испании).

¹⁷ *Рудольф Лёви*, сводный брат матери Кафки, бухгалтер; он также остался холостяком, жил уединенно, слыл в семье чудачком. В одном из писем Кафка писал о нем, что он все больше превращается в «загадочного, сверхскромного, одинокого и при этом почти болтливого человека».

¹ «Голый человек» (“Der nackte Mann”, 1912) — роман немецкого писателя Штрауса Эмиля (1866—1960).

² *Велч Феликс* — писатель и философ, друг Кафки.

³ Этот отрывок под названием «Внезапная прогулка» (“Der plötzliche Spaziergang”) опубликован затем в сборнике «Созерцание».

⁴ *Ашер Эрнст* — немецкий художник.

⁵ *Ведекинд Франк* (1864—1918) — немецкий писатель, драматург. Пьеса «Дух земли» (“Erdegeist”) написана в 1895 году.

⁶ *Демель Рихард* (1863—1920) — немецкий поэт.

⁷ *Ридеамус* (от латинского слова *ridere* — смеяться) — псевдоним немецкого писателя Фрица Оливена (1874—1956) — автора комедий, сатирических стихов, эстрадных обзоров.

⁸ *Моисси Александр* (1880—1935) — немецкий актер.

⁹ *Лагерлёф Сельма* (1858—1940) — шведская писательница.

¹⁰ *Гарден Максимилиан* (1861—1927) — немецкий публицист, издатель и критик.

¹¹ *Пик Отто* (1887—1938) — критик, переводчик на немецкий язык чешских пьес, в том числе Карела и Йозефа Чапек; один из редакторов газеты “Prager Presse”.

¹² Кафка в это время работал над романом, упоминаемым в «Дневниках» под названием “Der Verschollene” («Пропавший без вести»). Роман остался незаконченным, рукопись названия не имела, и при издании Макс Брод назвал его «Америка», объясняя это тем, что в беседах Кафка говорил, что работает над «американским романом». При жизни Кафки опубликована (в 1913 году) первая глава романа под названием «Кочегар» (“Der Heiser”).

¹³ Речь идет о подготовке к изданию сборника новелл «Созерцание», рукопись которого была затем отправлена в середине августа в издательство «Ровольт».

¹⁴ *Грильпарцер Франц* (1791—1872) — австрийский поэт, прозаик. Новелла «Бедный музыкант» (“Der arme Spielmann”) посвящена судьбе бесправного и обездоленного человека, который исполнен нравственного величия и человеческого достоинства.

¹⁵ *Ровольт Эрнст* — издатель, выпустивший первую книгу Кафки — сборник «Созерцание».

¹⁶ *Ф. Б. — Фелица Бауэр* (1887—1960), берлинская девушка, с которой Кафка за два дня до этого познакомился. В конце

мая 1914 года в Берлине состоялось их официальное обручение, расторгнутое в конце июля того же года. В 1915 году их отношения были возобновлены, в июле 1917 года состоялось вторичное обручение, снова расторгнутое в декабре того же года. Отношениям с Фелицей Бауэр посвящены многие страницы «Дневников».

¹⁷ «Польское хозяйство» — название оперетты Жана Гильберта.

¹⁸ 14 августа Кафка отправил Ровольту рукопись сборника «Созерцание».

¹⁹ Ленц Якоб Михаэль Рейнгольд (1751—1792) — немецкий писатель, один из поэтов и теоретиков «Бури и натиска».

²⁰ Верфель Франц (1890—1945) — австрийский писатель. Кафка был с ним близко знаком.

²¹ Перед этой записью в «Дневниках» приведен полный текст новеллы «Приговор» (“Das Urteil”).

²² Имеется в виду работа над «Америкой»; после записи от 25 сентября следует переписанная набело первая глава романа, «Кочегар».

²³ «Аркадия» (“Arkadia”) — ежегодник, издававшийся Максом Бродом (вышел только один номер в 1913 году); здесь впервые была опубликована новелла Кафки «Приговор» с посвящением Фелице Бауэр.

²⁴ «Арнольд Беер» (“Arnold Beer”, 1912) — роман Макса Брода.

²⁵ Вассерман Якоб (1873—1934) — австрийский писатель.

1913

¹ Это имя по-немецки пишется Friede и имеет столько же букв, что и Felice.

² Городок в Швейцарии, где Кафка несколько раз проводил отпуск.

³ Кьеркегор Сёрен (1813—1855) — датский писатель, философ, теолог.

⁴ Имеется в виду отец Фелицы Бауэр.

⁵ По свидетельству М. Брода, воспоминания П. Кропоткина, как и Герцена, были в числе любимых книг Кафки, вообще питавшего страсти к чтению воспоминаний, дневников, биографических и автобиографических произведений. В «Дневниках» имеются выписки — иной раз по шесть-семь страниц — из книг «Разговоры с Гёте» Эккермана, «Воспоминания генерала Марселлина де Марбо», Пауля Хольцхаузена «Немцы в России 1812» и др.

⁶ *Эренфельз Христиан фон* (1859—1939) — философ, предшественник гештальтпсихологии.

⁷ Речь идет о новелле «Превращение» (“Die Verwandlung”).

⁸ «*Михаэль Колхаас*» (1810) — новелла немецкого писателя Генриха фон Клейста (1777—1811).

⁹ Слова Ивана Карамазова из романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского.

¹⁰ *Бергман Хуго* — школьный товарищ Кафки, впоследствии философ.

1914

¹ *Дильтей Вильгельм* (1833—1911) — немецкий философ, историк культуры. Книга «Пережитое и вымышленное» (“Das Erlebte und die Dichtung”) написана в 1906 году.

² *Фройляйн Бл.* — Блох Грета, подруга Фелицы Бауэр.

³ *Элли (Габриэла)* — сестра Кафки.

⁴ «*Злая невинность*» (“Böse Unschuld”) — роман Оскара Баума.

⁵ *Музиль Роберт* (1880—1942) — австрийский писатель.

⁶ Перед этой записью приведены наброски к рассказу о белой лошади.

⁷ Во время этой поездки состоялось первое обручение Кафки с Фелицей Бауэр.

⁸ Этот и следующий отрывки написаны почти за два месяца до начала первой мировой войны и вступления русских войск в Австрию; вслед за этими отрывками идет запись от 11 июня 1914 года — большой отрывок (11 страниц) под названием «Обольщение в деревне» (“Verlockung im Dorf”), являющийся подготовительным наброском к роману «Замок», к работе над которым Кафка вернулся много лет спустя (1921—1922).

⁹ *Отгла (Оттилия)* — младшая, любимая сестра Кафки.

¹⁰ Кафка начал работать над романом «Процесс».

¹¹ Два года назад, в 1912 году, Кафка работал над новеллами «Приговор», «Превращение», романом «Америка».

¹² Кафка в это время одновременно работал над «Обольщением в деревне», русским рассказом, «Процессом».

¹³ *Жамм Франсис* (1868—1938) — французский поэт и прозаик.

¹⁴ Отрывок под названием «Поездка к матери» (“Fahrt zur Mutter”) опубликован в качестве приложения к роману «Процесс».

¹⁵ Имеется в виду притча о привратнике у врат Закона, рассказанная К.— герою «Процесса» — священником в соборе.

¹⁶ Опубликован впоследствии Бродом под названием “Der Riesenmaulwurf” («Гигантский крот»).

¹⁷ Глава первая из шестой части «Былого и дум».

1915

¹ *Фанни Райз*, одна из учениц школы для детей беженцев в Галиции, где Брод преподавал всемирную историю; *Лемберг* — название г. Львова, когда он входил в состав Австро-Венгерской монархии. Кафка познакомился с этой девушкой, навещая Брода. В «Дневниках» она затем упоминается несколько раз.

² Страховое общество Assicurazioni Generali, где Кафка впервые начал работать (октябрь 1907).

³ *Вайс Эрнст* (1884—1940) — австрийский писатель, друг Кафки, служивший посредником в его отношениях с Фелицей Бауэр.

⁴ Роман Флобера.

⁵ *Карл Росман* — герой романа «Америка»; *Иосиф К.* — герой романа «Процесс».

⁶ *Де Марбо Жан Батист Антуан Марселлин* (1782—1854) — автор мемуаров о наполеоновских походах.

⁷ *Лангер Георг* (1894—1943) — психоаналитик, исследователь хасидизма.

1916

¹ Герои одноименной иллюстрированной повести в стихах для детей немецкого поэта и художника Вильгельма Буша (1832—1908).

² Имеется в виду письмо к Фелице Бауэр.

1917

¹ За несколько дней до этого врачи впервые установили у Кафки туберкулез; он принял решение расторгнуть вторую помолвку с Фелицей Бауэр, уволиться со службы и переехать в деревню к своей сестре Оттле.

² *Таггер Теодор* (1891—1958) — австрийский писатель, драматург.

³ Письмо это оказалось предпоследним, оно приведено полностью во впервые изданном в конце 1967 года Э. Хеллером и Ю. Борном томе писем Кафки к Фелице, содержащем также и другую корреспонденцию, связанную с обеими помолвками Кафки с Фелицей (“Franz Kafka, Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit”. S. Fischer-Verlag, 1967, 783 S.). Перед переписанным в дневник отрывком сказано:

«...То, что во мне борются двое, Ты знаешь. Что лучший из этих

двух принадлежит Тебе, в этом я меньше всего сомневаюсь, особенно в последние дни. О ходе борьбы я в течение пяти лет извещал Тебя — большей частью к Твоей муке — словами и молчанием, и тем и другим вместе. Если Ты спросишь меня, всегда ли это было правдиво, я смогу лишь ответить, что ни перед одним человеком я с такой силой не избегал сознательной лжи или — чтобы быть еще более точным — не избегал с большей силой, чем перед Тобой. К маскировке я иной раз прибегал, ко лжи — очень мало, если допустить, что вообще может быть «очень мало» лжи. Я лживый человек, иначе я не могу сохранять равновесие, мой челн очень неустойчив».

Далее следует приведенный в дневнике отрывок, после которого в письме написано:

«Примени это к нашему случаю, который не является «любим», скорее это, собственно, мой единоличный случай. Ты мой суд человеческий. Двое, что борются во мне, или, вернее, из чьей борьбы я весь, вплоть до последней истерзанной частички моего существа, состою,— это добрый и злой; временами они меняют свои маски, и это еще больше запутывает запутанную борьбу; но в конце концов, при всех ударах самого последнего времени я все же мог надеяться, что самое невероятное (самым вероятным была бы вечная борьба), которое всегда ведь представлялось мне в мечтах чем-то лучезарным, все-таки случится и я, с годами ставший жалким, убогим, наконец обрету Тебя.

Вдруг оказалось, что потеря крови была слишком большой. Кровь, которую проливает добрый (теперь мы называем его добрым), чтобы выиграть Тебя, идет на пользу злему. Когда злой — вероятно или возможно — собственными силами не может больше найти ничего существенно нового для своей защиты, тогда это новое представляется ему добрым. Втайне я считаю, что моя болезнь вовсе не туберкулез, а общее мое банкротство. Я думал, что можно будет еще держаться, но держаться больше нельзя. Кровь исходит не из легких, а из раны, нанесенной обычным или решающим ударом одного из борцов.

Этот борец получил теперь поддержку — туберкулез, поддержку столь огромную, какую находил, скажем, ребенок в складках материнской юбки. Чего теперь хочет другой? Разве борьба не достигла блистательного конца? Это туберкулез, и это конец. Что иное остается другому — слабому, усталому и в таком состоянии почти невидимому Тебе,— как не прислониться здесь, в Цюрау, к Твоему плечу и вместе с Тобой, самой невинностью чистого человека, ошеломленно и безнадежно с удивлением воззрится

на взрослого мужчину, который, почувствовав себя обладателем любви человечества или предназначенной ему наместницы, пускается на свои отвратительные подлости. Это искажение моих стремлений, которые сами по себе уже есть искажение. Не спрашивай, почему я устанавливаю преграду. Не лишай меня тем самым мужества. Одно только такое слово — и я снова у Твоих ног. Но мне сразу же опять бросается в глаза действительный или, скорее, мнимый туберкулез, и я должен отказаться от этого. Это оружие, начиная с «физической неспособности», поднимаясь до «работы» и спускаясь до «алчности», предстает во всей своей скудной целесообразности и примитивности.

Впрочем, я открою Тебе секрет, в который я и сам сейчас совсем не верю (хотя меня, вероятно, должен был бы убедить мрак, охватывающий меня и разливающийся далеко вокруг при попытках работать и думать), но который тем не менее правда: я уже не выздоровею. Именно потому, что это не туберкулез, который укладывают в шезлонг и выхаживают, а оружие, крайняя необходимость в котором существует до тех пор, пока существую я. Оба же существовать не могут».

⁴ *Вальзер Роберт* (1878—1956) — швейцарский прозаик и поэт.

1919

¹ Юлия Вохрыцек, вторая невеста Кафки; знакомство, обручение, расторжение помолвки — все это произошло в течение полугода и послужило толчком к написанию «Письма отцу».

² *Элезеус (Елисей)* — герой романа Кнута Гамсуна (1859—1952) «Соки земли» (1917).

1921

¹ Речь идет о чешской журналистке Милене Есенской (это первое упоминание ее имени в «Дневниках»). Кафка познакомился с ней в начале 1920 года, после того как в чешском журнале «Кмен» был опубликован ее перевод «Кочегара». Связь продолжалась в течение двух лет. В 1952 году один из друзей Кафки, немецкий журналист Вилли Хаас, издал письма Кафки к ней («Franz Kafka, Briefe an Milena»). Как пишет в послесловии к книге В. Хаас, письма были ему подарены Миленой в 1939 году, вскоре после вступления немецких войск в Прагу (в 1939 году Миленка была заключена в концентрационный лагерь, где в 1944 году погибла).

² *Эренштейн Альберт* (1886—1950) — немецкий лирик и новеллист.

³ Раабе Вильгельм (1831—1910) — немецкий писатель.

⁴ “Náš Skautík” — журнал чешских скаутов.

⁵ Повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», которая, по свидетельству М. Брода, наряду с народными рассказами Толстого была в числе любимых произведений Кафки.

1922

¹ Эти вопросы адресованы Милене Есенской.

² См. прим. 9 к 1911 году.

³ Рихард Лёви, дядя Кафки со стороны матери: адвокат, у которого Кафка в 1906 году, после окончания юридического факультета Пражского университета, работал ассистентом.

⁴ Слова из новеллы Кафки «Сельский врач» (1919).

⁵ Кубин Альфред (1877—1959) — немецкий художник.

⁶ Еврейское спортивное общество. «Самозащита» (“Selbstwehr”) — пражский еврейский еженедельник.

⁷ «Великий проповедник» (“Der grosse Maggid”) — книга австрийского писателя, философа Мартина Буббера (1878—1965).

⁸ «Паломник Каманита» (“Pilger Kamanita”) — роман с буддистской тематикой датского писателя Карла Гьелерупа (1857—1919).

⁹ Мыслбек Йозеф Вацлав (1848—1922) — чешский скульптор.

¹⁰ Планá — местечко в юго-восточной Богемии, где Кафка отдыхал у своей сестры Оттлы.

¹¹ «Или — или» — книга Кьеркегора.

«Письмо отцу»

Написано в ноябре 1919 года, когда Кафка жил вместе с Максом Бродом в Железене (Богемия). Письмо это часто упоминается Кафкой в письмах к Милене Есенской. Отрывки из него приводились Бродом в его книге «Франц Кафка. Биография».

Полностью письмо впервые было опубликовано в журнале «Нойе рундшау» 1952, № 2.

¹ Речь идет о помолвке Кафки с Юлией Вохрышек, против которой отец Кафки решительно возражал.

² Роберт Кафка — двоюродный брат писателя. Карл Германн — муж Элли, сестры Кафки.

³ Лёви — девичья фамилия матери Кафки.

⁴ Дядя Филипп, Людвиг, Генрих — братья отца Кафки.

⁵ Валли (Валерия) — сестра Кафки.

⁶ Феликс Германн — племянник Кафки (сын его сестры Элли).

⁷ *Пена* — муж Валли, сестры Кафки.

⁸ Поговорку эту Кафка приводит в «Дневниках»: «Ляжешь спать с собаками, встанешь с блохами».

⁹ Селение вблизи небольшого богемского городка Цюрау, где Оттла взяла на себя управление маленьким имением. В 1917 и 1918 годах Кафка жил там у сестры.

¹⁰ Племянница Кафки, дочь Элли.

¹¹ Двоюродная сестра Кафки.

¹² Несколько перефразированные заключительные слова романа «Процесс».

¹³ Имеются в виду свитки торы.

¹⁴ В домашней библиотеке Кафки был найден чешский перевод автобиографии американского политического деятеля и ученого Бенджамина Франклина (1706—1790).

¹⁵ Здесь в 1917 году, готовясь к браку с Фелицей Бауэр, Кафка снял квартиру.

Завещание

По свидетельству Макса Брода, Кафка не оставил официального завещания. Среди бумаг в его письменном столе была найдена написанная чернилами и адресованная Броду записка следующего содержания: «Дорогой Макс, моя последняя просьба: все, что будет найдено в моем наследии (то есть в книжном ящике, бельевом шкафу, письменном столе, дома и в канцелярии или было куда-то унесено и попало тебе на глаза) из дневников, рукописей, писем, чужих и собственных, рисунков и так далее, должно быть полностью и нечитаным уничтожено, а также все написанное или нарисованное, что имеется у тебя или у других людей, которых ты от моего имени должен просить сделать это. Те, кто не захочет передать тебе писем, пусть по крайней мере обязуются сами их сжечь».

Затем был найден другой, написанный карандашом лист, текст которого мы публикуем. Поскольку в этой записке упоминается новелла «Голодарь», которую Кафка написал весной 1922 года, «Завещание» можно предположительно датировать 1922 годом.

Обе записки опубликованы Бродом в его послесловии к роману «Процесс».

¹ Видимо, имеется в виду Фелица Бауэр.

² По-видимому, речь идет о Милене Есенской, которой Кафка передал свои дневники (см. запись от 15 октября 1921 года).

Содержание

- 5 *Е. Книпович*. Предисловие.
- 8 От составителя
- 11 Из дневников (1910—1923)
- 197 Письмо отцу
- 244 Завещание
- 245 Примечания

Кафка Ф.

К 31 Из дневников. Письмо отцу/Сост., пер. с нем., прим. Е. Кацевой. Предисл. Е. Книпович.— М.: Известия, 1988.— 256 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Дневники Ф. Кафки представлены в книге в сокращенном виде. «Письмо отцу» печатается полностью. Публикуемые материалы дают возможность заглянуть в творческую лабораторию писателя, отражают обстановку, в которой формировался его духовный мир.

К $\frac{4703000000-012}{074(02)-88}$ **69-88**

ББК 84. 4А
И(Австр)

ФРАНЦ КАФКА

ИЗ ДНЕВНИКОВ. ПИСЬМО ОТЦУ.

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *И. Кивель*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1207

Сдано в набор 05.03.87. Подписано в печать 22.10.87. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 21,1. Уч.-изд. л. 12,62. Тираж 50 000 экз. Зак. № 249. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Франц Кафка (1883—1924) —

крупный австрийский писатель.

Родился и похоронен в Праге.

При жизни Ф. Кафки увидели свет

книги: "Созерцание" (1913),

"Кочегар" (1913), "Превраще-

ние" (1915), "Приговор" (1916),

"В исправительной

колонии" (1919), "Сельский

врач" (1919), "Голодарь" (1924).

Основные произведения были изданы

после смерти писателя.

Среди них: "Процесс" (1925),

"Замок" (1926), "Америка" (1927).

Творчество Ф. Кафки оказало глубокое

воздействие на западных художни-

ков, прежде всего принадлежащих

к так называемому литературному

авангарду. Нередко тенденциозно

истолкованное, оно послужило

фундаментом для ряда влиятельных

литературных концепций.

Советскому читателю имя писателя

знакомо по книге его произведений,

вышедшей в издательстве "Прогресс"

в 1965 году, отдельным пуб-

ликациям в периодической печати.

